**Файл с отобранными текстами авторов,**

**попавших в Шорт-лист**

1.Бердичевская Анна («Русский доктор»)

***Анна Бердичевская***

# РУССКИЙ ДОКТОР

Это была деревня в долине между гор, на слиянии двух речек. Однажды весной сюда пришла война. Потому что небольшая прекрасная страна разделилась на Запад и Восток. Принцип детской игры в Зарницу, или штабных учений, или войны за свободу негров в США – Синие и Красные, войска Юга и Севера, Республиканцы и Федералы… Предупреждаю читателей газет и любителей новостей по ящику – не будет Белых и Красных, опускаю. Потому что на самом деле на войне не бывает Белых и Красных. Война это яма, клоака, в которую слиты чистая кровь, грязные портянки, детские и взрослые слезы, мертвые тела людей и животных, холод подвалов и просто дерьмо. Подумайте, какого цвета эта смесь, а потом отыщите в ней Синих и Зеленых. Поймите также, что во время войны ничего не стоит ухнуться в эту клоаку с головой и стать ее содержимым. И хватит об этом.

Я просто хочу рассказать о Боре, как он спас свою семью и стал, кем стал. Начну я с давних времен, когда мы еще не были знакомы.

Боря приехал в свой рай вполне взрослым, но молодым и сильным доктором. Приехал в цветущую деревню на слиянии двух рек с заснеженных просторов Урала, из промышленного города, коптящего небо над этими просторами. После окончания медицинского института он работал вначале патологоанатомом в милиции, потом в психушке терапевтом, потом венерологом в вендиспансере. А пока учился в институте, работал по ночам сначала санитаром, потом фельдшером, а последние два курса врачом на скорой помощи. Все эти годы, и в институте и после, он жил в общежитиях. Вот такой у Бори был жизненный опыт.

Потом он влюбился, в Машу. Она была обычной и несказанной северной красавицей, которые невесть откуда берутся в заснеженных промышленных городах Урала и Сибири. У нее были синие глаза, очень белая кожа, темные волосы, длинные-предлинные ноги и необыкновенно добрые лицо и сердце. Она была замужем. И жила со своим мужем-боксёром тоже в общежитии. Как Боря добивался Машу – это история на три года, и хотя эта история хорошая и правдивая, её я тоже опущу.

Но чтобы жениться на Маше и, главное, народить с нею детей, причём много, Боря хотел получить квартиру. Получить квартиру можно было только работая на одном из огромных заводов, коптящих небо над городом. И то к концу жизни. Если очень повезет. Но всё-таки он пошёл устраиваться в заводскую больницу, хоть кем. Вот тут и выяснилось, что Боря еврей, а международное положение было в тот момент таково, что евреев начали выпускать в Израиль, зато окончательно перестали брать на работу на военные предприятия. *С целью предотвращения возможной выдачи на исторической еврейской родине советских военных тайн* – примерно так.

Невоенных же предприятий, которые бы давали квартиры, в стране не было вообще.

Боря, который, чтобы жениться на Маше и завести с ней много детей, стал боксёром и побил несколько раз, причём не на ринге, ее мужа-боксера, глубоко задумался. Он не хотел в Израиль, но что гораздо важнее – не хотела Маша. Вот тогда, как это всегда бывает, совершенно случайно он узнал от приятеля, что в одной тёплой советской республике не хватает сельских врачей, и что при этом простому доктору там обещают не то что квартиру, а дом с садом. Боря написал несколько писем, получил обстоятельные, но бестолковые ответы, и поехал, один, без Маши, искать место доктора с домом и садом. Он нашел место. Правда, дома не было, но был сад на берегу чистой и холодной речушки, текущей с ближних гор, и разрешение построить в саду дом. Сад на несколько месяцев стал домом. Боря спал в палатке под инжиром, утром умывался в речке и шел на работу.

Слава о Боре, русском докторе, за две недели облетела округу. Почетное звание «русский доктор» не было связано с национальностью, оно просто означало, что Боря был специалистом с настоящим, не купленным дипломом. То есть он умел лечить. Несмотря на то, что Боря поначалу совершенно не знал местных языков (грузинского, абхазского, армянского, греческого, азербайджанского и еврейского), а местное население не говорило по-английски, по-русски же могло неплохо материться, обсуждать международное положение, торговаться на базаре с лицами промежуточных национальностей и, кто служил в армии, отдавать и понимать строевые команды; так вот, несмотря на это, все очень быстро поняли, что Боря не просто «русский доктор», но «очень хороший русский доктор». И Боря стал обнаруживать десятирублевки и даже четвертные в кармане халата после каждого визита к больному. Поначалу это привело его в смятение, он стал бегать по тем, кого лечил, чтобы возвращать мзду, перессорился с пациентами и узнал много местных слов и выражений. «Шени чири ме!» - кричал он через забор бабушке своего больного (а значило это «твои беды – мне»), «кал батоно!» (а это значило «мадам» или «госпожа») «возьмите обратно ваши деньги. А то я больше не приду к вашему внуку!» На него обижались. Однако здоровье внука, дочери, брата было дороже обычая платить доктору. Платить перестали. Но на поляне посреди Бориного сада, откуда ни возьмись, появились щебенка, камень, цемент, песок, известь, доски и черепица. Не всё сразу, а в необходимой и разумной последовательности. Соседи, которые гордились Борей, как чемпионом мира по медицине, по счастливой случайности выбравшим именно их деревню для проживания с будущей женой и будущими детьми, шли к нему с советами и с помощью. Так что за полгода в саду вырос дом. Ну не дом, но и не времянка, а настоящий капитальный чулан в глубине будущего дома. Чулан стоял гордо и одиноко, а вокруг него уже ждал будущих стен могучий и прочный фундамент большого дома.

Была ранняя весна, зацвели абрикосы, когда Боря понял, что пора ехать за Машей.

Они вернулись, когда цвел гранат. Пока Боря ездил за Машей, соседи поставили вокруг сада новый забор и ворота. Боря привёз Машу на рейсовом автобусе в полдень. Первым их увидел Вахо, хозяин и шеф-повар «точки» у моста через реку, ту реку, в которую впадала речушка, возле которой цвел Борин сад. Вахо стоял в дверях своей «точки», прислонясь к дверному косяку, и смотрел на реку под мостом, где его младший брат Миша мыл мотоцикл «Индиан». Мотоцикл был старше Миши лет на сорок. Вахо смотрел на Мишу и на его мотоцикл, но на самом деле, каким-то загадочным образом, боковым зрением, почти что ухом, но очень зорко, Вахо смотрел на Машу. И разглядел её хорошо, и сразу понял: в деревню приехало счастье. Вахо, человек на редкость громоздкий и молчаливый, перестал подпирать косяк, сошёл с крыльца, чтобы взять сумку из рук Маши и чемодан у Бори. Уже у самого сада их догнал Миша на сверкающем и мокром «Индиане», сложил чемоданы и сумки в мотоциклетную коляску и с треском доставил имущество доктора и докторши к фундаменту будущего дома. А вечером в гости к русскому доктору и его Маше пришла вся деревня. Молодым подарили всё, что нужно для семейной жизни, включая большую кровать, телевизор, умывальник и даже детскую коляску, которая была пока не нужна. Ещё подарили щенка кавказской овчарки по имени Барс. Маша стала звать щенка Барсиком.

Через семь лет у Бори и Маши было трое детей, два мальчика и девочка. Барсик стал огромным псом, добрым, как Маша, и неутомимым, как Боря, дом из чулана, как из семечка, вырос в стройное дерево, к которому каждый год прирастала новая ветка – то веранда, то мезонин, то гараж. В гараже стал жить «жигуленок». Не новый, но зато цвета морской волны.

Ещё через год началась война.

Нельзя сказать, чтоб совсем внезапно. Она началась, как стихийное бедствие, с предчувствий, со слухов, с мигрени и ломоты в костях. Казалось, приближаются гроза или ураган, или сход лавины. Но вместо этого однажды днём с востока на запад по мосту мимо «точки» и стоящего на пороге Вахо промчались три боевых машины пехоты со странными знаменами на тонких длинных древках. Что-то средневековое было в этих белых знаменах с рыцарем и драконом. Через несколько дней с запада на восток в деревню проследовало четыре танка. На броне сидело с дюжину галдящих парней, все они палили из автоматов, как им казалось – в воздух. Однако они умудрились подстрелить мальчика, взобравшегося на орех возле моста. Рана была не серьезная, но, падая, мальчик сломал руку и ногу, так что русскому доктору пришлось повозиться. С этого времени Вахо перестал стоять в дверях своей «точки», а рядом с деревянной стойкой, набухшей и растрескавшейся от вина, поставил свою старенькую двустволку. Она ему не пригодилась. Как-то утром, не рано, часов в десять, Вахо смотрел в окно за реку, когда вдруг почувствовал, ощутил всем большим телом, что как раз оттуда что-то несется, со свистом раздирая воздух. И вдруг грохнуло, разорвалось прямо перед окном. Стекла лопнули и просыпались в котёл с красным лобио. Все, кто был в «точке», бросились к окну, посмотреть – в чём дело, когда из того же мелкого леска, из зарослей акации за рекой раздалась короткая пулемётная очередь. Все посетители «точки» так и торчали в окне, головы не пригнули, ведь невозможно было представить, что кто-то всерьёз стреляет в живых людей. Самой крупной мишенью в этой толпе раззявивших рты мужчин был Вахо. Со странным звуком, знакомым каждому повару, прямо в сердце вошла сталь. Этот звук – последнее, что слышал Вахо в жизни. Боря, которому пришлось доставать пулю, поразился, с каким тщанием была сделана эта штуковина, одна из сотен в пулеметной ленте. Пуля для Вахо. И еще Боря подумал, что у кого-то хранится сейчас пуля для Бори. Дальше его воображение не пошло. Он запретил своему воображению идти дальше. Однако с этого дня вся Борина семья перебралась жить в подвал. Только Боря и огромный Барсик бродили по ночам в пустом и тихом доме.

Бои за деревню продолжались все лето и осень. Мост взрывали и восстанавливали одиннадцать раз. На кладбище за деревней почти каждый день появлялись свежие могилы. В них лежали деревенские жители рядом с любителями езды на танковой броне, стрельб из винтовок с оптическим прицелом, ночных разведок, а также металлических пуговок и ремешков, тяжёлых пулеметных лент, больших и грубых ботинок на слоеной подошве, пестрых нашивок, шейных платков, по пиратски повязанных на голове, галунов, орденов, бляшек и кокард. Многие прежде, чем умереть, попадали в руки русского доктора. Племя дикарей, купленное за пеструю хрень, любители фильмов про Рембо, жвачки и конопли, хвастунишки без капли мозгов - в последние минуты своей единственной и драгоценной жизни они умнели на глазах, становились тихи, задумчивы и даже красивы. Но видел это только русский доктор, пытавшийся их спасти. Некоторые из них оставались жить с перевернутыми кишками и мозгами, поумневшие или окончательно спятившие, уползали из этой нешуточной и чужой игры, из этого бедствия – на костылях, на своих двоих, но без рук, или без памяти, или без сердца и совести. Как они впустили в себя эту заразу? Какого чёрта, с чего началась эта чёрная оспа, болезнь, которой заболевает весь народ, но умирают главным образом мужчины в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти? Боре некогда было думать. Он кромсал, чистил, сшивал людскую плоть, чернел лицом, худел, и, чтобы уснуть, пил спирт. Он засыпал в кухне своего дома, обнявшись с псом, который терпеть не мог запах спирта и эфира, но очень любил и уважал своего хозяина. Барсик ждал, когда Боря уснет, а потом выбирался из под его волосатой руки и шел в чулан в сердце дома, в котором пряталась дверца в подвал – проверить, всё ли в порядке. За дверцей и узкой каменной лестницей, пробитой вглубь гранитной скалы, была заветная комнатка – прихожая к винному погребу. Без окон, но очень чистая, с низким, побеленным голубоватой известью потолком. Там всегда стояла ровная температура – плюс четырнадцать по Цельсию. Маша поместила в одном из углов комнатки икону Николая Угодника, перед иконой и днём и ночью горела лампадка. Маша и дети редко выходили наверх, только по особому разрешению Бори и под охраной Барсика. Мальчики компенсировали утрату свободы драками и возней на широком, сколоченном из душистых туковых досок топчане. А девочка притихла, побледнела и только просила все время сказок от мамы и братьев.

Дни шли за днями, надвигалась зима, война становилась все серьезней, все взрослее, все страшнее и гаже, все больше детей, стариков и женщин стало на ней погибать. Половина деревни была сожжена и разграблена, почти все мужчины воевали на чьей-либо стороне, а иногда попеременно то на той, то на другой, уже и регулярные войска, которые трудно стало отличать от бандитов, укатывали и разбивали старую дорогу своими самоходками и танками. В небе над деревней несколько раз появлялись военные вертолёты, а по ночам с воем на нижайшей слышимой ноте пролетали бомбардировщики…

В середине октября ранним утром, перед самым рассветом Боря услышал, как к дому подъехала машина. «Козёл», - подумал Боря и не ошибся. На таких военных «козликах» - «Уазах», или на самоходках, или на БМП, или на чем попало, включая огородные тачки, к нему возили раненных. Либо к раненным увозили его, Борю. Доктор старался как можно реже покидать дом и никогда не закрывался изнутри, чтобы не возникло соблазна ломиться и стрелять. И сейчас он продолжал ждать гостей лежа на своем матрасе в кухне под окном. Боря не спал на кровати с тех пор, как пулеметная очередь, скорее всего случайная, с дуру, прошила всю комнату, разбив светильник на тумбочке и продырявив ковер над диваном.

Боря услышал ворчание Барсика, перешедшее в радостное горловое урчанье, и понял – приехал кто-то свой.

Это был майор Витя Ермак, связист с военного аэродрома километрах в десяти от деревни. Боря принимал трудные роды у его жены, множество раз пил с ним коньячный «материал», про который Витя говорил – не хуже самогонки, и пару раз ездил рыбачить на закрытое водохранилище в Шамхор.

Витя выглядел странно. Он был в армейских галифе и сапогах, но вместо гимнастерки на нем нелепо топорщился тесноватый пиджак, а на голове глубоко на уши была надвинута кепка с пуговкой на макушке.

Занимался рассвет, в кухне стояли холодные сумерки, но керосиновую лампу они зажигать не стали. Просто сели за стол и поговорили.

* Где твои? – спросил Витя.

Борю давно не спрашивали, где семья, а если спрашивали, он коротко отвечал – «Уехали».

Вите Боря сказал правду:

* Здесь. В подвале.
* Плохо, - сказал Витя. – Совсем плохо. Мы уходим. Оставляем аэродром. И оружия остается – на две армии хватит. Представляешь, какая зима здесь будет?

Боря ничего не ответил. Он налил себе и Вите чачи в граненые стопки, достал из трехлитровой банки пригоршню соленых перцев.

* Есть хочешь? – спросил он Витю.
* Нет, не хочу.

Они выпили.

* Я приехал позвать тебя с собой. У нас в самолёте есть место, одно. Только одно… Летим завтра, аккурат через сутки, в Москву. Я с Наташкой и Олежиком оттуда в Новосибирск, на новое место службы. А ты бы…
* Не трать порох, - сказал Боря усмехнувшись. Так в точности сказал бы сам Витя Ермак, он любил всякие солидные обороты, приличествующие легендарному Ермаку вообще и майору связи советской армии в частности. Боря налил еще по стопарю.
* Да ты не понял!.. – Ермак притянул голову Бори к себе и зашептал ему что-то в самое ухо.

Боря слушал долго и не верил. Ничему не верил. И тогда Витя сказал:

- Я тебе своим Олежкой клянусь, что все так, как я говорю. А тебе выбирать надо. Зимой тебя подстрелят, что с твоими будет?.. Ну, всё. Думай. Я тебя жду.

Витя уехал, а Боря остался думать.

Он думал часа два, пока не рассвело, потом спустился в подвал, разбудил Машу, поднялся с нею в дом и сказал:

- Маша, завтра утром я уезжаю, в Москву. Через неделю… Или через две недели… Или через три… В общем, я приеду и вас увезу.

Маша заплакала. Не потому что она усомнилась в Боре, в том, что он приедет и всех их увезёт, а потому что она любила его, и знала его, и понимала, что он чувствовал, уезжая сейчас.

Маша ни о чем Борю не спросила, а просто проплакавшись принялась собирать мужа в поездку и заодно готовить дом к жизни без хозяина. Они вместе с Борей забили досками окна, выходящие на дорогу, и обвили забор колючей проволокой – затеи пустые, но все-таки не совсем же бессмысленные.

Потом Боря пошел к Мише, брату убитого Вахо. Миша несколько месяцев пропадал на войне, а в начале осени его привезли едва живого, с перебитыми ногами и выгрузили на носилках возле родного дома, вернее, возле того, что осталось от дома. А осталась только летняя кухня да хлев, в котором вместе с осликом и тремя козами жила старуха мать, да вдова Вахо, да двое его ребятишек. Боря Мишу собрал по частям, но части еще не срослись хорошенько, так что на ноги Миша пока не встал. Но собирался.

И вот на виду у всей деревни и у тех, кто в тот момент ею владел, Боря перевёз все Мишино семейство и самого Мишу в свой дом. Миша переезжал в коляске «Индиана», которую толкали дети Вахо. А сам мотоцикл вёл в поводу Боря. Бензин в деревне исчез, казалось, навсегда. Только солярка, необходимая для танков и БМП, была кое-где запрятана по домам, но солярка была валютным, стратегическим товаром. Редким и тайным. Вот керосин в деревне был припасен в изобилии, в этом сказывалось благословенное соседство военного аэродрома.

К вечеру к русскому доктору привезли нескольких раненых. Уже ночью, осмотрев, подштопав и перевязав всех, Боря вышел на поляну перед домом и сказал угрюмому бородатому греку, бывшему в этом битом отряде за главного:

* Больше раненных не вози. Уезжаю я. К семье.
* Куда это? – подозрительно поглядел на Борю грек.
* Говорю тебе, к семье, к своим. Вот дом на соседей оставляю. Довоюете – вернусь.

Грек забрал своих раненых в БМП и уехал, а Боря спустился в подвал, поцеловал спящих детей, обнял Машу, которая больше не плакала, взял сумку, с которой в былые времена уезжал или уходил на вызовы, и отправился пешком на военный аэродром.

С Мишей он прощаться не стал, между ними все уже было договорено: где в доме спрятан автомат, где патроны, где гранаты, и в каких случаях надо ими пользоваться, а в каких не стоит. Миша за последние месяцы стал взрослым. На это, во всяком случае, надеялся Боря. Больше ему надеяться было не на кого и не на что.

У меня Боря оказался примерно через неделю, его привёл с вокзала, где русский доктор ночевал, мой старый приятель.

В то время я только начинала жить в Москве, меня поселила к себе в мастерскую подруга-искусствовед. Мастерская была просто комнатой в прелестном ампирном «допожарном» особнячке, чудом сохранившемся с начала девятнадцатого века в переулке возле Поварской. Хлебный переулок… Место бойкое. Кто только у меня там ни бывал! Подруга-искусствовед была женщиной очень интеллигентной и главное доброй, она терпела. Ей, когда она изредка опасливо появлялась в особняке, даже нравились люди, которых она заставала – то это были молодые поэты с Урала, то многодетная семья немцев, которая из родных моих краёв переселялась в Германию и ждала документов, то великая армянская художница с племянницами, да мало ли еще какие странники. Было это Время Странствий, достойное Книги Перемен.

Боря был из странников странник… Потом, много после, он оказался улыбчивым, остроумным малым, рассказчиком забавных историй. Он и свою историю рассказывал как цепь анекдотов… Потом. А в те две недели, что он у меня жил, точнее – приходил ночевать, он почти не говорил. Мой друг объяснил мне, что Боря хочет арендовать военный самолет, чтобы вывезти семью из горячей точки. Дело это безнадежное. Еще и потому, что денег у Бори нет. А деньги нужны огромные.

У меня был кое-какой опыт по части полетов в горячие точки, и однажды я попробовала поговорить об этом с Борей. Пока я перечисляла ему начальников, механиков и пилотов, он внимательно слушал и только кивал и говорил: «Знаю. Не годится». И коротко объяснял – почему. Потом он сам стал говорить, просто перечислять организации и фамилии, где бывал, с кем встречался… Это была целая империя авиации, империя средневековая и разваливающаяся. Боря знал о ней всё. Он встретился со всеми авиационными начальниками всех ведомств и частей, от тех, кто тушил пожары до тех, кто ловил бандитов. В это время тушить пожары и ловить бандитов никто и не думал. Так почему было бы не слетать в одну маленькую горячую точку, где в саду, в подвале уцелевшего дома сидела с тремя малыми детьми русская женщина, привезённая в этот самый рай самим Борей? Женщина слишком наивная и добрая для войны, слишком красивая, чтобы хоть нос высунуть в мир обезумевших, с цепи сорвавшихся вооруженных и голодных, потерявших честь и совесть мужчин.

Когда Боря говорил со мной, он ни разу не повысил голос. Он был очень задумчив, расчетлив и тверд. Как будто операцию делал – без наркоза и на самом себе. Он не имел права терять сознание от боли, и он обязан был выжить.

Я поняла и перестала его расспрашивать. Но он уже не мог остановиться, разговаривая со мной, он словно думал вслух. Тогда я и узнала, что шептал ему в ухо майор Ермак. Он называл имена и телефоны членов одной банды, всё это были летчики высокого класса, асы, зарабатывающие доставкой чего угодно куда угодно. С ними, считал Ермак, можно было договориться. Конечно, если отыскать денег. Много денег.

Боря этих бандитов нашел сразу. Они сидели неподалеку от Главтелеграфа, в неприметном офисе, в который вела прямо с улицы покрашенная суриком стальная дверь без таблички. Они назвали сумму. Эти хотя бы назвали сумму и сроки. Остальные просто не хотели слушать. Так что Боря, как начал свои поиски с этих бандитов, так к ним и вернулся. Главным у них был полковник по фамилии Альпеншток, так мне запомнилось.

Боря прекратил поиски самолетов и летчиков. Оставалось найти деньги…

И вот на несколько дней он исчез. А вернулся на бензовозе с уральским номером. Он ворвался в мастерскую, сунул руку за шкаф и достал оттуда к глубокому моему изумлению пистолет. Сунул его за ремень, как это делалось испокон веку во всех детективах, и сказал:

* Дня через два-три Маша приедет, с детьми. Можно?
* Можно-то можно. А разве ты не приедешь?

Боря ответил не сразу:

* Нет, я попозже.

И ушёл. Я вышла за ним, и тут-то и увидела бензовоз с крупной надписью «Огнеопасно!»

Прошло два дня. Были сумерки, шёл первый снег, когда мне в окно постучалась чья-то робкая рука. Я пошла открывать и увидела перед крыльцом небольшую толпу. Впереди всех стояла молодая женщина, про которую я сразу поняла – Маша, а за нею человек пятнадцать, из которых больше половины – дети, остальные – женщины преклонных лет и один долговязый парень на костылях, Миша – догадалась я.

Мастерская моей подруги была в окружении еще трех комнат-мастерских, самая большая комната с камином была общей гостиной, вот там с согласия всех художников поселился на несколько дней этот табор. Главной сложностью было – не засветиться. В буквальном смысле. По соседству с нашим особнячком было посольство одной небольшой европейской страны, его обитателей очень волновал свет в окнах домика, про который было точно известно, что это мастерские художников, где по ночам никто не живет. После девяти вечера мы не зажигали свет, ребятишки облепляли окна гостиной, за которыми валил и валил мягкий московский снег, гуляли толпы спокойных, сытых людей, сияли фонари. Дети вели себя необыкновенно тихо, они и разговаривали шепотом. Как в кинотеатре. С каждым днем наш табор редел, стариков и детей разбирали родственники и друзья, для них начиналась новая жизнь. А Боря всё не появлялся.

Я в те времена работала сразу в нескольких местах, возвращалась поздно и всякий раз заставала детей спящими, а Машу вяжущей свитер для Бори. Мы с нею по долгу разговаривали – о детстве, которое обе провели на Урале, о доме, который они с Борей построили и оставили, об их детях, о том, как они жили три недели без Бори. Автомат и гранаты Мише не понадобились, но если бы не Барсик, вряд ли они бы дождались Борю. Почти каждую ночь незнакомые мужчины со страшными голосами колотили прикладами в дверь. Им отвечал только Барсик, отвечал таким рычанием и лаем, что страшные голоса пришельцев линяли и блекли, переходили на шёпот и в конце концов удалялись вместе с шарканьем тяжёлых ботинок по гравию тропинки. Она рассказывала мне об этом на разные голоса, изображая все происходящее – так она привыкла рассказывать детям бесконечные сказки в подвале. Она рассказывала, и сама смеялась над собой. Но бывало, и плакала потихоньку. Маша горевала обо многом, о соседях, о доме, в котором собиралась прожить всю свою жизнь… Но Барсик – был главной ее болью. Она знала, что рассталась с ним навсегда.

На вопрос, почему Боря не приехал со всеми, Маша отвечала просто: «У него дела». Она ждала его каждый день, я видела, как она слушает шаги под окном, как встречает любой телефонный звонок и стук в дверь. Но Боря всё не ехал.

Однажды, а было это за день до Нового года, я вернулась как всегда поздно вечером, открыла двери своим ключом, зажгла ночник и увидела такую картину: на полу поверх ковриков, одеял, диванных подушек, пальто и шалей раскинув руки спал Боря в новом, связанном Машей свитере, в ватных штанах и тёплых носках.. На правой его руке спала Маша с девочкой, на левой – мальчики.

Утром я узнала, что за дела делал Боря и как они ему удались.

Во-первых, про бензовоз. Решив во что бы то ни стало достать деньги, Боря сходил на Главтелеграф и сделал несколько звонков в родной уральский город. После чего отправился на вокзал, и в общем вагоне укатил на Урал. Через сутки он встретился с бывшим мужем Маши, боксёром, который уже больше не занимался боксом, а работал «крышей» на нефтехимическом заводе-гиганте. Бензин они одолжили с охраняемого боксёром завода, нашли бензовоз с водителем, как могли, заплатили шофёру, и Боря на бензовозе погнал в Москву, где большую часть бензина продал знаменитому бензозаправщику Колерову. С вырученными деньгами и остатками бензина он отправился к полковнику Альпенштоку (за фамилию не ручаюсь) и отдал ему задаток, честно предупредив, что окончательно расплатится к Новому году. Летчик-ас согласился, и через три часа они уже летели за Машей на штурмовике. Не на пустом, а с бочками все того же уральского бензина.

Эти бочки у них с душевным трепетом купили те, кто на тот момент владел тем самым военным аэродромом, на котором совсем недавно, но казалось – тысячелетие назад, нес службу майор Витя Ермак. Не зря он клялся своим Олежеком, все получилось именно так, как он говорил…

Вооруженные до зубов благодарные покупатели снабдили Борю «козлом», возможно все тем же, на котором осенью к нему домой приезжал Витя, а также шофером. Предлагали в придачу станковый пулемет с гранатометом, для безопасности. Но Боря отказался. Через двадцать минут он был у родимого сада и дома, запорошенных сухим колючим снежком. Дом выглядел необитаемым. Сердце у Бори сжалась до размера грецкого ореха.

- Барс! - позвал он осипшим, не своим голосом.

Дверь распахнулась, и огромный Барсик выкатился с непристойным, щенячьим визгом. Борю он, конечно же, повалил и не отпустил, пока не облизал всю его покрытую до глаз черной щетиной физиономию.

Так наступило короткое, ослепительное счастье. Все обошлось. Почти все обошлось. Маша и дети были здоровы и готовы в дорогу.

Боря проехал по деревне, зашёл к соседям, у которых, он знал, была родня в России, предложил «подбросить». К вечеру туго набитый старыми и малыми «козёл» доставил пассажиров к борту самолёта и съездил во второй рейс – за Бориной семьёй и Мишей, которого необходимо было показать в хорошей клинике в Москве. Так закончилась эта история.

Почти закончилась. Ведь сам-то Боря остался в своей «горячей точке». Он остался, потому что помнил о долгах: лётчику-асу, бывшему Машиному мужу-боксеру, да и уральскому гиганту нефтехимии за шестьдесят тонн экспроприированного бензина. И русский доктор отправился через воюющую горную страну с заваленными снегом перевалами к морскому побережью, в мандариновые края, из которых очень трудно, но все же ходили поезда на север. Там он на оставшиеся бензиновые деньги купил пять «секций» мандаринов и покатил в мерцающем режиме, напоминающем пульс умирающего, в родные края - на Урал. Пару раз он пожалел, что отказался от станкового пулемета. И раз тридцать благодарил Бога за то, что отказался. Он приехал в свой заваленный сугробами тихий город под Новый год и продал мандарины. А затем уже отправился за женой и детьми ко мне, в московский Хлебный переулок. В сумке, той самой, докторской, с которой Боря ходил к деревенским своим пациентам, он привёз мандарины. Мы встретили Новый год.

И расстались.

Много еще всего любопытного происходило в Бориной жизни в последнюю пятилетку прошлого века. Но карьера русского доктора для него закончилась. Боря навсегда оставил свою профессию, как пришлось оставить свой любимый, главный в жизни, дом, как и Барсика, лучшего в мире пса.

Сейчас он живет в Торонто, в будни играет на бирже, а по воскресениям - во дворе своего двухэтажного дома - в баскетбол с детьми и соседями. Дети учатся в колледже и говорят по-русски с изрядным акцентом. С Машей мы переписываемся по электронной почте. Недавно они завели собаку. Все забываю спросить, как её зовут.

2.Бирштейн Александр («Дача», «Сны Чистякова»)

***Александр Бирштейн***

**ДАЧА**

Я дернул дверь. Она открылась и выдохнула змеиный запах застоявшегося помещения. Доски пола растопырили щели, забитые тишиной. Вдоль стены в очереди стояли бутыли. О, какое тут когда-то было вино!

- Выпей стакан вино, - говорила бабушка, - и скушай тарелка суп!

Вино делали из виноградной смеси, росшей на участке. Изабелла, Лидия, Шасла, Молдова… Это еще что! Вино ставили в сентябре, когда люди с дач съезжали. Что давало дополнительный виноград. Бабушка жила на даче до третьего октября. По традиции именно в этот день идет первый осенний дождь, холодный и нудный. Я и родители приезжали по воскресеньям, привозили ей продукты. Наезжали и другие родственники. Вина на зиму хватало всем. Хорошего вина! Впрочем, я уже об этом говорил. Вино было не очень крепкое, что вызывало возражения.

- Чачу! Чачу надо делать! – настаивал сосед Тапочкин. – Несерьезные вы люди!

При этом он отстаивал свое неотъемлемое право на жом, оставшийся в бутылях. Он снабжал этот жом водой и дрожжами, а после перегонял раз, потом другой… Самогон, по-человечески разбавленный чаем, назывался коньяком и продавался курортникам за неумеренную цену. Мне Тапочкин выдавал неразбавленный напиток, прилагая к нему два-три спелых абрикоса.

- Пей! – говорил он. - Закусывай! – добавлял он. – От моего угощения болеть не будешь!

И правда. От его продукта не болел ни я, ни он, хоть мы, порой увлекшись, брали на грудь довольно много. За разговорами, ясное дело. Правда, закусывали не абрикосами. Для такого дела шли маленькие, с мизинец, соленые огурчики с пупырышками и прилипшим смородиновым листом. К огурчикам полагалось розовое, как рассвет, сало, сахарные помидорчики прямо с грядки, а также черный, слегка липкий хлеб со свежим маслом. Масло было только что из погреба, со слезой. И, разумеется, базарное. Его густо мазали на хлеб. Считалось, что от этого почти не пьянеешь.

Говорили, в основном, о войне. Тапочкин почему-то любил о ней говорить. То есть любой разговор начинался с футбола, женщин, политики, но все равно сводился, в конце концов, к войне. Да и угощение на столе в полном объеме появлялось не сразу, а когда разговор доходил до нужной темы. Ха, разговор! Говорил один Тапочкин. Кто-кто, а он навоевался от души, наступая в первые дни, потом отступая, партизанил под Кодымой, когда Одессу оставили румынам, потом опять отступал и наступал уже в действующей армии.

- Спасал я вашего брата, спасал! – хвастает Тапочкин, наливая по третьей, или уже по четвертой - не помню.

«Вашего брата» означает евреев. Но я не обижаюсь. Спасал же. Я знаю, что Тапочкин не врет. Проверено…

- Их убивать у оврага, что у реки, приводили. Ну а мы старались успеть. И успевали обычно. Если неподалеку воевали. Раза четыре, наверное, не меньше. Думаешь, немцы евреев убивать вели? Немцы тоже были, да не те! Колонисты! Эти самые лютые! А еще полицаи, ну и желающие среди населения всегда имелись. А мы врагов из автоматов вовсю крошили. Евреи и разбегались.

- Куда? – растерянно спрашиваю я.

- А кто куда. Одни прятаться, другие сдуру к партизанам…

- Сдуру?

- Ну да! Партизаны, они всякие были. Бандиты, которые по лесам ховались, тоже себя партизанами именовали. И грабили, и убивали почище немцев да румын. Да и настоящие, как мы, партизаны евреев не шибко-то и любили. Странные люди вы, евреи. Вас бьют, а вы все с дружбой лезете. Нападут беглые или лагерные евреи на полицаев или румын, поубивают, оружие заберут - и к партизанам. А те оружие отберут и евреев в шею. Так что ты думаешь? Эти чокнутые, раз такое дело, свои отряды создают. И воюют!

- А потом что? – спрашиваю я.

- А откуда я знаю? Что-то ты совсем не пьешь!

- Так вы ж не наливаете!

Наливал. Пили… Так ночь могли просидеть. Жизнь продолжалась. Летняя жизнь. Ленивая.

Утром я вставал, шести не было. И спускался к морю. К воде вела тонкая, как проседь, тропинка, чуть петляющая среди травы и кустов. Миг - и я у двух скалок, склонившихся над водой. Я всегда любил дикие пляжи. И вода чище, и посторонних нет. А об эту пору вообще никого! Утренняя вода прохладна. Но это ровно до того момента, пока не нырнешь. Поэтому терплю и медленно, чтоб без брызг, вхожу в воду. По колено, по пояс… Плашмя кидаюсь, плыву, разбрасывая брызги. Быстро-быстро, подбирая ладонями золотые солнечные блики, разбросанные по воде. Отплыв метров тридцать-сорок, ложусь на спину и смотрю вверх на синее-синее с утра небо, поддернутое с краю рыжинкой. Потом возвращаюсь на берег, падаю на расстеленное полотенце. Рядом копошится мелкая крабья шпана. Крабы постарше передвигаются боком, наглеют и щипаются.

- Ух, я вас! – угрожаю им.

На скалках вьют гнезда первые рыбаки. Они трусливо переговариваются и пришептывают над наживкой.

Я подымаюсь наверх, на дачу, где на двух примусах, поставленных на кирпичи, кипит чайник и калится сковородка. В сковородку бабушка наливает постное масло, в нем слегка обжаривается ветчинно-рубленная колбаса, к колбасе добавляются помидоры, колечки лука, потом уже яйца. В самом конце она кидает в яичницу горсть мелко нарезанной зелени. Чай, яичница, которую можно есть прямо со сковородки, брынза… И хлеб, который мне разрешено – Только никому не говори! – ломать прямо от буханки. Так в сто раз вкуснее!

Поев, беру книгу и ложусь в гамак, прикрученный с одной стороны к ореховому дереву, закрывающему гамак тенью, с другой - к железной ноге душа.

- Надо почитать, - думаю я, - надо почи…

Качаются ветки на головой, изредка пропуская тонкие солнечные лучи, качается мир… Сплю.

Трижды в неделю я лишен этого кайфа. Надо ехать на Привоз. Бабушке уже трудно. Да и зачем?

- Иметь такой взрослый внук и самой ездить на Привоз? – удивляется она. И не ездит. А просто диктует список продуктов. Сама написать этот список отказывается, ссылаясь на зрение. Но очки надевать не хочет.

У бабушки за спиной трудная жизнь и несколько классов еврейской школы.

На Привоз стоит ехать рано утром, когда цены еще не сложили, или часов в пять, когда селяне почти распродались и спешат домой, уступая и уступая. Но в пять еще жара, а какой дурак попрется на Привоз в жару. Разве что приезжие. Отдыхающие, так сказать. А я еду утречком, когда трамваи еще просторны, а солнце полно доброты. Выхожу на Куликовом поле, дальше - мимо вокзала. Мне туда, где пришедших встречают приземистые лабазы рыбных корпусов. Тут не задерживаюсь. Речная рыба больно дорога, а бычков ловлю сам со скал или с тем же Тапочкиным из лодки. Ну и скумбрию, конечно.

Мясо покупаем раз в неделю, и бабушка варит борщ или фасолевый суп. Борщ я люблю больше, но у бабушки свои виды на готовку. Впрочем, по списку, продиктованному мне, всегда можно довольно точно узнать, что будет на обед, на ужин, на завтрак. Брынза, сметана, почеревок, говядина с косточкой… Мозговой! Будет, будет мне борщ! Овощи в основном растут на участке. Яйца мы берем у соседей. Удобно!

На обед действительно борщ. К нему полагается тонкий зеленый жгучий перец. Не весь, конечно, а только кончик, который, положив в ложку, надо поболтать в жидкости. Борщ получается жгучим, даже сметана не до конца это жжение смягчает. Это, конечно, на любителя, но мне нравится. Еще нравится выколачивать из мозговой кости сам мозг и есть его, обильно посолив. В котлеты бабушка не пожалела чеснока. Я возражаю. Правда, неуверенно. Вдруг скажет:

- Не хочешь, не кушай! – и что тогда? Но бабушка говорит совсем другое, не менее обидное.

- Ты посмотри на этот жених без невеста! Сначала познакомься с хороший девочка, а потом думай об целоваться!

Бабушка права. Мне уже восемнадцать, а постоянной девушки нет. Как-то так получается. Под праздники начинаю лихорадочно искать себе пару, нахожу кое-как, ибо прилично и необходимо приходить в компанию с барышней. Во время праздников обычно выясняется, что «мы такие разные»… В общем, как-то так. Ну и не надо.

После обеда опять гамак. Но эта бабушка разве даст отдохнуть усталому человеку? Подмети и полей дорожки, опять же, едва солнце повернет на вечер, полей огород и сад. Каторжный быт у меня, каторжный!

- Я его с детства приучила к работа! – хвастает бабушка родителям, когда они раз в неделю-другую появляются на даче. А те и уши развесили:

- Надо же, а дома он пальцем о палец не ударит!

Бабушку послушать, так она Макаренко, Сухомлинский и Корчак в одном лице. Правда, она понятия не имеет, кто они такие.

Набираю воду, взбрызгиваю дорожки, чтоб пыль не поднимать, мету… Потом спускаюсь в неглубокую, меньше метра, шахту. Там кран. Надеваю на него конец шланга, поднимаюсь наверх, разматывая шланг. Если напор хорош, разматывать можно несильно, если слаб, придется таскаться с ним по всему участку. Шесть соток - это все-таки немало… На конец шланга надета сплющенная трубка, вода, вылетая под напором, переливается радугой. Прибитая пыль и смоченная земля издают горький последождевой запах. Хорошо!

А потом надо поскорее к морю. Главное, до полной темноты. Нет-нет, этой самой темноты я не боюсь, а боюсь спугнуть парочки, засевшие в кустах. Они ждут, пока пройдут пограничники, чтоб наконец ринуться на песок и заняться любовью. Фонари погранцов видно издалека. Вот они приближаются, идут по пляжу, дальше, дальше… Можно! Время между проходами полчаса. За это время надо успеть расстелить подстилку, сбросить лишнее, а лишнее – все, ну и основным заняться. Времени хронически мало, поэтому вся предварительная подготовка проводится в кустах. Вид одинокого мужика, пробирающегося меж обнаженными телами, может вызвать вопросы и недоразумения.

Когда уже совсем собираюсь выйти к морю, бабушка приносит авоську и нож. Значит, кроме купания надо нарезать водоросли с облепившими их мидиями. Бабушка делает из них плов – пальчики оближешь.

- Еда нищих! – презрительно обзывают плов из мидий незнающие люди. Пусть им. Вкуснейшая, скажу я вам, еда, этот самый плов. Но чтоб им полакомиться, надо потрудиться. Нарезать водоросли, притащить полную авоську ракушек домой, отрывать моллюски от тины, мыть и кидать их в кастрюлю с кипящей водой. Вскоре они раскрываются, тогда их надо вытаскивать из кипятка и кидать следующие. В каждой раковине по комочку – сама мидия. Из полной авоськи ракушек получается не больше пол-литровой баночки мидий. А нам хватит! Не знаю, как кто, а бабушка сперва отваривает рис, а потом только приступает к главному. В казане жарится лук, к нему добавляется морковка, потом приправы, а уж когда все готово, к морковке и луку кидают мидии. Буквально на три минуты! Раньше мидии тушили вместе с рисом и луком-морковкой, было тоже вкусно, но мидии становились более жесткими, упругими, как резиновые. Не то, решила бабушка, и теперь готовит по-новому. Когда варево в казане поспеет, туда просто добавляют немного – треть стакана – кипятка и рис. Перемешивают. Вкуснотища! А мидии просто тают во рту!

Но плов будет завтра, а пока, надев чистую рубаху и джинсы, рулю в Аркадию. С дачи в Аркадию можно двумя путями. Можно, пройдясь до седьмой Фонтана, а оттуда вниз по Посмитного, а можно тропкой вдоль моря. Надо ли говорить, что я выбираю второй вариант.

В Аркадии народу! Не сосчитать. Приезжие-курортники, приезжие-дачники, просто дачники и горожане. Городские любят сюда ездить, потому что тут не надо спускаться к морю и подниматься от него. Вышел из трамвая номер пять и идешь до пляжа. Таких «ровных» пляжей в Одессе всего три: Лузановка, Аркадия и Черноморка, она же Люстдорф. Но Люстдорф далеко – больше часа трамваем от вокзала, да и Лузановка неблизко. Стало быть, народ в Аркадию норовит. Тут тебе и кино, и танцы, и ресторан прямо у трамвайного круга. И море, разумеется. Только я в это море и за большие деньги не полез бы. Там, где я купаюсь, вода всегда чистая.

Вокруг Аркадии множество санаториев. И почти в каждом вечером кино. Можно выбирать. Тем более что афиши прямо тут, на центральной аллее. Борьба за зрителя, так сказать. Ну и что на афишах? «Большая семья» с Алексеем Баталовым, «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Возвращение Максима» с Чирковым Борисом. Этот фильм снимал двоюродный брат бабушки Иды, маминой мамы, поэтому я смотрел его сто раз. О, вот и почти новье: «713 просит посадку». В общем, как говорил, выбор широк. Я и выбираю… танцы. Поэтому возвращаюсь на дачу поздно. Возвращаюсь я той же тропой над обрывом. Светло: луна и огромные, мохнатые звезды «работают» в полную силу. На веранде, чтоб я не заблудился в ночи, горит настольная лампочка. На столе - накрытая блюдцем кружка с молоком. На другом блюдце горбушка серого хлеба. Знаете, а это самый лучший не то ужин, не то ранний завтрак в мире!

Там же на веранде мой топчан, на который я с удовольствием падаю, успевая подумать:

- И почему это утро вечера мудре…

На дачу к бабушке Софе, папиной маме, я езжу вот уже лет пять, наверное, каждое лето. Дело в том, что, желая дать отдохнуть от моих проделок населению двора, родители, было, намылились сдавать меня в пионерский лагерь. Лагеря бывали разные, итог один – я сбегал. Рекорд моего пребывания за забором был невелик и составил восемь дней. Остальные попытки заканчивались еще более неудачно. Для родителей, разумеется.

Тогда папа придумал отправить меня к бабушке. Такая идея не вызвала энтузиазма ни у меня, ни у мамы. Мама с бабушкой не очень-то и ладили. Что до меня, то мне отлично было и во дворе. Родители на работе - и полная свобода! Но после поджога дустовой шашки в дворовой уборной, причем отнюдь не пустовавшей, вопрос о моей свободе даже не стоял. Делегации соседей с требованием «хоть немножко покоя» оббивали порог квартиры.

- На дачу! – постановил папа.

- Все равно сбегу! – огрызался я.

Тогда папа купил мне зеленый велосипед «Орленок». И повез вместе с ним к бабушке на дачу.

- Сбегу на велосипеде! – бубнил я.

- Сперва научись кататься! – смеялся папа.

Я научился. Но к тому времени, сбегать мне совершенно не хотелось. Вокруг столько интересного, невиданного. Даже моя пакостность под влиянием грандиозного распахнувшегося мира куда-то исчезла, проявляясь только изредка – не терять же квалификацию! – и почти неопасно для окружающих. С утра, набив сумку, притороченную к багажнику, провизией, отправлялся в неизведанные края. Сперва недалеко, до Отрады, или в другую сторону - до десятой Фонтана, потом все дальше и дальше. Недели через три после ссылки добрался и до Ланжерона, но мне и в голову не пришло подняться наверх в парк Шевченко и покатить домой на Жуковского. Когда через месяц родители решили вернуть чадо домой, мы с бабушкой объяснили им, что это глупости, издевательство над ребенком, которому надобно быть на воздухе, что еще август впереди, а там посмотрим. Может, в сентябре… Но не обещали. Родители недоверчиво уехали, но с тех пор на дачу зачастили. Я принимал их сдержанно и… покорно. Это задевало. Ревновали они, что ли? Количество благ, которые сулили мне в городе, все возрастало. Но, опять же, я не спешил ими воспользоваться. Впрочем, в сентябре я как миленький вернулся, но о даче уже мечтал. И на следующий, и на все последующие годы отправлялся «в изгнание» охотно и с радостью. Круг моих знакомств невиданно расширился за счет местных дачников, их чад, ну и массовиков-затейников санаториев. А еще позже к ним прибавились и приезжие барышни, несколько превосходящие меня возрастом.

Вчера, во время купания, приметил в малюсенькой, метра два в диаметре, лагунке, невиданное количество рачков. Поэтому сегодня вышел пораньше, прихватив самолов и сачок. И не напрасно. Черпая сачком, раз за пять набрал полную банку рачков – лучшей в мире наживки на бычка. Потом, облюбовав место на одной из скалок, пристроился и приступил к лову. Вечером должны приехать родители, а их надо кормить, ибо, что они там едят в своем городе? Вытащив из банки рачка, отрывал ему голову, насаживал с хвоста на крючок и закидывал в воду. Вскоре начинались легкие подергивания – это бычок пробовал, а потом и рывок. Я подсекал и тащил бычка из воды, по сопротивлению определяя размер добычи. Обычно реальность уступала ожиданиям, но жаловаться не приходилось. Вытащив за час с полсотни бычков, искупался и отправился домой. Бычки-то с грехом пополам позавтракали, а я нет.

Бабушка отбирает самых крупных бычков для жарки, остальных жертвует мне:

- Уху будешь делать сам!

Дело в том, что у нас серьезные и непримиримые разногласия по поводу ухи. Бабушка уверена, что уху надо готовить на курином бульоне, и ни на какие уступки не идет. Я бабушкиных фантазий не разделяю. Беру марлю, заворачиваю в нее головы и хвосты, опускаю в кипящую воду, снабженную луковицей и морковкой с корешком петрушки, примотанными друг к другу нитками, варю минут десять, потом вынимаю луковицу и марлю, а ее содержимое выбрасываю, к огромной радости кота Юзика и его сожительницы Маси, «подаренных» бабушке Тапочкиным. Потом кидаю в варево шинкованные овощи, лаврушку, перец, а после них настоящую рыбу. Через несколько минут снимаю кастрюлю с огня, солю, если надо, пробую и завершаю готовку снопом мелко порезанной зелени. В одном мы с бабушкой сходимся – ни картошку, ни крупу в уху не кладем.

Родители привезли бутылку кислющего вина «Перлина степу». Пить я отказался. За это меня долго хвалили. Они ж не знали, что незадолго до их приезда заявился Тапочкин и предложил «посидеть-поговорить». Выходит пить я буду кое-что повкусней. Бабушка метнула на стол жареных бычков, огурчики, перцы, помидоры с огорода… Родители уехали сытые и довольные. И это хорошо. Надо же несчастным горожанам поесть по-человечески.

А я завалился к Тапочкину. Заявленной темой разговоров был футбол. Обсудили… Минут за пять. А потом… Да-да, конечно, война. Никак Тапочкин от нее не отойдет. И еще: у него есть собственное, довольно необычное мнение по каждому обсуждаемому эпизоду. Например, он считает, что Гитлер в первые месяцы войны побеждал потому, что Красная Армия воевать не хотела.

- А зачем людям было за Таракана воевать? Натерпелись. Сколько людей по тюрьмам-лагерям сидело, скольких сгубили… Голод тут, голод там… Вот и думали: Гитлер придет - легче станет.

- А как же, когда в бой наши шли, «За родину, за Сталина!» кричали? – возражаю я, впрочем, не очень уверено.

- Попробуй не крикни, - смеется Тапочкин, - быстро с тобой разберутся!

- И что, все так?

- Нет, - вздыхает он. – Некоторые искренне кричали… Ты ж знаешь наш народ: любят тех, кто бьет. Но воевать все равно не хотели!

- Так воевали же!

- Слухи дошли, как немец лютует. Тогда только и поднялись воевать! Да и заградотряды поставили…

- А это что такое?

- А сзади идущих в атаку пулеметы ставили. А за ними НКВДшники. И били из этих пулеметов по отступающим.

- По своим?

- Для этих своих не было! Про приказ 227 слышал? Его еще называли «Ни шагу назад».

- Вроде слышал…

- Вроде! Чему вас только учат?

Смешной вопрос. Тому, что рассказывал Тапочкин, нас явно не учили. Более того, подозреваю, что меня ничему бы больше не учили, начни я распространять знания, полученные от Тапочкина. Впрочем, информация нуждалась в проверке. Я позже заикнулся - только заикнулся! – о заградотрядах папе. Папа нехорошо усмехнулся и добавил:

- Они еще дезертиров расстреливали!

- Кто?

- Пограничники и НКВД, заградотряды из них состояли! – потом папа спохватился: - Только не вздумай болтать!

А лето длилось…

В принципе, я мог бездельничать, лениться, питаться кое-как, бухать с Тапочкиным, но имелись дни, когда я обязан быть ОХМ-ОПМ, или очень хорошим и очень послушным мальчиком. Это когда приезжают бабушкины приятельницы и дальние родственницы - мадам Гоменбашен, а также другие столь же почтенные старухи. Ну, мадам Гоменбашен знает меня как облупленного и только посмеивается на мои:

- Хорошо, бабушка! Сейчас, бабушка! Конечно, бабушка!

Остальные старухи тихо завидуют и громко восхищаются.

- Я в восторге с этого мальчика!

Но это только начало. Я знаю, что, перемыв косточки всем знакомым, полузнакомым, еле-еле знакомым и некоторому количеству вовсе незнакомых, старухи усядутся пить чай. Стол я накрываю загодя, чайник кипит, по всем правилам завариваю чай под придирчивыми взглядами и… Вот тут и наступает самое главное. Я вношу пирог с абрикосами! А бабушка скромно роняет:

- Мальчик сам пек. Для гости!

Можете себе представить, как внимательно жуют старухи. Но придраться не к чему. Бабушка отличная кулинарка. А я отличный ученик и, если сам не пеку, все равно назубок знаю все ингредиенты, входящие в этот кулинарный шедевр. Потому что последуют вопросы. Чтоб убедиться. Отвечаю…

- Да, три стакана муки. Да, сливочное масло. Да, молоко. Ваниль, сахар…

В общем, рассказываю-заливаюсь.

Старухи уходят рано. Засветло. Я провожаю их до трамвая, смиренно жду, когда он приедет, прошу приезжать почаще… В общем, работаю до самого отхода трамвая с остановки. Вот я сказал «работаю». Так да не так. Мне не в тягость ухаживать и забегать дорогу этим старухам. Мне нравится роль хорошего мальчика из приличной семьи. Почему нет, если недолго?

Фонтан застраивался. Земли было много, а желающих… Ну, не скажу, что больше. Тогда участки под дачи стали выделять заводам, фабрикам, прочим производственным единицам. Так получил участок муж моей тети… И началось. Кто строил деревянный домик, кто каменный, капитальный, с печкой и двойными рамами. То есть кто-то жил круглогодично, кто-то только в сезон. Кто-то обзаводился собаками, кто-то детьми. Дети росли… Поначалу местное детское население встретило меня в штыки. Произошло несколько замечательных драк. Не скажу, что все они закончились в мою пользу, но и противники тоже целыми не ушли. Так что решили не связываться. И я влился в ораву загорелых, поцарапанных, отчаянных дачных пацанов. С собаками дело обстояло хуже. С кем-то удалось подружиться, кто-то в упор не замечал, а вот овчарка мужика, по имени Отто, терпеть меня не могла. Она принимала куски колбасы и даже хлеба, которые я просовывал ей в щели штакетника, она не лаяла, когда я проходил мимо забора, но стоило мне прокрасться на их участок, а там было много интересного, как собака заходилась в гневном, ненавидящем лае, норовя хоть как-нибудь сорваться с цепи.

- Не ходи к ним. Не ходи к этот Отто! – уговаривала бабушка. И добавляла в сердцах: - Не ходи к этот отвернутый.

Под «отвернутым» она, как выяснилось, подразумевала – отвергнутый. Интересное дело, а почему? Но бабушка отнекивалась.

- Это не мальчик, это длинный нос! Всюду сует!

Пришлось применить свои методы.

- Папа, зачем этот Отто, этот отвергнутый, завел такую злую овчарку?

- Чтоб такие, как ты, на участок не лазили! И при чем тут отвергнутый?

- Это его бабушка так называет! Все время!

После этой тирады следовало исчезнуть с глаз и дать папе возможность спросить:

- Мама, а почему ты Отто отвергнутым называешь?

- А он и есть отвернутый! К Алла-большая шесть раз сватался. Прогнала…

В нашей мишпухе были две Аллы. Алла-маленькая – дочь дяди Гриши, старше меня года на четыре, и Алла-большая - дочь тети Жени и, кстати, владелица этой дачи. Но она там почти не жила, наезжая редко и ненадолго. Она была старше меня лет на десять и даже безуспешно пыталась воспитывать. Тот случай!

Как назло, Отто этот и его родня жили на даче весь год, так что добраться до нее и глянуть, что так бдительно охраняет овчарка, у меня возможности не было. Наверное, это к лучшему. Возможно, расколотил бы что-нибудь в сердцах. Тем более что хватало других дач. В августе поспевали персики, виноград, радовали гигантские желтые груши… На нормальные дачи проникать было легко – забором служили или кусты сирени и кашки, или штакетник, причем одна-две штакетины издавна держались только на верхнем гвозде. К дачам, независимо от материала постройки, была обязательно пристроена веранда. На веранде стоял большой стол, окруженный ветеранами городских квартир – стульями. Стульев и примкнувших к ним табуреток было много. Кроме хозяев, к столу вечером сходились и гости. Гости бывали разные – друзья из города или соседней дачи, а также приезжие. Приезжих всегда много. Шумный, как по мне, и ненасытный народ. Всего им мало: моря, солнца, еды и… сметаны. Сметаной они мажутся, обгорев, и выглядят весьма комично.

К нам с бабушкой гости приходят не так часто. В основном мои друзья.

- Они делают мне больную голову! – жалуется бабушка.

У Тапочкина полон дом этих самых гостей. У него вполне законные основания в доме не появляться – тесно. А еще можно исчезать на рыбалку, – гостей кормить надобно! - уклоняясь от обременительных походов за продуктами и керосином. Да-да, керосином, ибо готовят у нас тут на примусах да керогазах. Поговаривают, что скоро разрешат пользоваться баллонным газом. А пока какие-то там препятствия. Я не вникаю. Тем более у нас не один, а целых три примуса. Правда, третий потек, поэтому стоит в сарайчике на полке и ждет мастера-посудупочиняй.

Примус вообще штука универсальная. На нем можно и самогон гнать, как Тапочкин, и обед готовить, и варенье варить. Варка различного варенья занимает почти все лето. Вишня, клубника, черешня, сливы, абрикосы… Мало? А яблочный джем, а варенье из груши? Еще мало? А перетирка из смородины?

Папа варенье не ест с детства. Говорит, что переел. Ладно… Мама тоже варенье не очень любит, тем более сваренное бабушкой, поэтому осенью-зимой отдуваюсь за всю семью. Вероятно, я делаю это успешно, ибо уже весной наблюдается большой дефицит сладкого в бесчисленных банках, которые бабушка выделяет на нашу семью.

Варенье-то я люблю… И печеное с ним тоже. Что не люблю – собирать фрукты-ягоды для этого самого варенья.

Сперва шла вишня. У нас было два вишневых дерева. И на оба надо было залезть с детским ведерком на веревочке, – веровочке, как говорила бабушка – набирать в это ведерко вишню и аккуратно спускать бабушке. И так десятки раз. Замахаешься. Но это не все. Еще надо добывать из вишни косточки с помощью скрепки. Ужас какой-то. И руки потом не отмывались. Однажды бабушка вообще затеяла шпиговать вишню кусочками грецкого ореха. И… нарвалась на бунт. Так что пришлось ей ограничиваться обычным вареньем. В два таза насыпались послойно вишня и сахар, доливался вишневый сок, получившийся при выемке косточек. Через час-полтора вишня обильно пускала сок, и можно было варить. Бабушка варила варенье в два или три приема. Не помню уже сколько. Чем больше, тем лучше, ибо каждый этап заканчивался снятием пенки. А вишневая пенка – это счастье навек.

Еще до вишни варили варенье из клубники. Варили? Именно! Ибо кто пер с Привоза берестяные лукошки с ягодами? Кто обрывал у ягод хвостики? То-то! Остальную легкую работу делала бабушка. Ибо разве это труд кинуть принесенные и почищенные мной ягоды в таз и засыпать сахаром? А на огонь тяжелый таз ставил, кстати, я. Бабушка только сидела на скамеечке и наблюдала, как сок, сквозь который проглядывали острые мордочки ягод, взбухает, идет пузырьками…

Думаете, мне можно было отдыхать? Ага, тот случай!

- Шурка! Отгоняй осы! – командовала бабушка.

Осы вообще вредные звери! Знаю, знаю, что насекомые, но кусаются они зверски. Меня тяпали, причем не раз. Больно! А главное, укушенное место позднее чешется неимоверно…

Вскоре наступал черед черешни - сперва черной, потом белой. Варенье из белой черешни, сваренное с апельсиновой цедрой, нежно люблю до сих пор.

Особое - я бы сказал, самое пристальное - внимание уделялось сливовому джему. У бабушки именно он, сдобренный орехами, шел на начинку штруделя – традиционного десерта практически всех семейных застолий. Но я отвлекся. Не помню уже – раньше или позже слив поспевали абрикосы. Абрикосовых деревьев, как и слив, было тоже по два дерева. Знаете, как это красиво: оранжевые шары абрикос на зелени. Абрикосы очень даже шли в еду. Представляете, бабушка суп из них делала. Но главное - варенье, рыжее и очень ароматное. Варить его очень просто, даже я умел. Абрикосы пополам, выдернуть косточки, половинки засыпать сахаром и на огонь. Закипели – снял, и так пару-тройку раз. Делов куча. А косточки… Мал был - несколько косточек шли на свистки. Берешь косточку и трешь о цемент до дырочки сбоку, потом иголкой тащишь кусочки бубочки оттуда. Все! Свисток готов. Но лучшее дело – сами бубочки. Разбил косточки, добыл бубочки, чуть подсушил и в раствор – крепкий! – соли. Сварил, высушил, кинул на сковородку и чуть поджарил. За уши не оттянешь. Во всяком случае, семечкам нечего делать. Впрочем, семечки ем только на футболе. Тут уж никуда не денешься.

Сначала, я ходил на футбол с папой. Вернее, папа, которому надлежало погулять с ребенком, тащил меня на футбол. Пару раз я, конечно, терялся, и папе приходилось на потеху другим болельщикам пробираться в подтрибунное помещение, дабы получить меня обратно. Один раз мне удалось пробраться на беговую дорожку. Оттуда смотреть за дядьками в трусах, гоняющими, как наши пацаны, мячик, было интересней. Мне и папе не повезло. Защитник ОДО Джанни Каллис, вынося мяч в аут, сшиб им меня с ног. Я пал на гаревую дорожку и завопил так, что генерал Радзиевский – тогда командующий округом – распорядился узнать, что с ребенком. В общем, когда папе меня вернули, он уже наслушался всякого. Да и дома… Я ж не мог оставить в тайне от общественности такое выдающееся событие.

Вскоре я стал ходить на футбол самостоятельно. И без билета, разумеется. Целый рубль за детский билет. Не напасешься! На стадион я и такие, как я, проканывали. Пристроишься впереди какого-то мужчины и… вперед мимо билетера. Он-то думает, что ребенок с папой. Некоторые лазали через забор. Но это было чревато. Милиции на матчи пригоняли много. А на особо важные встречи конную милицию выставляли.

В день матча транспорт всегда забит до отказа, поэтому я придумал себе потрясающий маршрут: пешком до Аркадии, потом катером до Ланжерона, оттуда через парк на заветный угол к месту встречи с друзьями. Море удовольствия, а не поездка. Представляете, примоститься у левого борта и глядеть на берег. А он близко – метров сто пятьдесят. Пляж Дельфин, клиника Филатова высоко наверху, сюда мы порой приходим с Тапочкиным на лодке тягать бычка или дурить скумбрию. Становимся прямо против здания клиники и - вперед. Отличное место! Дальше Отрада с буксиром на мели. С буксира тоже неплохо бы рыбачить, но уж больно его загадили бичи. А дальше – Ланжерон, парк и в конце путешествия футбол.

Вот интересно, на даче мы в футбол не играли. И не то, что негде было. Пустырей тогда еще хватало. А просто как-то ноги не доходили. То налет на чей-то сад, то велопробег на дачу Ковалевского, то рыбалка… И купание, купание, купание… Вот подумал, у меня как-то не осталось дачных друзей. Подходило время отъезда, прощались, грозились звонить-заходить. И пропадали друг для друга до лета. Встречались настороженно, опять приглядывались друг к другу, сравнивали…

Единственный человек, всегда встречавший меня радостно, - это Тапочкин. Как и не расставались. Он с ходу предлагал продегустировать что-то новое, только-только им изобретенное. И опять мы засиживались далеко за полночь. Когда я был школьником, мне полагалось пить вино, разбавленное – и щедро! – соком. Когда поступил в институт, был допущен до чачи. Кстати, и в институт поступал я «с дачи». Сидел, зубрил, садился в трамвай, обязательно в первый вагон и с первой площадки, ехал, сдавал…

Тапочкин терпеливо ждал меня с экзамена.

- Рыжий, ну как?

Я показывал ему пять растопыренных пальцев, и он радовался больше меня. Бабушку не очень волновали мои успехи на ниве просвещения.

- Ну ты уже можешь немножко покушать? – спрашивала она и махала на Тапочкина руками. Уходи, мол, видишь, ребенок голодный!

Я действительно никогда не ел перед экзаменом. Ни в школе, ни при поступлении, ни в институте. Бабушка метала на стол центнеры провизии, а я делал вид, что жутко голоден, хотя после экзамена уже совершил налет на пирожковую на углу Канатной и Пироговской. После еды можно бы на море, но солнце уже высоко, а гамак так уютно покачивается в тени. И ветерок… И дымка…

Дымок из трубы Васькиного дома посреди лета означал не раннее похолодание, а только то, что Васькин папа дядя Слава забил кабанчика. Да-да, у Васьки держали кабанчика! И забивали его в конце августа, так чтоб все вкусности поспели к двойному дню рождения: Васькиной мамы тети Лоры и самого Васьки.

Васька знал, что звать меня надо, когда кабан забит, обшмален, разделан. Мол, дальше я выдержу. И правда, в приготовлении фарша и рассола для окороков не было ничего ужасающего.

- Крови боишься! – укорял Васька.

- Ну ты же знаешь, что нет! – возражал я. И Васька затыкался. Ибо помнил, кто тащил его, окровавленного, после падения со скалы домой вверх, в гору.

- Ты мне жизнь спас! – выспренно сказал он, вернувшись из больницы.

- Отстань! – вежливо ответил я.

Печь уже топится, но какие-то непонятки с дымом. О, вот уже и дым такой, как надо. На трубу кладут решетку с крючками, на крючки вешают сырые колбасы. Через некоторое время аромат колбас становится умопомрачительным.

- Погуляйте, ребята! – советует Васькин папа. – Это дело долгое!

Мы-то знаем, что дело долгое, но так хочется поскорей. Но скоро только кошки родятся.

Так, кстати, любит говорить Тапочкин, а уж он-то знает. Каждый год минимум один раз его кошка Тюлька приносит котят. Когда пять, когда шесть, а когда и восемь. И начинаются мучения Тапочкина, ибо жена его, тетя Мария, требует котят топить. И поручает это, конечно, мужу. Топить котят Тапочкин не стал бы даже под угрозой смерти, поэтому сначала он их прячет у себя в летней кухне, а потом, когда они чуть подрастут, ходит по коллективу, уговаривая людей принять котенка в семью. Котята у Тюльки все как на подбор серые, даже серебристые, крупные и пушистые. В маму. Тюлька тоже озабочена будущим потомства, поэтому не возражает, когда Тапочкин берет очередного котенка, кладет его за пазуху, якобы чтоб тетя Мария не заметила. Я больше чем уверен, что тетя Мария прекрасно знает о партизанской деятельности мужа. Это трудно не заметить: практически во всех домах нашего коллектива, да и в соседних, живут-поживают пушистые серые коты и кошки.

- Тапочкинское отродье! – обзывают этих зверьков в коллективе. Кстати, Тюлькино потомство совсем не боится собак. Скорее, собаки обходят их стороной. Любые. От болонки мадам Бредис до овчарки Отто. А уж если коты-кошки соберутся вместе! Вот как сегодня на запах коптящейся в трубе колбасы. Коты расположились серыми столбиками прямо перед зимней кухней, распластав хвосты по земле. И молчат. Ждут… Собаки, тоже привлеченные ароматом, тусуются в сторонке, нетерпеливо повизгивая.

А нам куда деваться? Можно бы побегать, но что-то не отпускает. Эх, скорее бы! И ведь, главное, были бы голодны. Или колбасы такой век не видели. Так нет, в погребе, а потом и в холодильнике каждого и домашней, и магазинной колбасы в достатке, ан нет, ждем…

- Айда рыбу глушить! – предлагаю. Это я новый способ рыбалки частично вычитал у Беляева в «Старой крепости», частично придумал. Карбид есть, бутылка тоже…

В общем, отправились мы на берег. Не рано, время после полудня. На скалках почти никого. Только мужичок какой-то с книжкой валяется. Ну да он не помеха. В бутылку на треть песок сыпем, сверху карбид, заливаем воду, закрываем пробкой и прикручиваем пробку проволокой. Быстро, быстро! А теперь бутылку в воду. Кинули. Ждем. Что-то долго… Высовываемся из-за скалы…

Как дало! Звука почти не было. Чмок такой… А столб поднялся нехилый. И волна как плеснет. Нас окатило, а мужика с книжкой аж смыло. Вскочил, отряхивается, орет:

- Мина, мина!

Какая мина, дурак! Иди себе книжку сушить и людям не мешай! Так нет, не унимается.

- Я на вас, хулиганье, управу найду!

Ну, иди себе, ищи эту управу, а нам некогда, надо улов собирать. Кстати, не такой уж богатый.

Только начали, глядим – погранцы бегут. С собакой-шукалкой. Мы и ноги в руки. Взбежали наверх, спрятались за кустами, смотрим, что дальше. А дальше вбежали они на пляж наш, мужика с книжкой на песок повалили, руки заломили… Аж жалко его временно стало. Ненадолго, ибо слезли они с него, а он на ноги встал и наверх показывает, на кусты, где мы прячемся. Ну, мы и дальше подорвали. Мало ли…

Наведались к Ваське, там работы, в принципе, закончили. Окорока, завернутые в марлю, под навесом, на сквознячке. Потом их подкоптят чуток и в сарай переведут, колбасы коптятся, а мужики пока без мясного чачей балуются. А где чача, там, понятно, и Тапочкин.

- Вечером, Шурка, - кричит, - на скумбрийку пойдем!

Кто ж против?

А против, оказывается, бабушка. Она на вечер стирку запланировала. А кто, кроме меня, веревки натянет от веранды к душу, кто воду ведрами таскать будет от крана к примусу, от примуса к корыту?

Но затеешься со стиркой, ни на какую рыбалку не попадешь. Проверено. Стирка у нас раз в две недели, но ее много. Лето же.

Я ничего против стирки не имею. Дело нужное. Но не сегодня же. Пытаюсь объяснить это бабушке. Но тут другое отвлекает. Ребята прибежали:

- Шурка! Милиция по дачам ходит, диверсантов ищет!

Это дело меняет. Хватаю ведро, спускаюсь в шахту, наполняю водой, тащу к примусу, а он даже не разожжен!

- Бабушка, - ору, - ставь примуса!

- Жарко еще! – бабушка сопротивляется.

Раскочегариваю примус, ставлю ведро, за вторым бегу. А тут и участковый, еще какой-то мент и давешний читатель с пляжа.

- Что делаем? – участковый спрашивает.

- Стираем! – бурчу.

- Дело нужное… - участковый соглашается и на читателя смотрит.

- Вроде похож, - тот мямлит, - а вроде и нет…

- На кого это я похож? – интересуюсь.

- Да так… - машет рукой мент. – Ну, бог в помощь!

- Бога нет! – наглею. – Пора бы знать!

Они ушли, но легче мне не стало. За меня бабушка взялась.

- Что натворил?

Так я ей и сказал!

Белье уже замочено в выварке, перекладываем часть в старую кастрюлю, выварка на примус не становится, добавляем стружки стирочного мыла, заливаем водой, ставим на огонь второго примуса. Пусть вываривается. А пока бабушка стирает в корыте носильное. Полощет, трет на специальной ребристой доске, снова трет… Я таскаю воду, по частям опустошаю корыто с использованной водой, развешиваю выстиранное, закрепляя его прищепками. Заполненную бельем веревку поднимаю с помощью палки с выемкой для веревки на конце. Работы много. Чувствую, что сил у меня останется ровно столько, сколько нужно, чтоб со стоном добраться до постели.

Так оно, в конце концов, и происходит.

Утром побежал было на море, но вернулся. Отдыхающие в синих сатиновых трусах лежали на вафельных полотенцах и в шесть примерно часов пытались загореть. Ботинки с крючками стояли рядом, а в ботинки были вставлены одинаковые же однотонные носки. В воду никто не забирался. Бдили. В такой компании пляжиться мне что-то расхотелось. К тому же настроение испортилось. Что-то они всерьез за поиски «диверсантов» взялись. Кого-то им надо прихватить.

Прихватили… Парочки, скрывавшиеся ночью в кустах. Уж не знаю, где у «купальщиков» засада была, но только парочки из кустов на берег шасть, эти тут как тут. В общем, скандал на весь берег. Наверное, и в Люстдорфе слышно было.

Никто, кроме меня, разговора с родителями не избежал. Ну и проболтались, будем считать, что под пыткой. В смысле, кто зачинщик. Короче, нехорошо на меня некоторые взрослые коситься стали. И к бабушке подъезжать на тему, что неплохо бы от меня отдохнуть. Типа ходить по аллеям, а меня не встречать.

- Сиди на свой участок! – отвечала бабушка.

- Не указывайте! – горячились некоторые.

В общем, стал я частично запрещенным. Обидно, когда друзья предают.

Тапочкин мне тогда здорово помог. Старик ведь – лет сорок пять ему было, не шутка! – а все понимал. Видит, я в одиночестве по даче слоняюсь, дела не нахожу, приходит и сразу:

- Слушай! Так мы с тобой на скумбрию не сбегали! Как насчет сегодня?

Я и рад. Рад? Да я просто счастлив!

- Пошли! – кричу.

- Погоди! – Тапочкин рассуждает. - Рано еще. Часика через два выдвинемся. Когда попрохладнеет.

Я было приуныл, а он ругается:

- А снасти за тебя кто проверять будет?

Во, дело появилось!

Снасти на скумбрию простые. Удилище, конечно. Леска, само собой. На конце лески – грузило. А выше него штук десять отрезков лески – поводков – с крючками. Крючки без наживки, с перышками цветными – синими, желтыми, красными… Вот и все. Называется эта снасть – самодур. Да и ловить на нее просто. Сидишь и водишь удилищем вверх-вниз. Аж до тех пор, пока рыба не дернет. А зачастую и не одна. Если на косяк попал. Только успевай с крючка снимать…

После рыбалки лег спать в саду. Звезды, мохнатые, как шмели, роились над головой и падали, падали…

Можно было загадывать любое желание. Но я не стал. Зачем? Ведь все и так хорошо!

Бабушка умерла глухой и дождливой осенней порой. Легла спать и не проснулась.

А потом, уже летом, оказалось, что на дачу ездить незачем. Даже Тапочкина уже не было. Он сбежал от жены и уехал куда-то под Саратов.

Месяца через два меня нашел какой-то чудак, купивший у сестры дачу. Он передал просьбу показать, что и как.

Поехал…

Я дернул дверь. Она открылась и выдохнула змеиный запах застоявшегося помещения. Доски пола растопырили щели, забитые тишиной. Вдоль стены в очереди стояли бутыли. О, какое тут когда-то было вино!...

**СНЫ ЧИСТЯКОВА**

Чистякову приснился его брат Илья, умерший года три назад от пьянства. Стоит себе молодой, трезвый, красивый да здоровый. И улыбается. Это что? Рядом-то с ним женщина! Как по Чистякову, так просто красоты неземной. Лицо, фигура, глаза… Шрамик, правда небольшой на правой щеке. Но ее он не портил. Нет! Наоборот, какую-то дополнительную прелесть придавал. Хотя, куда там прелести дополнительной? Так прекрасна!

Никогда таких Чистяков не встречал. А когда встречать-то было? Работа, дом, работа, дом…

В общем, позавидовал брату Чистяков.

А потом во сне вспомнил, что брат ему снится. И еще вспомнил, что с братом они враги.

Были?

Не ладили они давно. Еще с института, когда брат вылетел за прогулы и неуспеваемость. А Чистяков остался. Ничьей вины тут не было. Брат Илья гулянки всякие любил. И гулял себе. А Чистяков учиться обожал. Ну, и учился.

А трещина с тех пор и пошла.

А когда Илья запил уже по-черному, то трещина еще больше стала. Одно Чистякова утешало. Не дожили родители до этого.

Хотя, если честно, и сам Чистяков их мало чем порадовать мог. Жена его бросила, обозвав неудачником и серостью. Детей не имелось. И с работой не все гладко выходило. То есть, работа, конечно, имелась, но денег почти не приносила. Ни Чистякову, ни сослуживцам. Сослуживцы потихоньку уходили. Новых на их места не брали… История известная. Так что, отдувался Чистяков за четверых, примерно. Как-то глянул на себя в зеркало Чистяков. Вылитый Илья, в период пьянства. Худой, одежда потрепанная. А где взять одежду нормальную, если сейчас, допустим, июнь, а зарплату в марте, и то не полностью, давали.

Карьера, да?

– А ведь лет двадцать уже работаю! – сообщил себе тогда Чистяков. А потом себя же спросил: - А толку?

Ох, меня, оказывается можно хлебом не кормить, а дать отвлечься. Но я продолжаю.

Так вот, приснился Чистякову брат. И не один. С женщиной! Впрочем, это я вам уже докладывал. Но надо еще раз, потому что, в этой-то женщине все дело!

Улыбнулась женщина Чистякову и попросила позвонить по номеру, который назвала, а Чистяков тут же намертво и запомнил. Позвонив, надо было позвать Марину, передать от Нины – так звали эту красавицу – привет и сообщить, что у нее все отлично. Только и всего!

Чистяков сразу – сон же! – согласился. Брат с этой Ниной куда-то ушел. А Чистяков продолжил спать, сожалея, что знакомство с этой Ниной таким коротким оказалось. А потом стал другой сон смотреть. Про собак, кажется.

Утром, проснувшись, Чистяков все вспомнил. И телефон, на всякий случай, записал.

– Чепуха какая-то! – думал он, жаря себе яичницу.

– А вдруг не чепуха? – испугался, одеваясь на работу.

– Вечно одни гадости от Ильи! – вспомнил, втискиваясь в маршрутку.

– Все же брат… – укорил себя, садясь за рабочий стол.

– Брат, брат, а женщины у него всегда самые лучшие были. Вот эта Нина…

Положительно, женщина из сна не выходила у него из головы.

А потом Чистякова вызвал начальник, или, как теперь говорят, хозяин, и устроил ему выволочку. Просто так. Не за дело. Потому что, Чистяков умел слушать, когда его ругают! А всякому же приятно, когда его слушают. Вот хозяин над Чистяковым и изгалялся.

А зря! Ибо Чистяков брата вспомнил и подумал:

– Мне почти сорок пять лет, а я такое над собой позволяю!

Так что, не дослушал он начальственный разнос, а повернулся и пошел себе.

– Ты куда? – не понял начальник.

– А туда, куда тебя послать надо бы – перешел с боссом на ты Чистяков, – но вот не послал, поэтому сам иду!

– Ты что обиделся? – опешил хозяин. – Брось, старик! – запаниковал он. – Прости, если что…

В общем, успокоил он Чистякова. И зарплату, для верности, прибавил. И даже выплатил за март и апрель.

Сидит Чистяков и радуется, но опять брата вспоминает. На этот раз, как тот одет во сне был. А потом не выдержал и в обед по магазинам пошел. Джинсы себе купил точно такие, как у Ильи, рубашку… Приоделся, короче. Глянул в туалете в зеркало – вылитый Илья.

Брат-то при жизни не очень братом был. Все лучшее себе греб. Мог и карманы обшарить, чтоб деньги вытрясти. Все контрольные и вообще домашние задания Чистяков за Илью делал. Но что-то благодарности не было. Как должное. И все!

Странно. Они ведь близнецами были. А женщины только Илью и видели. Бывало, стоят они рядом, как две капли похожие, рта еще не раскрыли, а все девушки Илье улыбаются, а Чистякова, как и не видят. Загадка?

Чистяков за это на брата не злился. Виноват Илья, что ли?

Но!

Когда брата из института поперли, Чистяков, если честно, обрадовался. Он боялся признаться в этом себе самому. Но признался. И в ужас пришел. И почувствовал себя виноватым!

А Илья каким-то образом это уловил. Каким образом, неведомо. Но за это обложил Чистякова данью. Придет в любое время суток, когда вздумается, и денег требует. А если у Чистякова денег не было, что-то из вещей прихватывал. А однажды так Чистяковскую жену прихватил. И увел.

Чистяков тогда даже не удивился. Говорила же ему жена:

– Ты так на брата похож… – и улыбалась как-то странно.

Просто горько очень стало Чистякову.

А прожил Илья с чистяковской женой – теперь уже бывшей – месяца три. Да и бросил ее.

И к Чистякову, как ни в чем не бывало, пришел.

– Зачем она тебе нужна была? – спросил Чистяков брата.

– Для коллекции! – ответил тот.

А тогда Чистяков ему и сказал:

– Уходи-ка ты совсем из моей жизни!

Брат, странное дело, послушался.

Жена, бывшая, правда, пыталась вернуться. Но Чистяков сказал ей:

– Не надо!

И она исчезла. Бог с ней. С братом, конечно, обидно. Только во сне с тех пор и свиделись. А ведь брат ему и слова не сказал! Да, точно! Та женщина только говорила, Нина!

– Вот-вот, лучше я стану думать о женщине Нине, – решил Чистяков. И вправду стал о ней думать. И по всему выходило, что краше ее нет. И еще он думал о том, что раз она просила, то надобно все же позвонить.

За мыслями такими рабочий день прошел.

Маршрутка, впервые на памяти Чистякова, оказалась полупустой. Он сел у окна и стал с удовольствием в него глядеть.

– Живу тут почти сорок пять лет, а, вроде, и не видел, как город хорош! – удивлялся он.

Придя домой, Чистяков надел обновки и пошел глядеть на себя в зеркало. И очень себе понравился. Какой-то решительный, строгий мужик на него глядел.

– Позвоню! – решил Чистяков и набрал номер.

Ответила ему женщина. Голос ее был странно знаком.

– Здравствуйте, – пытался не запинаться Чистяков, – я звоню вам по совсем необычному делу…

– Вот как? – весело ответил голос, – Но сразу предупреждаю, пылесосы, косметику и, что там у вас еще, я не покупаю!

– Нет, что вы? Я ничего не продаю! – заторопился Чистяков, ­ – вы только трубку не бросайте…

– Говорите! – дозволила женщина.

– Дело в том, – совсем растерялся Чистяков, – что мне приснился сон…

– Это не повод, чтоб звонить посторонним женщинам! – оборвали его.

Испугавшись, что его не дослушают и бросят трубку, Чистяков попросил:

– Марина, подождите, пожалуйста…

– Вот как! Вы знаете мое имя?

– Я ж пытаюсь рассказать. Мне приснился мой брат. С ним была женщина. Нина. И она просила передать вам, что у нее все в порядке!

– Нина? – напряженным голосом переспросила собеседница. Вы сказали – Нина?

– Да-а! – совсем растерялся Чистяков.

– Нина скончалась два года назад! – почти отчеканила Марина.

– Простите! – пролепетал Чистяков. – Я не знал… Я правда не знал…

И собрался повесить трубку.

– Не кладите трубку! – догадалась Марина. – Расскажите, как она выглядела!

Неожиданно для себя, Чистяков довольно толково описал Нину. И про шрамик сказал.

– Шрамик? Где?

– На щеке, на левой… Но он ее не портит! – успокоил Марину Чистяков.

– И эта женщина из вашего сна сказала номер моего телефона?

– Да, и велела сказать, что у нее все в порядке! – повторил переданную информацию Чистяков.

– Нам надо увидеться! – практически велела Марина.

– Хорошо!...

Она продиктовала адрес. Это было недалеко, так что, через пол часа Чистяков уже нажимал звонок у двери в ее квартиру.

Открыла ему женщина из сна!

Он аж отпрянул. И, честно говоря, испугался.

– У меня нет шрама! – сказала женщина.

– Вижу… – пролепетал Чистяков.

– Я Марина, а не Нина! – сказала она и посторонилась, давая ему войти.

Потом они пили чай и разговаривали.

Никогда в жизни Чистяков так долго и с таким удовольствием ни с кем не разговаривал! Тем более, с женщиной!

……………………………………………………………………………………………………

Недели две спустя после того, как они стали жить вместе, Чистякову снова приснился брат. На этот раз он был один.

– Ну, что, братишка, в расчете? – спросил он.

– Я твой должник! – ответил Чистяков.

Брат улыбнулся и ушел. И больше не снился никогда.

3.Боссарт Алла («Аркадия»)

***Алла БОССАРТ***

**АРКАДИЯ**

Родила Дуся, как какая-нибудь ветхозаветная Сарра – в 54 года. То есть случайно. Никто к этому не готовился и сюрпризов не ждал, у них с Папусиком уже внучка ползала. Сначала Дусю тошнило и рвало, пошла делать гастроскопию. Давилась и стонала, пока в желудке шуровали кишкой c телефонный кабель, но все без толку. Гастрит, сказали, такой маловыразительный, что и говорить не о чем. А что касается язвы – то все это ваши фантазии и мечты. Сходите на УЗИ и успокойтесь.

Узист сказал: «Мадам, вас посещает панкреатит. Ешьте овсянку и не пейте пива».

У Дуси же, между тем, появились разнообразные боли, и живот как бы опух. В панике побежали к онкологу. Онколог послал на анализы, пожал плечами и спросил из чистого любопытства: «Половой жизнью живете?» На что Дуся отчасти возмутилась. У нее был муж, Папусик, и к нему у Дуси не было никаких претензий. Папусик был на пятнадцать лет старше, и та ерунда, что между ними происходила, никак не могла претендовать на гордое имя «половой жизни». Папусик, подобно панкреатиту, именно посещал Дусю раз в полгода, вот и все. Поэтому, когда знакомая гинеколог, которая в самую последнюю очередь, так уж, для очистки совести, покопалась в Дусином замшелом лоне, сказала ей удивленно: «Мамочка, да ты на пятом месяце», - Дуся вообще не сразу поняла, о чем речь.

Короче, опоздали по всем направлениям удара. Чтобы Дусю не хватил удар от напряжения, сделали кесарево, и девочка вышла в мир без труда и помех. И в дальнейшем полностью отвечала теории о том, что так называемые «кесарята» не способны преодолевать препятствий и живут, как покатит – избегая усилий борьбы.

Родившись столь несвоевременно и поздно, Софа явилась нежданной, как одноименная икона, радостью. Носились с ней как с писаной торбой все: родители, старший брат, его жена… Даже племянница в свои четыре года знала, что Софочка – существо особенное и ей надо во всем уступать.

Другими словами, из Софы планомерно готовили классическую стерву. И потому вдвойне приятно, что выросла она не какой-нибудь там гадиной, а вполне доброкачественной девочкой с веселым нравом и скромными запросами. Возможно, именно потому, что являлась «кесаренком», лишенным честолюбия и пагубных стремлений. И эти счастливые свойства характера обеспечивали Софочке всеобщую любовь на разных этапах жизни.

Единственной проблемой, которая нарушала окружающую гармонию, была болезнь престарелого Папусика. Слава богу, не рак, не Альцгеймер и даже не какая-нибудь там мужская беда в виде аденомы. Папусик страдал аллергической астмой, что исключало присутствие в доме всякой фауны, особенно кошек. Кошки же, на беду, были Софочкиной страстью. Гладя и прижимая к себе помоечную нечисть, которой в ее родной Одессе больше, чем барабульки в Черном море, девочка впадала в экстатическое состояние. Она почти не ходила в школу, непрерывно лечась от лишаев.

- Лучше умереть, - сказал самоотверженный Папусик, - чем смотреть, как страдает ребенок.

И подарил обожаемой дочке котенка, белого и голубоглазого, как флаг государства Израиль.

Малышка заплакала от счастья. Папусик тоже плакал, сморкался и заходился дикими приступами кашля, пока не стал форменным образом помирать от удушья. Кошечку пришлось отдать, а Софочка написала свое первое стихотворение:

*Прекрасней солнца и луны*

*ты весь пушистый как пушок*

*и мне никто вы не нужны*

*как жить мне без кошок?*

Но жить приходилось, тем не менее, «без кошок», потому что папу добрая Софа любила все-таки больше.

В институт она не поступала. Переводила свои мечты о кошках в область лирических рифм и ждала, что рано или поздно на нее свалится какое-нибудь приятное дело. И оно-таки свалилось. Плывя по воле незначительных волн, Софочка невзначай прибилась к одному коллективу – действительно, на удивление милому, хотя и женскому: безвредные, с легкой придурью тетки, помешанные на кошках и собаках, клепали маргинальный журнальчик «Любимец», в котором не было места ни политике, ни стихийным бедствиям, ни криминалу, ни даже сиськам – а была налицо только верная дружба и всякие симпатичные забавности. Софочка вкатилась в эту утопию, как в лузу.

Работа давала девушке возможность не только печатать свои стихи о кошках, но и входить с ними (кошками) в различные взаимоотношения. Впрочем, это только растравляло ее раны. Между тем, уйти от стариков-родителей и жить своим домом, где можно было завести хоть десять кошек, самой платить за коммунальные услуги и ходить на базар, ей даже в голову не приходило.

Как-то раз Софа брала интервью у одного капитана, прекрасного обветренного мужчины, хозяина изумительного невского маскарадного – огромного, как аэростат, серого котяры по имени Капитан (что может внести легкую путаницу) с васильковыми глазами, точно такими же, как у самого каперанга. Это был очень знаменитый кот, главный производитель породы в Украине и России. У человеческого капитана тоже было немало детей в разных городах и странах. Оба производителя смущали Софочку своими роскошными наглыми взглядами, и кот, как бы от имени хозяина, терся бархатной мордой об девушкины лодыжки.

Капитан, со свойственной котам интуицией, прочухал, какое неотразимое впечатление он произвел на барышню, и всячески закреплял победу. С тяжелой грацией вскочил ей на колени, опираясь лапами о плечи, лизал шершавым языком щеки и стонал от удовольствия, когда маленькие нежные руки почесывали ему под челюстью и за ушами.

- А с кем же Капитан, когда вы в рейсе?

- Вот это наша главная проблема, с тех пор как умерла жена. Пробовал взять его с собой, но у него, как поднялись на борт, начался нервный припадок: икал, блевал, пардон, и все такое. Пришлось прямо в порту отдать его жене первого помощника. Славная женщина, дом с садом на 16-й станции, райская жизнь… Так этот паршивец за два месяца облысел от тоски. Еще пару раз оставалась моя сестра. Ну что? Изгадит всю квартиру, доведет сестру до криза – такой вот экземпляр. Скоро год, как жены нет, совершенно не знаю, что мне делать. – И капитан весело и как-то вопросительно посмотрел на Софу.

- Наверное, жениться надо? – бойко предложила девушка в ответ на этот немой вопрос.

- Так на ком, милая вы моя? Надо ж, чтоб Кап ее полюбил! А эта сволочь (пардон) ни одну бабу на порог не пускает. Как дьявол становится, ей-богу.

- Да что вы? Прямо не верится. Такой ласковый…

- Значит что-то в вас учуял. Давайте, мы на вас женимся, а?

И капитан белозубо засмеялся, а Софа смущенно хихикнула.

Интервью получилось очень удачным, фотографию капитана Глеба Родионова в обнимку с котом Капитаном на парапете Потемкинской лестницы поместили на обложку «Любимца» вместе со стишком:

Жил на свете капитан,

Он объездил много стран –

Сто, а может больше ста

Без любимого кота:

К морю страсти не питал

Сухопутный Капитан.

В день выхода журнала Софье доставили на работу нереальный букет орхидей с запиской в фирменном конверте Черноморского пароходства: «Уважаемая Софья Марковна! Окажите честь поужинать со мной в Гавани».

Официально просить руки решено было на 95-летнем юбилее Папусика.

Дуся сказала: «Ай, что творится!» и схватилась за свою большую грудь. Папусик зорко оглядел белоснежную фигуру жениха и спросил, прищурясь:

- А позвольте узнать, капитан, на сколько вы старше моей дочери?

- Какое тебе дело! – закричала Дуся. – Забыл, что сам родил под семьдесят?

Глеб Родионов улыбнулся и пригладил седой ежик. Папусик похлопал его большой морщинистой рукой по погону:

- Я люблю море, капитан. И я не против, что моя дочь будет женой моряка, а не какого-то голодранца со Староконного рынка в штиблетах на босу ногу. Но я не хочу, чтоб девочка ни с того ни с сего стала вдовой.

Дуся закатила глаза и шепнула:

- Старый поц…

- Я вас умоляю, - засмеялся Глеб Родионов. – Мой отец ходил за ставридой и умер на капитанском мостике в восемьдесят девять лет. А деду было сто два, когда его убили в драке.

- Будем надеяться... Хорошо, считайте, благословил. У вас нет кошек?

- Есть. Кот.

- Вот это зря. Мы не сможем взять вас в дом. А как девочка будет без мамы с папой?

- Папусик! – вмешалась Дуся. – Не делай людям головную боль. Ребенку нужна личная жизнь. Если кого-то интересует, лично я не возражаю. И смотри, Папусик, он пьет, как Сёма перед смертью. У моего брата Сёмы, - объяснила Дуся капитану, - был рак поджелудочной железы. Он выпивал максимом рюмку водки за обедом. Максимом!

На следующий день после свадьбы, как бы передав обожаемую дочку с рук на руки, Папусик мирно и счастливо скончался. Старая Дуся переехала к непьющему зятю в Аркадию и была принята четвероногим Капитаном благосклонно.

Глеб Родионов со спокойным сердцем бороздил океанские просторы, старуха-теща дремала в кресле на балконе с видом на море, несмотря на старания всей одесской канализации остававшееся морем, где одесситы, и вместе с ними Софочка, безмятежно купались, плюя на запреты, а Капитан-Кап грелся на осеннем солнышке, положив щекастую голову на Дусины опухшие ноги.

Софочка видела мужа редко, но, обретя собственного кота, не скучала. Теперь она радостно спешила с работы домой, и Капитан, завидев ее с балкона, пулей несся к двери и с разбегу кидался ей на грудь, а Софочка ловила его, как вратарь, прижимала к себе и целовала щекастую морду.

*О, Капитан, прекрасный рыцарь,*

*Теперь мне от тебя не скрыться,*

*Ты спишь, в ладонь мою дыша –*

*Поет щеглом моя душа!*

*Пусть лучше мне отрубят руку,*

*Чем дам я потревожить друга.*

В таком вот роде.

Признаться, Софья была даже рада длительным капитанским отлучкам. Дело в том, что в органическом безволии и общей аморфности либидо в ней размазалось, как икра по скупердяйскому бутерброду. Софочка совсем не понимала радостей секса, бедная. Эта сторона любви, хотя поверхностно и опробованная, по существу осталась ею не познана. Она любила своего капитана лениво и приветливо, как всех вокруг. Настоящим же счастьем ее жизни являлся, конечно, Кап, в эмоциональном смысле легко заменяя мужа.

Капитан, действительно, был необыкновенным котом. Когда Дуся давала ему рыбьи головы, он поедал все без остатка и говорил «мрр» со странно свистящим окончанием, что звучало в точности как «м’рси». По вечерам Кап с интересом смотрел телевизор. Причем явно обнаруживал свою самостийную лояльность: бил лапой по пульту до тех пор, пока, вместо русской речи не начинала звучать мова. Собратьев Капитан презирал, в драки не ввязывался, дружил с собаками. Вообще был большой политик. Одно то, как он выбрал хозяину жену, указывает на его незаурядные дипломатические качества.

Однажды Глеб Родионов вернулся из рейса какой-то нервный и рассеянный. Капитан обнюхал хозяина и отошел в сторону. Глеб нагнулся погладить, но кот фыркнул, выгнул спину, отскочил. Когда Софа ушла на кухню за любимым мужниным гусем с капустой, старая Дуся сказала зятю:

- Мы с Капой так себе мыслим, ты кого-то завел. Послушай старуху: сиди ровно. Ничего нет и не было. Не обижай девочку.

Капитан послушался.

А спустя неделю снова ушел в рейс. Софа проводила мужа, и он, как обычно, поцеловал ее и помахал с трапа рукой в белой перчатке. Судно огласило акваторию могучим гудком, и женщина пошла себе домой, как ни в чем не бывало. И поэтому была ошарашена и даже, как говорится, не поверила своим глазам, когда через пару дней нос к носу столкнулась со своим капитаном всецело в штатском и в придачу с кудрявой дамочкой, причем та буквально висела на крепком капитанском локте.

Но и морской волк хорош. Знал ведь, старый дурак, что она здесь сидит на рабочем месте – Кирова угол Пушкинской и ходит обедать неподалеку в кафе «Олимп», славящееся своими варениками. Наивная Софа со своей знаменитой ленью, может, так и не поверила бы глазам и сказала бы себе: «Да ну, не может быть, померещилось от жары». Но беда в том, что шла она в кафе со своей подружкой и сослуживицей Флорой. И Флора, выпучив глаза, вместо того, чтобы покрепче их зажмурить, брякнула, что есть силы: «Здрасьте, Глеб Иванович!» Так что какие уж тут сомнения.

Когда капитан явился в тот же вечер как бы с повинной, его ждал собранный чемодан и бесстрастная жена с котом на руках.

- Иди, - сказала Софочка кротко, - к своей курве. Или ты хочешь привести ее сюда?

И благородный, хотя и беспечный каперанг Родионов великолепно выкатился из своей четырехкомнатной квартиры в Аркадии с видом на море. Только спросил в дверях:

- А Кап?

И Софочка, эксперт по любимцам, ответила:

- Это собаки привыкают к людям. А кошки – к месту.

Невские маскарадные, как все крупные коты – не особые долгожители. Но Капитан, окруженный морем хозяйкиной любви, дотянул аж до семнадцати лет, надолго пережив библейскую мать Дусю. Перед смертью Кап открыл помутневшие глаза и пошевелил лапой, будто делал Софочке какой-то знак. Она приблизила к нему лицо, и кот, с трудом подняв голову и тяжело дыша, ткнулся ей в ухо. И испустил дух. Софочка на миг отключилась, а потом клялась, что Капитан шепнул: «Кохаю…»

Котика кремировали в новой фирме, осуществляющей погребение животных (похороны Дуси обошлись существенно дешевле. «Любимец» к тому времени давно сдох, и Софа, в сущности, ничего не умевшая, кроме стихов про кошек, до последнего дня вязала прославленного Капитана и продавала алиментных элитных котят).

- Мы провожаем в последний путь дорогого меньшего брата, верного друга, который делил с вами все беды и радости, всегда был рядом и отдавал вам без остатка всю свою любовь. Прощай, Капитан, твоя хозяйка не забудет тебя.

Толстая дама, затянутая в черный пиджак с бейджем «менеджер по ритуалу» на груди дождалась, когда маленький гробик медленно опустился в люк, и подошла к рыдающей Софье.

- Ну-ну, Софья Марковна... Искренне соболезную, но вы ж, слава богу, не овдовели…

- Лучше бы овдовела, - всхлипнула Софа.

- Слушайте, дружочек, не надо вам сейчас оставаться одной. Пойдемте, попьем чайку.

Работники фирмы «Аркадия» понимали, с кем имеют дело. Полубезумные владельцы, чаще – владелицы кошечек и собачек, а порой и попугаев, для которых хвостатые питомцы являлись главными и единственными источниками счастья, - их было немного, и их ценили, и люди охотно платили деньги за такое исключительно хорошее и чуткое отношение. Вообще в сфере обслуживания животных работают с гораздо большей отдачей, чем с человеческой клиентурой. На первый циничный взгляд это объясняется высокой стоимостью услуг. Но не все измеряется деньгами (хотя оплачивается ими почти все). Взять ветеринара. Он, как правило, без памяти с большой долей искренности любит зверей, в противном случае, зачем ему становиться ветеринаром? Врача же его пациенты-люди часто раздражают и бесят. Положа руку на сердце, кого-нибудь когда-нибудь целовал врач? А ветеринар собачонку легко поцелует – хоть в морду, хоть куда.

- Спасибо вам, вы так хорошо говорили… Трудная у вас работа: всех понять, всех утешить… Прямо, как священник.

Менеджер по ритуалу смутилась. В настоящий момент она как раз соображала, как бы понежнее выставить клиентку на памятник великому Капитану. Но клиентка неожиданно выступила со встречным предложением.

- Я вот что подумала. Вам же приходится каждый раз напрягаться, искать слова…

- Ну что вы! Я говорю сердцем, - призналась менеджер.

- А я могла бы писать для вас прощальные тексты в стихах.

- Как это?

- Очень просто. Вы даете мне исходник, а я сочиняю вам по нему стишок. Ну вот допустим: пудель… ну Бобик. Хозяйка… Вас как зовут? Валентина, очень хорошо. Пусть Валентина.

Софа на миг призадумалась.

- Прощай, наш верный Бобик, печальней нет картины… Ты был не просто пес, кудрявый пуделек… Ты был и друг, и брат, и сын для Валентины… И преданность твоя – нам …э… памятный урок.

- Гениально! – поразилась менеджер Валентина и немедленно побежала к шефу.

С Софой оформили договор и услугу «Прощальные стихи – 50 грвн.» включили в прайс-лист. Мало кто отказывался за полтинник проститься с любимой зверюшкой в поэтической форме. Софочка зажила, можно сказать, полной жизнью, и боль от утраты Капитана притупилась.

Очень скоро директор и владелец фирмы прикинул, что при настоящем раскладе менеджер Валентина является слабым и совершенно лишним звеном, и предложил Софочке самой проводить ритуал погребения. Тем более, что тяжеловесная лысоватая Валентина совсем, так сказать, не канала рядом с кареглазой Софочкой, чье курносое личико обрамляли ангельские локоны, а чуть ниже начинались непосредственно ноги совершенно исключительной конфигурации – и такой посредник делал процедуру прощания с любимой скотинкой психологически намного возвышеннее.

Валентина потеряла хорошую зарплату, а учитывая ее пенсионный возраст, лишилась интересных перспектив. Правда, у нее был муж, сын, внуки и собака. Поэтому, когда Валентина, встречаясь с Софой на улице, отворачивалась и не желала ее замечать, та только пожимала плечами. Ведь у Софочки, как известно, никого не было – ни мужа, ни детей, а кот умер. И все вышло как бы по справедливости. И, кстати, надо бы завести какого-нибудь котика, все чаще думала Софа, с глубокой жалостью глядя на холодные тушки, которые мучали ее в печальных снах. Интересно, что мужчины вовсе не занимали ее мыслей, и о замужестве 38-летняя Софочка отнюдь не помышляла.

Однажды ранней весной, когда море было еще прозрачным, ледяным и ярко-бирюзовым на глубине, если смотреть с волнореза, Софа гуляла по пляжу. На рассохшемся топчане лежал на боку кот и играл с сухим клочком водорослей. Страшно элегантный: черный с белой манишкой и глазами, обведенными белыми «очками». Явно домашний, на что указывал блошиный ошейник. Софа огляделась, но никого не увидела. Села рядом. А кот возьми да и прыгни ей на плечо. Так на плече кот приехал к ней в дом. Софа налила ему молока, но кот с плеча не слез и к миске не подошел. Когда же поднесли еду к черненькой очкастой морде, он, не покидая насеста, довольно жадно все вылакал.

Честная Софочка развесила объявления и указала все свои реквизиты.

Кот часто уходил на весь день, но к вечеру всегда возвращался, прыгал на плечо и ел только с руки. Софа назвала его Денди, Дэн – и новичок – вот умница – откликался. Когда Софочка писала свои погребальные стишки, обычно устроившись с ногами в кресле, Дэн, сидя на плече, внимательно как бы читал строчки, иногда пытаясь поймать буквы лапкой.

Тишину одного из счастливых вечеров нарушил телефонный звонок. Телефон в Софочкиной квартире звонил редко, и сердце ее сильно забилось.

- Здравствуйте, - сказал хорошо прокуренный женский бас. – Вы давали объявление о черном коте? В белой масочке? Как он к вам попал?

Как будто это было важно.

- Я не собиралась его брать, - прошептала Софочка, - но он…

- Подождите, - усмехнулась женщина. – Я сама скажу. Он прыгнул вам на плечо? Да не плачьте же, вот ей-богу! Когда-то он так же выбрал меня. А теперь вас. Пусть остается. Всего вам хорошего. Да, его зовут Моня. Вернее, это я так его назвала.

Софочка бережно сняла Денди-Моню с плеча и зарылась лицом в белую манишку.

- Мой, мой, - шептала она и целовала чудесную маленькую голову. – Радость моя, рыба моя любимая!

Взгляд ее упал на большой портрет Капитана в том же самом кресле, и Софа, покраснев, повернула его лицом к стене. Словно жена, устыдившись фотографии мужа над кроватью, в которой она бесчинствовала с любовником.

По дороге на работу Софа встретила Валентину. Та гордо шагала под руку с мужем, очень похожим на нее: приземистым, толстым и лысым. Муж тащил большой пакет, из которого торчали рыбьи хвосты. Неожиданно Валентина притормозила:

- Ты что ль, поэтесса? Не узнала! Чего такая зеленая? Все кошаков отпеваешь? Вот, Боренька, это Софа, я тебе рассказывала.

Боренька хмуро кивнул:

- Это что выперла тебя?

- Да, херовато выглядишь. Ну всё, времени ни минуты. Веришь, Софа, вздохнуть не успеваю! Так что спасибо тебе, живу теперь, как человек!

Последним кремировали уродливого французского бульдога Бормана, Софа без выражения отбубнила корявый стишок и побежала домой, трепеща от ожидания, чтобы Дэн прыгнул на плечо, и, словно громоотвод, освободил ее от статического электричества гнилой досады, которая начала накапливаться в ней с утра, со встречи с Валентиной и ее пнем Боренькой. Но в этот вечер Денди не пришел. Не вернулся и на следующий. Софа бегала по пляжу, звала, до темноты кричала, обыскивая окрестные дворы и размазывая по лицу слезы.

Растрепанная, с опухшими глазами подходила она к дому. Старушка на лавочке, похожая на птицу с белым хохолком, сказала:

- Софочка, а я котика видела, вроде как твоего.

- Где?! – закричала бедная Софа.

- Черенький такой, с пятном на мордушке? Так мужик в фуфайке с буквочками и в кепке, что ли, шел вот туточки, по дорожке. А котик у его вот здеся сидел, - и старушка похлопала себя по ватному плечу, поднятому выше уха.

Больше Софочка Дэна не искала. А потом владелец фирмы «Аркадия» позвал ее замуж, и она не возражала. Тем более, у него было три кошки, причем две – голые, донские сфинксы, на ощупь совсем, как маленькие детки.

4.Бревис Витя «Натаха»

***Витя Бревис***

**Натаха**

-А тут у нас Звёздка живет. Проходи, Володя. Что? Наступил? Ничего, вытрешь потом об сено. Звё-ё-ёздка, хоро-о-ошая, Зве-ездочка, да ты не бойся, Володя, она у нас смирная, можешь погладить.  
Я впервые видел корову так близко. Звездка дышала, шевеля ноздрями, неуклюже перебирала ногами и шумно мочилась на дощатый пол хлева, неровно усыпанный сеном.   
Теща показала, где корову следует гладить - за лоб, между рогами.   
Лоб под шерстью был твердый, как скамейка. Звездке, наверное, нравилось, как я ее почесываю, она вдруг подняла морду, почти коснувшись своими страстными губами моего лица. Я отпрянул.   
-Да не кусит она, что ты, на, дай вот ей кусок, -теща протянула мне четвертуху черного хлеба. Корова от хлеба не отказалась.   
-А это наш Борька, видишь? Сейчас мы его погулять выпустим.  
Борька, подвижный хрячок с волосиками на розовой спине, выбежал из загона, топоча маленькими копытцами.   
-Ну, давай, Володя, мне доить надо. Звездка волноваться будет, при чужих, иди.   
Я вышел из жаркого хлева на двор. Слепило солнце.  
   
За забором стояла женщина средних лет. Она оглядывала меня с любопытством.   
-Это ты, что ли, Володя? Сегодня приехали? -как и все тут, она сильно припадала на "о".  
-Да.  
-На ленинградском?  
-Ага.  
-Андреевна-то где? В хлеву?   
- Доит.   
-Ну я подожду. Мне у ней надо толю одолжить, крыша течет. Маленькую-от с собой привезли?   
Женщина перегнулась через калитку, и, открыв изнутри щеколду, смело вошла на двор. На ней было грязноватое платье, резиновые сапоги с разрезом на голени и косынка, сбившаяся на затылок.   
Была она не совсем трезва, лицо усталое, но глаза светились приветливым огоньком любопытства.   
-Вера-от дома? Пойду гляну.  
Женщина поднялась на крыльцо, стянула с себя сапоги, поставила их аккуратно, распахнула дверь в избу, откинула занавеску и устремилась внутрь.   
Теперь вся деревня на нас будет ходить смотреть. -подумал я и направился за ней.   
-Вера!! Поцелуй тетку-от! Ну, показывай малую, показывай, чай не сглажу.  
Моя Верка стояла в коридоре, полуторогодовалая Светочка жалась к маминой ноге.   
-Натаха! Привет. Опять веселая. И когда ты остепенишься. Вовик, вот познакомься, это моя тетя, мамина сестра.   
-Наташа, очень приятно.   
Натаха вытерла руку об платье и протянула мне.   
-Ну а ты ктё?  -она нагнулась к Светочке,  -а тебя-от как зовуть, у ти как на папу похозя, а бабка тебе кафетку принесла, а ну-ка посмотри-ка, что у бабки есть!  
Натаха вытащила из кармана платья чупачупс и стала размахивать им перед Светочкой.   
-Любишь чупачупсики?   
Она проворно подхватила девочку на руки. Светочка испуганно оглядывалась на нас, не упуская, однако, чупачупс боковым зрением.   
-А ти узе гаварись? Скази - мама.   
-Мама, сказала Светочка.  
-У ти моя славная! А как тебя зовут?  
-Сета.  
-А где папа? Вооот, где папа. А мама где? Ах вооот где мама. Скажи - \*\*\*\*и. \*\*\*\*и! Ну, скажи.  
-Бади.   
Натаха была ужасно довольна результатом. Правильно, бади они все! Бади!   
-Натаха, ну чему ты ребенка учишь. Зачем.  
-Пусть знат с детства. Мой вон матюкаатся с рождения. Бади! Скажи бади!  
  
Из спальни вышел заспанный тесть, Василий Викторыч. Живот его не помещался под рубахой и торчал снизу.  
-От пузо отъел. Все бы жрать.   
Тесть заулыбался.   
-Мне тут дочка колбасы палку привезла. Это вы голодранцы на репке сидите.  
-Дак ты небось всю палку-от за завтраком и умял.   
-Дык. Че там мять-от. Супруга помогла тож. Ой, Натах, а ты че, уже дернула где. На ферме, что ли, налили?  
-А хули мне ферма. Я и дома могу, сама. По внутренней потребности. Вась, дай толю рулон, а то у мене кухню заливат.   
-Толю? -Тесть вздохнул. -Ну, дам, тока класть пусть Колька сам кладет, здоровый бычок ужо.   
  
Нести рулон рубероида пришлось мне. Натахин дом было рядом. Вера со Светочкой тоже побрели с нами, прогуляться и посмотреть, как живет тетя Натаса.  
Домик был неказист. Хлева не было, огород в сорняках.  
-Коля! Встречай гостей! Сбегай к Полине за белой, скажи, мама с получки отдаст.   
Колька был парнем лет двадцати. Похож на мать, только глаза не такие живые. Он сидел на диване в линялой футболке с ребенком на руках.   
-Тихо ты блин, ма! Лешка спит.   
Натаха осторожно забрала внука себе на руки, лицо ее осветилось умилением.   
-А посмотрите-ка на нас! От мы какие. Наша порода, сидоровская. Вер, подержи малого, я хоть со стола смету. Коль, давай, одна здесь - друга там, и набери ченить с огороду, я щас салатик  
порежу. Да, Светик, да? И водочки попьем с твоим папой, да?  
-Бади, -сказала Светочка.   
  
-А мать то где Лешкина? -спросила Вера, когда Колька убежал за водкой.  
-Та в Вологду уехала. Кукушка. Две недели ни слуху ни духу, и даже не звонит спросить, как дитё-от. Я уж не знаю, вернется нет. Мне тут врали, что у нее, оказыцца, еще где-то ребенк есть, уже 5 лет будто бы, тоже подкинула а сама не воспитыват. Не знаю, верить нет. Ой. Ну, не вернется, так подымем с Колькой сорванца, хули.   
Я присел на диван. Лешка сопел у меня на руках, моя Светочка сидела рядом и с интересом оглядывалась вокруг. Обои на стенах ободрались, мебели было совсем мало, в углу на старом комоде стоял телевизор.   
Вера помогала Натахе собирать на стол.  
  
Вернулся Колька. Разлили. Лешка проснулся и заплакал. Ему сунули в мокрые губы печенье.   
Натаха рассказала о своей работе:  
я щас на ферме, хочешь, Вовка, на ферму тебя разок возьму? Посмотришь на крестьянский труд.   
-Да че ему там делать, городскому, -вступилась Вера. -Чтоб все бабы его потом обсуждали, что с Натахой на ферму ездит. Отстань.  
-И часто надо ездить доить? -поинтересовался я.  
-Дак нечасто, 2 раза в день, но ферм-от три. Так что ездим каждые четыре часа, хоть день хоть ночь. И не поспишь нормально.   
-Тяжело. Коль, а ты? Работа есть в колхозе?  
-Дак я в котельной. Нормальная работа.   
-Вов, у него и мотоцикл есть! Ты думаш, мы тут совсем, как бомжи? Я вижу, как ты смотришь. А вот не бомжи, и телевизор есть, и транспорт. Коль, вот покажи ему мотоцикл-от.  
-Да куда вы пойдете кататься, пьяные же! -запричитала Вера.  
  
Мотоцикл, не сразу, но завелся. Колька с гордостью уселся на мягкое сиденье и указал мне рукой на место за своей спиной.   
Мы широко виляли, объезжая ухабы, и сыпали камешками по сторонам.  
-Это клуб, вишь, слева, -крикнул Колька, завернув ко мне голову.  
-Бетонный? На крематорий похож, -ответил я ему в самое ухо.  
-Сам ты крематорий. Там бильярд есть, мы на нем девок е\*али прошлое воскресенье. Хочешь?  
-Нет, я, пожалуй, пока не готов.  
-Ну ты готовься, время есть еще, вы ж тут все лето пробудете?  
-Коль, тут же деревня, сразу доложат, все про всех всё знают.  
-Дак ясно, что закладывают, а все одно трахаются по кустам. Вчера вон, агрономша с механиком гуляли на сеновале, курили, и дом сожгли, пьяные. Деревня, хули.   
Вот это, видишь, сельпо, а тут, вон, центральная усадьба, там теща твоя работает.

Мотоцикл сильно тряхнуло. Пару раз Кольку приветствовали с дороги знакомые мужики, похожие на опытных рецидивистов.   
-Коллеги, с котельной, -объяснил Колька.  
-Коль, а баба твоя где? -прокричал я ему в ухо.   
-Приедет Танька скоро, приедет, сука.   
  
Когда мы вернулись, Веры со Светочкой уже не было. Натаха порядочно опьянела. На столе стояла еще одна бутылка. Мы включили телевизор. Маленький Лешка бегал по комнате за котом.  
Есть было, в общем, нечего и алкоголь втекал в мозги неразбавленным. Особенно в натахины. Качаясь, она пошла укладывать Лешку спать.   
Пришел тесть, это Вера послала его за мной. Думаю, он вызвался сам. Тесть сел к нам, Коля налил ему в граненый стакан.   
-Ма, ты идешь? Тут Василь Викторыч пришел.   
-Вася! Ну ты-от прямо за версту чуешь, -закричала Натаха из другой комнаты. Я щас, пейте пока без меня, мы тут какаам.   
Минут через пять Натаха вышла к нам, покачиваясь, с горшком в руках. Она с размаху грохнула горшком о стол, чуть не попав по своей рюмке.   
Небольшие детские какашки подпрыгнули в горшке от удара.  
-А вот вам угощеньице! От всей души!   
-Ма, ну опять ты пирфомансы строишь. Очень весело.   
Коля пошел выносить горшок.  
-Натаха у нас такаа. Театр, -заулыбался тесть.  
Натаха налила себе пропущенную порцию водки. После этого она вышла на середину комнаты, стянула с себя платок и стала петь, размахивая платком по сторонам и пританцовывая.  
  
Эх, еп я тебя,   
в нетопленой бане.  
Твоя рыжая п\*\*\*а   
шлепала губами.   
О-о-ох!  
  
Мы недружно захлопали и налили еще. Натаха пела и прыгала, глаза ее горели, капли пота показались на лбу.  
  
На дворе стоит березка,   
тонкая и гнутая.  
По твоим глазам я вижу,   
что ты е\*\*нутая.  
О-о-ох!  
  
-Ма, хватит орать, Лешку разбудишь. Тебе ж на дойку скоро. Дай телик посмотреть.  
-А я не поеду! Мироновой скажу, пусть за меня съездиит, она мне одну смену должна.   
Проворно, как антилопа, Натаха выскочила из избы.   
-Мироновааа! -был слышен ее крик с улицы.   
По телевизору передавали известия, мы пили и слушали молча. Из коридора раздалось:  
  
Ты не стукай и не брякай,   
все равно ведь не пушшу.  
Занавешены окошки,  
мандавошек я ишшу.  
  
-Ма, харэ петь, а. Дай погоду досмотреть.  
-Че вперились-от? В яшшик этот!! Че там-от не видели? В кино, что ли, пришли? Я вам щас покажу известия, щас покажу.  
Хлопнула дверь.   
-Куда она собралась? -спросил я Кольку.  
-А х\*р ее знат. Опять пирфоманс задумала.   
  
Стали передавать что-то про Германию. Мы слушали одним ухом, а другим - боялись пропустить натахин театр.   
-О! Смотрите, Кельн показывают, -встрепенулся я.  
-А ты че, был?  
-Ну. Я там учился два года. Вот, видите - кельнский собор, его строили восемьсот лет.   
-А этот, парижской матери, он выше?   
-Хм. На вид - ниже.   
-Ты и в Париже был?   
-Так там недалеко. Часа три на скором поезде.  
-Вовк, а скажи, какие они, немцы? Сильно лучше нас?  
-Хм. Другие они. Совсем. В чем-то явно лучше. А в чем-то... Мне с ними скучновато, они, знаете, заорганизованные такие, все по плану. Вот в три у него свидание, в пять он помогает другу переезжать, в восемь уходит играть с одноклассником в теннис, хотя не все вещи у того друга еще выгружены. Расписание бля. Рационалы. А в остальном они нормальные ребята, помогать любят, еда у них на нашу похожа: драники, кислая капуста. Могут и на жизнь пожаловаться, все тайны тебе рассказать, но блин - по трезвому, никогда не забывая о деле. Между теннисом и рестораном.   
-И выпить нормально не с кем?  
-Не, есть там и алкоголики свои, да и вообще есть такие, что больше на русских похожи, чем мы с вами. Я ж говорю про общую массу. Общей массе не хватает, легкости, что ли, или, может, внутренней свободы.   
  
Звук послышался с крыши. Что-то скребло. Испуганные, мы выскочили из дома. Оранжевое солнце уже задремывало над полями, свистели цикады, Натаха пилила антенну на крыше, пила ее гнулась и сверкала в руках.   
-Ма, ну еб тву мать. Слезай, а.   
-Я вам ссуки покажу! Будут вам последние известия.  
Из соседних домов выходили смеющиеся люди.   
  
К ночи нас с тестем забрала домой Верка. Тесть сразу спать не лег, в баньке у него была припасена брага. Вернулся оттуда он практически на карачках, лег на пол у туалета и уснул, помочившись под себя.   
-Теперь папка пару дней не сможет остановиться, -вздохнула Вера.  
Наутро я уехал в Питер, надо было работать.   
  
Когда я приехал снова, почти через месяц, лето было уже в самом разгаре, пора было косить. Вернее, стожить, косил тесть на тракторе, косилкой. Натаха и еще пара соседских женщин помогали нам. Теща забралась на самый верх огромного стога и укладывала сено, которое мы подавали ей вилами, в специальном порядке, чтобы стог за зиму не развалился.   
Пот тек градом, кусали комары, сено кололо в штанах. Теща садилась иногда на стог передохнуть, болело сердце. Я понял, что следующим летом я сюда в это время не поеду.   
-На хрена им столько сена? -шипела Натаха. -Три раза в день мясо жрут. Косят и жрут, косят и жрут, всю жизнь, так и сгинут тут за жратву свою.   
Усталые, мы шли вечером домой вдоль железнодорожной полосы.   
С зубцов вил, торчащих над нашими плечами, стекало тяжелое солнце.   
Вошли в деревню. Натаха побежала к себе.  
Дома теща решила соорудить салат, я был послан в парник за овощами.   
Парник стоял открытыми и благоухал, я набирал овощи в огромную ржавую кастрюлю, ветки с огурцами были усеяны маленькими мерзкими шипиками.   
  
Кто-то громко зарыдал на улице.  
У забора показалась Натаха, она несла в руках внука и выла.   
Кольку нашли в котельной мертвого. Его убили, видимо, за игрой в карты.   
  
В котельной у трупа курили участковый и фельдшер. Ждали машину из района, чтобы увезти в морг.   
Натаха кричала, что не даст увезти, что похоронит так.   
Нельзя, надо отправлять тело на экспертизу.   
  
Кладбище у них в соседней деревне.    
Гроб везли на грузовике, женщины сидели в кузове в черных косынках и хватались за борта на ухабах.   
Натаха, трезвая, крепко держала Лешку в руках и молчала, сжав губы.   
-Наташа, а эта, мать-то, не объявилась?   
-Передала, что не приедет. Нет времени. Ну и х\*\* с ней, на фиг така мать. Родительских лишу, оформлю опекунство. Воспитаю. Я не старая еще.   
Натаха смотрела мне прямо в глаза, не моргая.   
Я отвел взгляд.   
-Наташа, ты, если чего надо - обращайся. Поможем.   
  
Следующим летом я смог приехать только в конце июля. Знал, что придется помогать косить, но по-другому не получилось.   
Я ввалился в тещин дом с чемоданом, Светочка радостно подбежала ко мне, Лешка отвлекся от игрушек и уставился на меня детскими всепонимающими глазами.   
С детьми сидела Вера, остальные косили.   
Они вернулись к вечеру, теща, тесть и Натаха. Мы расцеловались.  
-Ну что, Вовка, бутылку-от привез? -Натаха взяла на руки Лешку.   
Она постарела, впереди выпал один зуб, но глаза светились, как и раньше.  
-Привез, куда ж без бутылки. И колбасу.   
Теща устало вытащила из серванта хрустальные рюмки. Вера принесла из подпола банку огурцов.   
Мой приезд был поводом, им нечего было возразить.   
Нарезали колбасу, включили телевизор, разлили водку.   
Дети таскали кошку за хвост.   
-Кольку помянем? Ведь год прошел почти, -я не решался смотреть Натахе в глаза.  
-На прошлой неделе год был. На кладбище хочешь сходить?  
-Хочу.   
Начались последние известия.   
После третьей рюмки Натаха вдруг встрепенулась, сняла с плеч платок, выбежала на середину комнаты и запела.  
  
Перееп я всю родню!  
Оставил бабушку одну.  
Оставайся, хрен с тобой,  
Ты же нянчилась со мной.  
Охх!  
  
Лешка засмеялся вместе со всеми.   
-Мама, сказал он и попросился Натахе на руки.

5.Володарский Александр ( «Мурик-Марик»)

***Александр ВОЛОДАРСКИЙ***

**МУРИК-МАРИК**

*(Из серии ЖЗЛ --«Жизнеописания занимательных личностей»)*

Средь нас был юный барабанщик,  
В атаках он шел впереди,  
С веселым другом барабаном,  
С огнем большевистским в груди.

*Михаил Светлов «Маленький барабанщик»*

- Этому барабану больше ста лет. Он называется джембе. Послушай…

Мурик начинает выстукивать какую-то африканскую мелодию. Я слушаю, он мечтательно улыбается, и мне заметно, что несколько зубов ему неплохо бы вставить… Мы не виделись лет сорок. И, хотя Мурик старше меня, у него мало седины, едва видна лысина, так же сияют умные карие глаза, и только морщины, обильно разбросанные по лицу, выдают давно пенсионный возраст. Да еще огромные с детства уши как-то скукожились и обвисли. Мне рассказывала моя мама, что уникально лопоухие органы слуха маленькому Мурику привязывали к голове на ночь полотенцем, но поутру они распрямлялись еще шире, и на это плюнули. Похоже, герой моего рассказа некогда вдохновил автора на создание образа Чебурашки, но это всего лишь красивая гипотеза, да и не только в этом состояла его уникальность...

Долгожданного Мурика, своего единственного ребенка, в семье долго ждали папа и мама, а потом – великие дела. И Мурик мог стать героем моего романа, если бы у меня хватало терпения романы писать.

Реально его звали Марик, но дедушка и бабушка называли по-своему ласково – Мурик. Говорить Мурик-Марик начал в девять месяцев, сразу произнеся целую фразу: «Эдик – падлюка, нэ стилькы заробляе, скильки жэрэ»! Одаренный мальчик точно воспроизвел характеристику, данную соседкой Галей своему незабвенному зятю Эдику. Причем произнес в тот момент, когда занять десятку до получки зашел сам Эдик.

- Гениальный пацан! – сказал Эдик и побежал искать свою тещу.

С детства Мурика оберегали, как редкий артефакт. Бабушка Роза - врач-гигиенист даже бросила работу, безраздельно посвятив себя чаду. Все овощи, фрукты и прочие продукты перед употреблением в пищу обдавались кипятком с целью тотального уничтожения микробов, комната регулярно кварцевалась кварцевой лампой, а детский горшок… На горшке, пожалуй, остановимся.

Где, по-вашему, должен стоять горшок маленького мальчика, чтобы на него, не дай бог, не села муха или другой бациллоносец? Бабушка держала горшок Мурика в специально сшитом мешочке на центральной полке холодильника. Перед употреблением горшок доставали и тоже орошали кипятком, чтобы согреть и заодно добить микроорганизмы, которые чудом выжили. Поэтому о своем желании писать или какать, Мурик должен был предупреждать минут за пять до события, что получалось у мальчика не всегда. С тех пор, я полагаю, ему не нравилось заранее планировать свои поступки. Еще заслуживает описания, как бабушка с целью определить степень готовности, пробовала манную кашу, которую варила. Из персональной кастрюльки Мурика она набирала немного каши в персональную серебряную ложечку Мурика, затем подбрасывала дымящееся содержимое этой ложки вверх и ловила ртом. Практически, цирковой трюк, и хотя бабушка Роза иногда промахивалась и обжигала губы, зато ложечка и каша сохраняли девственную стерильность.

Благодаря такой неустанной заботе о его здоровье, Мурик успешно переболел всеми известными в мире детскими болезнями, так как иммунитет его изрядно ослаб. И, тем не менее, близких он радовал поведением, успеваемостью и после окончания школы с золотой медалью легко поступил в университет города Воронежа, куда в застойные годы без проблем принимали способных мальчиков иудейского происхождения. Никто тогда и подумать не мог, что рельсы, по которым мчался поезд Мурикиной жизни, уже начало заносить.

– Надо ехать! – сказали родители Мурика – тетя Люся и дядя Сема. Причем сказали еще в те годы, когда никого из страны не выпускали, и этот знаменитый впоследствии лозунг не был таким актуальным. Раз в неделю они по очереди садились в скорый «Киев-Воронеж» и везли сыну еду, чистую одежду и деньги, а обратно забирали «грязное», включая трусы из набора «Неделька». Это был дефицитный комплект из семи импортных «коттоновых» трусов, на каждом из которых, чтобы не перепутать, выше гульфика английскими буквами был вышит день недели. Ценное белье подарила дедушке Иосифу, профессору-гинекологу благодарная пациентка, а дед передарил их внучку-студенту.

Кто проморгал - не знаю, но однажды у Мурика пропали трусы за вторник. По преступной халатности никто не спросил юношу прямо:

- Мурик! А где же твои трусы за вторник?

В результате после первого курса он вернулся домой в Киев не один. Ее звали Валя. Она была худенькая и маленькая - от рождения, зато беременная - от Мурика.

- Мурик, а кто - Валечкин папа? – робко поинтересовалась бабушка Роза.

- Поп! – ответил внучек. - У него приход в деревне под Воронежем.

- Значит, Валя – поповна? – это были последние слова бабушки Розы. В то лето. Правда, к осени речь у нее после инсульта частично восстановилась.

А уже с сентября родители Мурика ездить в Воронеж прекратили, потому что университет он бросил. Физика перестала манить Мурика, и он помчался к следующей остановке. Валя-поповна, воспитанная в домостроевском смирении, покорно внимала мужу, который увлекся игрой на барабане и еврейским диссидентством. Отмечу - все, за что брался Мурик, он делал истово и талантливо. Поэтому вскоре он стал своим среди киевских ресторанных лабухов и советских диссидентов. Все родственники сочувствовали Златопольским.

- Слыхали, Люсин Мурик бросил вуз и играет в ресторане на барабане! Ужас…

Я, послушный мальчик, слышал эти речи и тайно считал Мурика, сумевшего бросить вызов общественному мнению, своим кумиром. Мне такое было не дано. С молоком мамы я впитал мысль, что нельзя огорчать папу…Однажды Мурик принес в дом записи Галича и бобинный магнитофон «Днепр».

- Мурик, - задрожал от страха папа Сема, - не надо! Выброси эту бобину, сейчас же!

- Ага, выбрось, пожалуйста! Вместе с магнитофоном, - заплакала мама Люся.

И тут снова оказалось, что Мурику не занимать мужества. Магнитофон он оставил, а также стал ездить в Москву, привозить оттуда запрещенную литературу и даже, говорят, встречался с самим академиком Сахаровым. Его вызывали в КГБ, предупреждали, сажали на пятнадцать суток, а он и дальше боролся с режимом. Как-то раз поздним вечером, когда он нес к друзьям на день рождения «Киевский» торт, в подворотне к нему подошла прилично одетая молодая женщина.

- Простите, ваша фамилия Златопольский?

- Да! – ответил Мурик.

- Вы-то мне и нужны!

С этими словами она вырвала у Мурика торт, бросилась на землю, подмяв коробку под себя, и стала вопить:

-Помогите! Насилуют!

Не успел мой герой опомниться, как с заломленными руками оказался в милицейском бобике, где на него надели наручники.

- Надоел ты нам, парень! – устало сказал ему седой человек в штатском. – Вали-ка ты в свой Израиль. Даем тебе две недели. Не уедешь – посадим лет на семь за изнасилование.

И Мурик уехал. Оставив Валентину с сыном дома на попечение родителей и бабушки Розы. Дедушка Иосиф еще успел принять у поповны роды, однако покинул этот мир до отъезда Мурика…

На Земле обетованной в самом начале семидесятых его встречали, как героя. Телевидение, цветы, а затем последовало приглашение в МИД.

- Вы должны помочь вашей новой, но бедной Родине. Вы поедете в США, где вас знают, как борца за права угнетенных евреев, и постараетесь убедить конгрессменов выделять Израилю больше денег.

В Америку он поехал вдвоем с Борей Гутманом – таким же молодым диссидентом из Риги. В США тоже были встречи, телевидение и приглашение в Конгресс к знаменитому сенатору Джексону, который долгие годы успешно «троллил» СССР в дуэте с сенатором Вэником. Джексон предложил пламенному Мурику и гораздо более спокойному Борису работать с ним, продолжая разоблачать империю зла – Советский Союз, причем – за неплохие деньги. Открывались заманчивые перспективы…

- Ноу, - сказал ему Мурик. – Моя страна теперь Израиль, и я буду бороться за то, чтобы там счастливо жили все люди.

- А что они там живут не так счастливо? – удивился сенатор.

- Да. У них там тоже социализм, и мне это не нравится, - сказал Мурик.

Честный Мурик к тому времени успел разочароваться в израильской бюрократии и вместо СССР решил критиковать Израиль. В итоге его вызвали в посольство Израиля и предложили заткнуться, а то американцы бабок не дадут. Затем Мурика по-тихому отозвали из Штатов, он вернулся в Иерусалим, и нашел новую тему. А Боря Гутман остался в Америке, и впоследствии даже стал сенатором от штата Массачусетс по имени Боб Гудмэн...

Ее звали Серена или Венус, точно не знаю, но она была такая же чернокожая, как знаменитые сестры-теннисистки Уильямс, чьи имена я вспомнил. Девушке, нелегально прибывшей на Ближний Восток, грозила депортация, и Мурик с жаром Нельсона Манделы бросился на борьбу с апартеидом и расовой сегрегацией. Правда, не уверен, что Мандела пошел бы на такой подвиг, а вот Мурик-Марик, чтобы прав у африканки было больше, на Серене-Венус женился. Уже потом выяснилось, что она – мать двоих очаровательных деток, но это - потом.

Выиграв все суды, он заставил израильские власти предоставить девушке гражданство, социальный пакет и даже возместить моральный ущерб. И тут любимая вспомнила о брате, который остался в далекой Кении. О, нет, она не собиралась сажать брата на шею Мурику! Узнав об увлечении Мурика игрой на барабанах, она воскликнула:

- Вау!

Кстати, вы знаете, откуда пошло это словечко «вау»? Один филолог из Хайфы догадался. Это сокращенное до неузнаваемости: «Азохэн вэй!»

- Что вау? – спросил Мурик.

- Мой брат Икечукву – тоже великий барабанщик! – сказала чернокожая красавица.

И Мурик решил стать импресарио. Он зарядил гастроли африканского ансамбля барабанщиков «Бабабу» в десяти городах от Тель-Авива до Эйлата. Турне музыкантов, которым Мурик оплатил дорогу и гонорары, прошло с редким успехом. В каждом городе в зале было не более десяти человек. Что делать, ну не так много оказалось среди евреев ценителей игры на там-тамах… В итоге Мурик стал банкротом, и его бы посадили, если бы не папа и мама, которые к тому времени репатриировались и пахали в Израиле, оставив свою киевскую квартиру поповне с ребенком.

«Не мое это…», - подумал Мурик и вышел на следующей остановке: Африка! Один из музыкантов оказался из племени кикуйю или масаи и предложил ему посетить Родину. Короче, вместо того, чтобы посетить тюрьму, Мурик решил посетить Кению. И тут случилось неожиданное. Вождь племени, у которого было своих детей штук сто пятьдесят, полюбил Мурика, как сына.

По вечерам Мурик брал барабан, стучал и пел песни советских композиторов. Особенно полюбились вождю Нкомо: «Марш красных кавалеристов» братьев Покрасс, «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского, и вы не поверите - «Семь сорок»! Если не знать, что вождь никогда не выезжал из Африки, можно было подумать, что он – наш человек! Как Сальери некогда был придворным композитором архиепископа Зальцбургского, так Мурик стал придворным музыкантом вождя племени. Он с успехом прошел обряд инициации: заколол быка, выбрил затылок и построил себе хижину из кизяка, обмазанного глиной, в престижном районе – рядом с хижиной шамана. Высокое положение в племени обеспечивало Мурику безбедную жизнь, но мятущаяся душа не давала ему покоя.

- Останься! – умолял его вождь, когда минули полгода, - и ты станешь вождем после меня.

- Но как это возможно? – недоумевал Мурик, - у вас же полно наследников!

- Это мои проблемы! Народ примет любой мой выбор. А если какой-то урод будет против – пойдет на корм шакалам!..

Африканские вожди, они так похожи на наших… Мы сидели в иерусалимской квартире Мурика. Он говорил, а я слушал. За долгие годы жизни в Израиле Мурик сменил много профессий: ресторатор, дальнобойщик, охранник, массажист и даже раввин прогрессивного иудаизма. Сейчас Мурик освоил новую профессию – краснодеревщик. Освоил досконально, став одним из лучших в своем деле. Целую комнату его жилища занимает уникальная коллекция африканских ударных инструментов. Одних там-тамов – больше десятка. А также есть дунумба, самгбан, кенкени. У Мурика новая, уже пятая по счету жена – марокканка. Однако Мурик в семье, и это понятно сразу – не вождь племени. Он состарился – на барабанах пыль. К тому же, у него неприятности. Случайно с другом, отмечая Первое мая, пропили столик красного дерева, который ему отдали на реставрацию. Грозит суд, если не вернет хозяйке столик или деньги.

- Знаешь, - говорит Мурик, - где мне было лучше всего?

Я ловлю его взгляд, брошенный на коллекцию, и догадываюсь...

- Каждый человек хоть раз в жизни оказывается в нужное время в нужном месте. Но жизнь – не метро, остановки никто не объявляет… Там, в Кении - были самые счастливые полгода моей жизни. Но я проехал свою остановку…

- Не ты один. Многие проехали, но живут все равно счастливо, - я пытаюсь утешить Мурика.

Но он не слышит меня, он весь там, во глубине тропических африканских лесов … Мурик Златопольский - несостоявшийся вождь племени кикуйю или масаи… Но иногда, временами - юный в душе барабанщик.

6.Гедеонов Алексей ( «Середина снега», «Лаана»)

***Алексей Гедеонов***

**СЕРЕДИНА СНЕГА**

- Снова бьет перину... - донеслось из коридора. - Злая теперь Перинбаба, ну где вы видели снег на Вербную? Когда такое было...

- Да-да, - отозвался второй голос, дребезжащий. - Конец света...

- С какой стати? Обидели люди одну из дочек ее, вот хозяйка и серчает, не дает весне дороги. И вот помяните мое слово - сначала снег перед Пасхой, потом недород, голод, разбой, налоги. А там война опять…

- А все за грехи наши.

- Раньше хоть заклятья помогали…

Голоса стихли, ушли тетки на рынок, повязали платки потеплее - на голову, да и на грудь - крест-накрест.

Постоялец спустился по лестнице в кухню, протянул солдатскую флягу-манерку и попросил у хозяйки кипятка. Старуха осторожно налила из черпака, не уронила ни капли, хоть лицо и заволокло паром.

- Ну что, сестра ваша как? Не лучше ей? - спросила она.

Постоялец отмахнулся, побрел было наверх, но, держась за перила, обернулся.

- Бредит. Зорку Венеру кличет, чтоб пришла-спустилась. Просит. Не знаете, с таким прозвищем нет кого в округе?

- Не слыхала. Может, лучше панотца? Я пошлю хлопчика, бабы говорили - пробош третьего дня вернулся. И пономарь наш жив оказался, рожа постная... колокол на место подвесили. По всему - на долгий мир повернуло.

- Не надо пробоша. Рановато. Подождем, пожалуй. Вдруг оправится. Да и не сестра мне она. Так... баба.

Старуха навострилась вся, поправила чепец, отерла руки о фартук:

- Блудите, значит?

- Живем...

Звали его Карел. Он был войне ровесником - второй десяток домотал. С малолетства Карел был зачислен рядовым аркебузиров. В Аграмский полк.

Война шла повсюду, с нею Карел шел везде. Утаптывал миля за милей: глину, снег, уголья, гати, мосты, улицы. Стрелял. Окопы рыл. Спал. Ел кашу. Снова стрелял. Лаялся матерно в лазарете. Ногу отнять не дал. Выжил. Снова шел. Снова стрелял.

Война радовалась. Черным смехом хохотала.

Да тут рука вельможная обмакнула перо в чернильницу, вывела на гербовой два слова: «Великое замирение». И перстень к сургучу приложила - будто кровь запечатала.

Умолкли пушки, солдатики домой устремились. Вернулись беженцы в дома. Колокола запели. Заполнились церкви, рынки и кабаки. Люди молились, радовались люди - говорили все одно и то же: «Довольно войны! Долой! Хватит, хватит, хватит...»

Карел плечами пожал, сдал в арсенал оружие, получил от фельдфебеля благодарность и плату. Денег пшик, и на похороны не хватит. Да и возвращаться некуда.

Пошел Карел домой - куда ноги несут. Дом ему виделся светлым, праздничным - будто Чистый четверг весь год, а еще ясным дом был. Ну там, ясная лошадь. Ясная скотинка. Ясный сад-огород. И хозяин сам-друг Карел, ясен перец, ясный пан. Ясное дело.

Дома он первым делом крепко-накрепко запрет дверь и разведет в печи огонь. Гори-гори ясно!..

Бабу бы вот только.

По пути к дому ясному Карелу повстречалась Леденка. Она сидела на обочине, в снегу, глаза синие таращила и всем говорила, что неживая. Держала в подоле горбушки плесневые и орехи червивые. Вся плоская, тощая и бледная. Голова обрита наголо. Леденка давала себя мужчинам, потому что таким - неживым не стыдно. В оплату брала хлеб, и давали чаще горбушки, причем черствые. Сразу ясно - дура-дурой. Карел так и понял. То, что надо. Крепко взял ее за руку, велел никому впредь лишнего не давать и повел за собой. Девка была холодная-прехолодная, и впрямь как неживая.

В дороге найде и имя придумал - по времени года, потому как месяц был соответствующий: тонкий, холодный светлый - который в небе, а тот, что на земле, - ледень, по-городскому - январь.

Солдат и девка спали в обнимку у цыганских костров, меняли пожитки на едово. Ушла пряжка. Перевязь. Серьга. Табакерка. Карел был большой и сильный, как вол, но ел мало. Отдавал Леденке. Та была маленькая, что мышь, и вся прозрачная прямо. Ела как не в себя, все подряд - иногда землю. Потом несло ее страшно. Тощала. Шаталась. По дороге, бывало, Карел нес ее на плече, иногда на руках, тетешкал, что дите. Дурочка радовалась, пела, говорила быстро.

Из ее лепета Карел узнал, что она, дескать, сверху сошла, спустилась, из любопытства, да мародеры ее пустили под хор, с тех пор она уверилась, что неживая, потому как не боится, а живые боятся, а она перестала или же не начинала страшиться вовсе, не помнит... На привалах Карел лепил из снега хижину: белую, ясную, чистую как четверг. Гляди, говорил: вот такой будет дом. Это вход, это окно, а вот крыша, на крыше труба. Над крышей - Звезда Венера, дома устраивающая, путь дающая - да только незримая она.

Стража на заставах окликала: «Куда идете?» Отвечали: «Домой».

Так, на исходе зимы, по пути и заболела Леденка. Кашляла-кашляла, потом - жар и хрипы.

Карел донес ее до города на руках. Копоть, гарь. Ворота вдребезги. Внутри тоже многое неладно. Повсюду беженцы таборами. Возятся, кричат визгливо, рухлядь тормошат, скарб собирают. На рынке цены адовы - пекучие, однако в наличии уксус, селедка, белая мука, битая птица, ну и репа, как без нее.

Распорол Карел подкладку мундира, вынул талеры заветные. Хватило на комнату в трактире. Купил мяты, заварил - чтобы травяным паром хворая дышала. Купил муки, делал болтушку, кормил из платка. И барсучьего жира с горчичным порошком купил - чтобы грудь ей растирать. Болячку, значит, выгнать.

Девка лежала на спине, хватала губами палец, язык у нее был обметанный, белый. Обмочилась. Карел подмыл ее из манерки остывшей водой, сменил простыню. Открыл окно. По площади бродила ничья хромая лошадь. Над разоренными бастионами летали птицы. Черная, что вдова, от копоти ратуша тянула тонкую башню с флюгером к небу. Уже навели леса на погорелицу - отмоют да побелят. Была вдова - станет невеста. Обустраивались мещане.

Леденка открыла глаза - синие, что цветочек-незабудка:

- Принеси мне зорку.

И так каждый день - тихо, жалобно, неуемно, - душу тянет, жилы мотает. Карел кулаком по стене бухнул.

- Какую тебе зорку, дура?!

- Ясную, - ответила Леденка и прозрачным пальцем показала: - Венеру.

Карел глянул в окно, дрогнул.

Солнце залило кровавым золотом полнеба, и купалась в закатном огне флюгер-звезда на черной башне ратушной. Сияла нестерпимо, захватив свет вечерний, - растопырила кривые лучи над черепицей багряной, словно расцвела, с Солнцем прощаясь. Указывал вдаль хвост кривой, ибо непростая зорка над ратушей крутилась, но звезда косматая - комета.

- Сильна ты, девка, бредить... - сказал Карел.

А Леденка сном забылась. Карел тронул ей лоб. Сухо. Горячо. Скверно.

Он спустился в зал, где обедали бродяги мирные - плотники да каменщики. Подсел к столу. Спросил пива. Слушал болтовню. Цыганы детей скрадывают, коней уводят. Жиды колодцы травят, армяны матерьял крадут - бить все вражье семя пора. Хлеб и табак дорожают. Месяц кровавый взошел что серп, и ведьма голая выше леса каталась, огненного колеса едва касаясь. Мертвецы с лярвами на перекрестках плясали. Ужи да ежи в дома лезут. В зиму, говорят, мухва проснулась. Снег вот, бесконечный. Скажи, солдат, как жить?

Карел кивал в ответ, думал о своем.

- Почем инструмент одолжишь? - спросил.

Молодой артельный свистун осекся, глянул мутно, затем заломил цену. Карел крякнул.

- А в обмен?

Парень помялся, ткнул Карела в мундирную куртку - пуговицы. Хорошие, медные, восемь штук. Карел вынул нож из сапога, срезал пуговицы с нитяным «мясом», ссыпал в горсть.

Парень инструмент выдал. Клещи. Ножовка. И всякое разное.

Сумерки миновали. Поползла туманами с луговин сутемь-обманщица. Улицы перегородили цепями. Ночной дозор перекликался по кварталам, далеко лаяли псы. Карел шел по площади к ратуше, нес на вытянутой руке фонарь. На шее болталась холщовая сума с инструментом. Огляделся. Никого. Окошко трактирное на втором этаже светится, желтым, живым. Хорошо, что свечу в черепке для Леденки оставил - хоть и плетет, что неживая, а темноты не любит. В темноте, мол, твари лютые - звери ледяные, ноги у них костяные, глаза красные - ждут-подстерегают. Карел перекрестился. Выдохнул. И полез на леса.

Шатко. Хлипко. Ветер гудит. Во рту солоно, пыль скрипит на зубах. Пот со лба. Уронил фонарь. Гулко грянулась жестянка, рассыпались искры, все погасло. Да не страшно - июнь, светает рано. Вон, со стороны восточной уже будто молоко на краю неба пролили. Карел вскарабкался выше, крепко расставил ноги, стиснул ободранные по костяшкам кулаки на штыре флюгера. Обхват в руку толщиной. Благо покорежен шпиль войной, хорошо, что пожаром и непогодами источен. Карел перебрал в суме инструмент. Ну, счастлив наш Бог, помоляся, принимайся, брат.

Город глубоко внизу под ногами его спал вполглаза, вполуха стерегся и плыл во сне к рассвету, точно колыбель по алым волнам. Сильнее стал ветер восточный, что приносит облака кучевые, дожди обильные и урожай; потянуло горьким благоуханьем - в садах, на выселках, цвели вишни.

До заутрени вернулся Карел в трактир.

Медленно ступал и очень тяжело. Старуха отперла, хотела выплеснуть помои, но уронила ведро, села на лавку, передник прикусила.

Карел взошел по лестнице. Ступенька. Еще одна. Третья. Пятая. Руки заняты были, ногой дверь толкнул. Леденка проснулась. Села. Зашлась кашлем, руками махала, упала с лежанки, на колени встала, качалась, как пьяная. В сальной жиже утонул и погас фитиль свечной.

Встал Карел в дверях. Разжал окровавленные кулаки.

Грянулась об пол неподъемная ноша. Звезда косматая здоровяку Карелу по пояс - вся словно в коросте, в чешуе кованой, с городским гербом позади и ликом звездным спереди. Зеленая зорка оказалась там, где медь-чешуя расположена, а где железо - ржа. Страшна вблизи звезда - лучи острые, лицом черная - чисто мавр, глаза провалы, нос что клюв. Хвост кривой, как ятаган турецкий. Голубиным пометом оббросана, дождевыми проточинами изрыта. Пылью и солнцем пахнет. На штыре, торчащем из средоточия лучей, - свежий надпил. Узрела девка звезду путеводную и закричала. Хрипло. Негромко. И по-звериному у нее выходило - вроде волк воет. Потом пошла кашлем мокрота. Выступила испарина на лбу.

У Карела спина ныла. Жилы от локтя до предплечий налились, тикали кровью. Нутро надсаженное тянуло. Улыбался, а в глазах меркло. Леденка гладила Звезду Венеру по лику небесному, лопотала мокрым ртом, потом поползла к Карелу, коленками острыми занозилась о половицы. Подкатилась, приникла, шарила губами по щекам небритым. Трясла за ворот рубахи, слабыми кулаками в грудь била, говорила быстро:

- Я живая. Ты живой. Теперь не умрём.

Карел проморгался. Погладил ее. Наклонился. Поцеловал в истерзанные лихоманкой губы. Ткнулся лбом и уснул сидя. Прямо на пороге.

Леденка же шепнула:

- Укажи мне утро, звезда путеводная.

И уснула рядом, клубком свернувшись.

Да скорых чудес не бывает. Леденка хворала долго. Карел прибился к каменщикам, чинил бастеи, ворота и башню ратушную, раствор мешал, таскал камни, приходил за полночь. Целовал девку в висок, валился спать лицом к стене. Но было чем заплатить доктору за порошки да мази. Помаленьку девка окрепла, ходить стала, затем бегать. Сдружилась со старухой, помогала на кухне. Старуха кусочничать дозволяла. Волосы у Леденки отросли, виться стали. Сшила чепец, как замужница. Телом налилась слегка, за что подержаться объявилось. Венера-звезда так и стояла в углу, белой холстиной повитая. Никто в городе не ведал, куда флюгер делся. Старуха молчала, как умная, а Карел навеселе шутил с выпивохами: дескать, на небеса вознеслась, значит, согласно чину. Ищи-свищи...

Когда Леденка понесла - повенчались. Колокол тренькал, и ворковали голуби на звоннице, свадьба - дело мирное, первочудесное. Всему миру радость.

Артель гуляла за столом до утра. Пили, ели, плясали.

На рассвете Карел свел Леденку из города. За стены. К реке и садам поближе. Недорого участок куплен был - уж очень хозяин бывший прочь торопился. Стали жить. Карел на коленях исползал делянку, вбивал колышки - разметку для дома творил.

Леденка в саду ходила, потом пшеницу сеяла внутри колышков, чтобы место для дома освятить, после стояла посреди, говорила: «ровно - не ровно», складывала ладони молитвенно на круглом животе.

От прежней жизни хлев остался, да яблони в саду - пожаром истощенные. И то имущество, если, например, с горбушками сравнить. Бродяги артельные подсобили, опять же - крышу над хлевом перестелили. Карел дверь новую навесил, окошко на восток пробил да застеклил. Мастер из каменщиков – печник – сложил преизрядный очаг. Развели Карел с Леденкой огонь ясный. Сидели друг против друга. Пекли на угольях лепешки и репу. Венера, звезда косматая, лежала под лавицей спальной, в белый холст укутана. Была, как и положено, верный путь подсказывающим, - незрима.

Мекала за загородкой коза - выгодная скотинка: и шерсть и молоко, всеядная к тому же.

Шла жизнь дорожкой ясной.

Вестовой в зеленом мундире слетел с тракта, проскакал по мирным полям напрямик. Весть лихую нес, торопился. Пена летела с удил. Кобыла сбила бабки. Скалилась в запале, вывалив язык что борзая.

Разорвали ясновельможные руки мирную грамотку, надвое и с треском. Сломали печать - рассыпался сургуч красным прахом. Конец великому замирению! Марш-марш! Война смеется ртом ненасытным, радуется - воскресили ее, всегда голодную.

Плеснули знамена. Развели крепостные мосты. Залязгали герсы - решетки подъемные, захлопнули города створы ворот, до лучших времен. Заговорили пушки.

Карел в то утро тесал бревно-матицу для дома. Услыхал, как рожок вестового поет, тревогу выводит, захлебывается. Уронил топор в грязь. Показалось - гари пороховой привкус ветер принес...

Сизой тучей, змеей ленивой потянулось трактами и шляхами войско. Истошно ржали лошади. Скрипели колеса маркитантских повозок. Ворочались на лафетах орудия. Рокотал барабан, верещали флажолеты, пики царапали твердь небесную. Карела позвали. Аркебузу выдали из арсенала, пришили новые пуговицы к мундиру. Карел только и успел, что жену поцеловать. Заждалась война, заскучала...

Шел. Стрелял. Спал. Ел. Снова стрелял. Поймал, темною порой, пулю в лоб от другого такого же. Упал в глину ничком.

Леденка в ту ночь не спала - темноту слушала, смотрела, как ветер играет с яблонями в саду и катятся прочь с тверди небесной звезды - гибнут где-то человеки, значит. Злой месяц август, не зря с серпом ходит.

А тут и лету конец, тучи солнце заволокли, набухли, непогодой налились - изрыгнули снег.

Леденка родила. Недостроенный дом, да хлев, под проживание приспособленный, стража городская сожгла - эспланаду готовили, чистое поле, значит, перед стенами. Улетела с огнем и дымом звезда путеводная, прочь вознеслась согласно чину. Раскалилась от пламени и крови - красной кометой стала, звездой косматой...

Вновь война кругом. Стены городские справа. По левую руку - река. Всюду пепелище. Яблони - тонкие и черные, подуешь - развеются. С неба что ни день - снег. Опять недовольна Перинбаба, все укрыть хочет: города и пожарища, яблони и луга, реку и дорогу. На дороге следы, женщина идет в ненасытную зиму, ведет в поводу козу, на козе торба с сеном и попонка. В перевязи у женщины на груди - младенчик. Бьется родничок на темени. Мальчик сосет круглую мамкину грудь. Молока много. Вороны вьются над дорогой - кричат: «По миру! По миру! Прах!»

«Пойдем по миру, сынка. Домой», - говорит женщина. А снег все сыплет. Вьется над краем дым, кличут вороны беду. Дрожит каплей крови в небе косматая звезда – может, путь указывает, может, и последние дни предвещает, как знать?

Леденка назвала дитя Адамом - именем несмертельным. Шла с ребенком в никуда, сквозь черные сады и выжженные предместья. Сказала твердо:

- Никогда мы не умрем. Мы беженцы...

**Лаана**

Давайте начнём рассказ...

Вот если вы были человеческие дети, вы бы слушали! Но нет - вы нечеловеческие дети, вы бьёте одна другую подушкой, пока бабушка говорит что-то важное. Всю правду. У кого вы попросите булочку, немного мёду и молока в день праздника? У подушки? Я смеюсь с вас. Ну, ша! Уже отпустите кошку. Теперь, когда вы успокоились и даже перестали колупать в носу, таки вам что-то расскажу.

Было это или не было на самом деле, мне неизвестно, но истинно то, что жил тут неподалёку, в Бардичове (славный городок и базар там раньше был дешёвый), один приятный лицом человек.

Немногое известно про него нынче. Говорят, он красиво пел, хорошо танцовал, играл на гитарах, а ещё немножко шил. И звали его Меер.

Ну, так этот Меер один раз шёл себе домой поздним вечером, и в полнолуние. Был Меер в радостном настроении - ибо Царица Суббота близилась, а в кармане у него завелось немного денег.

И Меер не заметил, как по неосторожности вошёл в тень яблоневого дерева, и это в лунную ночь, вот несчастье, и конечно Меер забыл сказать: "Жив Б-г". Тут же из тени дерева выступил навстречу Мееру дух, и определённо это был очень злой дух, надо сказать вам, хоть вы и дети - никогда не повторяйте ошибки Меера - не ходите под луною и не шастайте в тени - мало ли кого встретите там, да.

Так вот, Меер повстречал у дерева демона-лилиту, многие тысячи их бродят по свету и крадут лунными ночами у неразумных сначала покой, а потом и саму жизнь.

- Что ты ходишь под луною, Меер Костополиц? - осведомилась лилита. - Чего блуждаешь? Посмотри на меня - не та ли я, кого ты ищешь?

Меер был весельчаком, а в тот вечер он, грешный человек, надо сказать, немного выпил.

- У девушки, что ищу я, будут рыжие косы, - сказал он.

- Ну, смотри же на меня, - ответила лилита. - Разве не прекрасны как медь косы мои?

- Истинно, - ответил Меер. - Но у девушки, что ищу я, будут синие глаза!

- Загляни в мои глаза, - улыбнулась лилита, - в них ты увидишь цвет небесный.

- Но девушка, которой я отдам сердце, должна хорошо петь, - сказал счастливый Меер.

И тут лилита призадумалась.

- Я немного знаю о пении, - сказала она, после недолгого молчания. - Пение часть радости, а радость удел сил высших. Не мог бы ты спеть для меня, Меер Костополиц? Я могла бы узнать больше о высших силах, пении и о тебе.

- Почему нет? - как заведено, спросил её Меер. - О чём же спеть?

- О чём хочешь, но лучше всего о любви, - сказала она. - Красиво. С правильными словами. И чтобы было с печалью.

- Разве может быть о любви по-другому? - ответил Меер, и запел.

Ой, это было очень и очень красиво. И были там все правильные слова, и конечно печаль, хотя и не без веселья.

Меер пел долго. Он спел про Эрмозу-пастушку, про Флейте, он спел про Голде Рейзен, он спел ещё и ещё - и все песни были свет Господний, что так близко и такой прекрасный - но невозможно схватить его пальцами, да.

И лилита заслушалась. Что такие, как она, могут знать про свет? Что есть он, что он чист и всякое в нём ярко. И лилита задумалась, и мысли её были так глубоки, что зло бывшее в ней почти захлебнулось и стало беспомощно. Ведь с музыкой вошли в демоницу мечты и свет, и желание делить печаль, а веселье умножать, и стремление дарить - многие из частей любви, если не все.

Но вам понимать такое ещё рано, в среду вы пожалели оставить бабушке сливок, вот и про любовь вам неизвестно ничего, да.

- Постой, Меер, ша, - сказала лилита после песен. - Теперь моя очередь. Хоть и было неизвестно мне ничего о пении, но во многом другом я сведуща, удостоверься же...

И она вышла из тени, совсем...

Шло время: ночь за ночью, луна за луною, песенка за песенкой и Меер привязался к лилите настолько, что похудел, побледнел, кашлял, спал на ходу, и, по всему было видно - сам не мог избавиться от своей нечистой страсти. Все вы помните, как ваш отец, чтоб он был здоров, загнал себе занозу? Вы помните, как он кричал? А как всем показывал свой палец? А как жалобно стонал? Вот такое случилось и с Меером - только его заноза дошла до сердца и поселилась там свободно.

Нашлась одна знающая женщина, да. Она не только гадала на бобах, но и могла из них сварить суп, если надо, так вот - она подсказала бедняге верное, пойти и спросить совета у Людомирской Девы, это тут недалеко, даже если идти, а если ехать на паровоз - совсем рядом.

Как это вы не знаете про Людомирскую Деву? Совсем не знаете? Ну незнайте дальше... Вы такие тёмные, что одним незнанием больше или меньше, ничего страшного. Ни закона, ни легенды. Один стыд.

Так вот, Меер отправился к Людомирской Деве за советом и помощью, ведь такова она была, что ни отказывала в слове истины никому, так повелел ей Господь, хотя она и родилась женщиной, да. И как верно, то, что жив Б-г, верно и то, что пока Меер добрался в Людомир, она уже всё знала. И знание её было столь велико, что она повелела евреям Людомира и другим людям также, не впускать Меера Костополица на ночлег ни за что и ни под каким видом, и как бы ни просил.

Сказала так: "Идущее следом за ним - воистину страшно".

Таки когда Меер дошёл, уже был сильный вечер, но его не впустили ни в единый еврейский дом, и у христиан он не нашёл пристанища также.

А тут уже настала ночь и взошла луна, тогда совсем ущербная, и в свете её одинокий Меер набрёл на чей-то сеновал и решил: "Была не была, посплю здесь, раз такое горе. Не ночевать же под открытым небом"

Вошёл во двор, поднялся по лестнице на горище, где сушили сено, и стал моститься на ночь. Вот, наверное, у него не было такой подушки как у вас, и ему совсем не надо было щипать оттуда перья, перестаньте так делать и вы...

Тут, снизу, окликнула его голосом тихим и немножко печальным, увязавшаяся следом лилита.

- Меер милый, любовь моя, - сказала чертовка нежно. - Выйди-спустись ко мне, ко мне. Расскажи, зачем ты убежал так далеко? Только чтобы встретиться здесь?

- Ушёл, чтобы уйти, а что? - ответил ей Меер из сена. И вид его возлюбленной, и запах ещё свежих полевых трав, и слабый свет лунный, при котором всё так любит не быть, но казаться - разожгли в его сердце прежнюю страсть и он даже попробовал спеть некую песенку и засмеялся.

- Чего ты смеёшься, любимый мой? - громко прошептала лилита, глаза её были темны, а облик печален и мучителен. - Спустись ко мне скорее. Пусть всё станет, как было, как было.

Меер удивился:

- Почему ты просишь меня спуститься? Раньше приходила ко мне сама.

Лилита помолчала, Меер смотрел на неё сверху, а Луна - тонкая и звонкая, глядела на них с небес и весёлой не выглядела.

- Есть в сене одна травинка, к которой я не могу приблизиться, - ответила, наконец, лилита.

- Покажи мне её, чтобы я её вытащил и выбросил, - сказал Меер совсем невесёлым голосом. Лилита согласилась.

Стал он показывать ей травинку за травинкой, и на всё она говорила: "Нет", но приблизиться не могла. Шелестело сено, скрипели разные джуки, как вы их называете: "сберчки", птахи ночные робко покрикивали, луна совсем занавесилась тучкой и сползла к самому краю неба - и тогда лилита кивнула головой и сказала Мееру: "Вот эта".

Схватил Меер травинку, привязал её у ворота рубахи, слез с горища, глянул на любимую свою и бочком-бочком к калитке, а оттуда ещё раз - зырк. А лилита и слова сказать не могла, и вздохнуть не решалась, а плакать тогда не умела - только смотрела вслед Мееру, и первым он глаза опустил, как часто бывает, да.

Пустился Меер бежать, а люди Людомира спали и звери Людомира спали, умолкли травы и птахи, и даже ваши ничтожные джуки, вот эти сберчки замолчали, лишь Людомирская Дева не спала - видела всё, открыла немногое. Сказала так: дороги Меера и чертовки сойдутся на полпути, у порога, и как даром кровь не льётся, так и слова мои исполнятся, чтоб вы знали.

И вот Ангел Зари явился в Людомир, разбудить добрых людей и загнать на место порождения ночи и всё нечистое, но каково же было удивление его, когда наткнулся он на лилиту.

- Интересно, - спросил Ангел Зари. – Пустота, дочь Пустоты, а мать твоя знает, что ты здесь и в неурочный час?

- Я оставлена тут без радости, обманно, - ответила лилита. - И нечего так кричать, я уже иду-ухожу, тоже мне, ангел.

- Плохие вести для твоей скверной матери сегодня. И ваших обманывают. Воистину, жив Б-г! - ответствовал Ангел и возвестил утро.

Лилита же обернулась лицом на север и отправилась вниз, в самую середину пустоты, там, где Ничто. Нет, Пинск ближе, но не мешайте.

Так она шла-шла и спускалась всё ниже и в конце пути предстала перед Праматерью своей, и поклонилась.

Праматерь Лилит сидела на троне одиноко и расчёсывала свои длинные седые волосы, прядь за прядью, искала чёрные - если находила, вырывала прочь. Вот от этого взялись у нас змеи, да.

- Что тебе, красавица? - спросила лилиту Праматерь.

- Не ищу милости и прощения, ищу утоления и мести, - ответила та.

- Хороший разговор к хорошему делу, - одобрила старая молодую. - Но расскажи всё - от начала и до потом, и мы посмотрим, что со всем этим сделать.

И лилита рассказала.

Праматерь Лилит долго молчала в ответ.

- Кто ищет, чего не подобает, найдет то, чего не хочет. Ты сама виновата во всём и я помогать тебе не стану, но пригодится тебе травка, что обратил адамов выродок против тебя, иди поклонись ей сто раз, где встретишь и попроси сказать имя...

- Имя? - переспросила чертовка младшая

- И у травы оно есть, а как же, ты не глухая: я сказала, а ты слыхала,- ответила ей Праматерь. - Спроси-узнай, и согласись на любую цену, даром такое не скажут.

- Низко склоняюсь перед твоим знанием, - ответила лилита.

- Растревожила ты меня, утомила, - проскрипела чёртова бабка. – Пойду, зло сотворю, хоть успокоюсь. И ты ступай назад, на землю и сюда не возвращайся, а то будет тебе хуже, чем плохо. Фа!

С тем и расстались.

Тем временем Меер, в своём Бардичове, окреп совершенно - много работал, иногда играл на гитарах и танцовал на вечеринках также. Со спасительницей травинкой не расставался совсем - носил ее на себе, не снимая, в ладанке, и особенно ночью, чем на какое-то время спасся.

Не совсем ясно, сколько прошло - может быть и месяц, может три, но скорее всего год, и люди уговорили Меера жениться. Ой, ну мазлтов, да...

Тут конечно была вся эта кутерма, потом тарарам и даже гевалт с вереск - какой бывает на свадьбе всегда и точно такой, как делаете у колодца вы, когда видите пара жабен.

Ну и там всё прошло как должно и закончилось, чем следует...

Жену Меера звали Фейгеле, что как вы знаете, означает "птичка", ну и ума у неё было ровно столько, да... Одно можно сказать, она делала такой себе хороший квас. Люди брали.

А лилита тем временем всё ходила по свету и кланялась встречной траве и кланялась, и кланялась - удивительно, как у неё не поломалось в спине с непривычки - ведь травы ей не отвечали.

И путь её совершил круг и замкнулся на Бардичове, откуда всё и началось, где жил пошивал себе Меер, висела на стене его гитара, а супруга его на базаре ходила с бочкой на тележке и давала людям квас за их копейке.

Всё началось, а потом и случилось, когда Меерова жена, вот эта не так чтобы разумная Фейгеле, а надо сказать, она до сих пор продаёт свой квас на их базаре, приступилась, с чьих-то слов, к своему суженому без почтения, но с ревностью и злобой и сорвала с него ладанку. Выбросила оттуда волшебную травинку на перелаз, и плюнула вслед спасительнице мужа, ещё и разорвала мешочек надвое, да. Может, в помрачении была, может, обратилась к колдовству, но скорее в Пустоте кто-то сотворил знатное зло.

И где одно зло там и два их - возникла от теней у бузины лилита, и тут же подбежала она к перелазу, и поклонилась травке, и не один раз. И попросила:

- Скажи мне имя своё и проси взамен что хочешь, что хочешь!

- «Лаана» - прошептала трава. – «Лаана, назвал меня Адам, и была я Божьим деревом в саду».

- Если я попрошу тебя об услуге, какую цену назовёшь, о, Лаана? - смиренно спросила лилита.

- Если попросишь меня, "нет" не скажу, но если не заплатишь - "да" говорить не стану, - отозвалась трава.

- Хочу подойти к потомку адамовому, вон к тому, что называется Меер Костополиц, - сказала желание лилита.

И встрепенулась трава и ответила еле слышно, но твёрдо.

- Хоть ты лишь демон, лишь демон, но дыханье Господне, коснулось тебя и изменило навсегда - нет тебе пути вниз, и не осталось для тебя пути наверх, потому как хочешь мстить, а это губительно. Отдай мне, демон, свою месть, отдай свою горечь, отдай свою боль, свою боль - и ступай куда видишь, но заплати мне не единожды, а каждым шагом.

- Ты сказала - я слыхала, будь по-твоему, - ответила лилита и отворила кровь из жил на руках.

И трава воспряла - напиталась болью её и гневом и горечью - и встала у перелаза пышная и высокая, правда от избытка зла чертовки трава та сильно потемнела, да. И не все, но некоторые называют её теперь чарнобиль.

И переступила лилита перелаз - и видно было, как больно ей сделалось, ведь каждый шаг её по двору Костополицев обозначился чёрным, и спросила она.

- Что же не поёшь ты, Меер Костополиц? Что не смеёшься? Или не рад мне? Или потемнели мои косы? Или потускнели мои глаза? Отвечай же!

Так говорила она и трава колыхалась без ветра, и упала на колени Фейгеле, и вслед лилите тянулся чёрный след и тень светлая, а Меер стоял, будто глухой и смотрел на покинутую чертовку, смотрел, смотрел и смотрел. Ну, она подошла к Мееру совсем и поцеловала его, и с поцелуем выпила у него всю душу и песни, да. Ну, от такого он сразу умер и упал весь белый.

Лилита вышла с их двора, не оглянувшись, и села прямо на дорогу, в пыль, ну, может это была и не пыль, в Бардичове многие улицы мостовые... Но те, кто видел это, говорили, что лилита плакала, и слёзы были как кровь её - почти чёрные. Был вечер и спустился на Бардичов Ангел Заката - так уже повелось, что проходит он всюду, а этот городок ничем не хуже других.

- Встань, - сказал он лилите. - Встань и иди прочь. Не хочу губить тебя неразумную.

- Куда же пойти? - спросила лилита. - Нет мне пристанища ни прежде, ни впереди, ни наверху, ни снизу.

- Иногда подняться тяжелее всего, но говорю тебе - как жив Б-г, встань и иди! - вразумил её Ангел. И ослушаться она не посмела. Встала и совсем немного посмотрела назад, туда, где неразумная Фейгеле, уже вдова, причитала над покойным, куда бежали соседи и где на крыше халупы стоял в гнезде аист.

А затем пошла.

Шёл ей вслед Ангел Заката, и заря вечерняя была тогда красной как кровь и ужасной как пожар, а следы лилиты были черны, и схожи со следами громадного петуха - и сейчас их можно видеть в Бардичове. И на Острожной, и на Юридике, и около кляштора, и там - на Училищной, да. Воистину праведные люди не наступают на те камни...

Так шли они, не озираясь, и вышли к лесу - ненаселённому месту, у быстрой реки, сейчас его называют Пяски. И Ангел Заката взмахнул мечом, и оглянулась лилита - так ждала она утоления и покоя, но меч отсёк лишь тень. Так по велению Б-га исторг из лилиты ангел подаренное Господом и забрал с собою, в сад вечерний.

Лилита продолжила путь одна, в месте ненаселённом - и с каждым шагом к бегущей воде, тело её становилось меньше и легче, вскоре иссохло совсем, и обросло перьями - сжалился над нею Б-г, сделалась она совою. Летает, хищная, ночью - при луне и без, в чащах, пущах и пустынях, и кричит протяжно: "Лаана! Лаана! Лаана!" и будто смеётся, но может быть и плачет.

Слышите?

7.Гелприн Майк («Дурная примета», «Ботинок»)

***Майк Гелприн***

**Дурная примета**

Я вишу на стене, в гостиной. На двух гвоздях, в багетной раме, под стеклом. За долгие годы я немного выцвел, но лишь самую малость, чуть-чуть.

- Это Аарон Эйхенбаум, - представляла меня гостям Това. - Мой муж. Он был настоящей звездой. По классу скрипки. Первый сольный концерт. И последний. В ноябре сорок первого. Пропал. Без вести.

Она так и не вышла больше замуж, моя красавица Това, моя единственная. Она тоже под стеклом, в траурной рамке, на сервантной полке напротив. Туда Тову поставил Ося, через день после того, как её унесли на кладбище.

- Это папа, - представлял меня гостям Ося, - он ушёл добровольцем на фронт. В августе сорок первого, с выпускного курса консерватории. Меня тогда ещё не было на свете. В ноябре пропал без вести, мы не знаем, где его могила.

Этого не знает никто, потому что могилы у меня нет. Я истлел в поле, под Тихвином, там, где Тарас меня расстрелял.

- Как живой, - говорили Осе, глядя на меня, гости. - Потрясающая фотография. Знаете, ваш отец совсем не похож на еврея.

Прибалтийские евреи зачастую блондины или русоволосые, так что я и вправду не похож. Ох, извиняюсь за слова, “был не похож”, конечно же. В последнее время я частенько путаюсь во временах. Но мне простительно - повисите с моё на стене. И не просто так повисите, а “как живой”. Не дай вам Бог, извиняюсь за слова.

- Мама очень любила его, - объяснял гостям Ося. - Она хотела, чтобы я тоже стал скрипачом.

Он не стал скрипачом, наш с Товой единственный сын, зачатый в первую брачную ночь, за два дня до начала войны. Он стал средней руки лабухом, потому что уродился робким и слабохарактерным, а восемнадцати лет от роду взял и влюбился. Один раз и на всю оставшуюся жизнь.

- Дурная примета, - говорила, поджимая губы, Това. - Скверная примета, когда мальчик любит девочку, которая любит всех подряд. Скажи, Аарон? Был бы ты живой, ты бы этого не допустил.

Я был не живой, а всего лишь “как живой”, поэтому допустил. Она была шумная, вульгарная и жестокая, эта Двойра, дочка рыночной торговки с одесского Привоза и фартового домушника с Молдаванки. Она сносно играла на фортепьяно и пела, почти не фальшивя. Она курила вонючие папиросы, пила дешёвое вино, безбожно штукатурила морду и давала кому ни попадя, потому что была слаба на передок. Она приводила домой гоев, когда Ося мотался по гастролям, а Това отхаркивала последствия блокадной чахотки в санаториях. Она никого не любила, эта Двойра, она любила только деньги, когда их много. Она была стервой и курвой, извиняюсь за слова.

Она родила Осе детей, и я всё простил. Простил, даже когда Двойра умотала с заезжим саксофонистом и забыла вернуться, оставив Осю с двухгодовалым Яником и шестимесячной Яночкой на руках.

- Это дедушка, - говорила Яночка, представляя меня одноклассницам. - Его звали Аарон Менделевич Эйхенбаум. Правда, странно? Курносый и голубоглазый блондин с таким именем.

- Почему странно? - удивлялись не слишком поднаторевшие в еврейском вопросе школьницы. - Катька вон тоже блондинка, и нос у неё картошкой. И у Верки. И у Сани Зайчикова.

- Дуры вы, - авторитетно заявлял Яник. - Одно дело Зайчиковы, совсем другое - Эйхенбаумы. Скажи, дедушка?

Они все пошли в Тову - наш сын, внук и внучка. Они так же, как она, поджимали губы при разговоре, верили в дурные приметы и по всякому поводу советовались со мной. Не лучшая привычка, извиняюсь за слова - держать совет с покойником, будь он хоть трижды восходящей звездой по классу скрипки. А ещё они все уродились горбоносыми, черноволосыми и кареглазыми, и опознать в них евреев можно было с первого взгляда.

Во мне еврея не опознали. Ни с первого взгляда, ни с какого. Меня опознал Тараска Попов, нацкадр из удмуртской глуши, отчисленный с первого курса по причине патологической бездарности.

- Жидовьё, - объяснял Тараска сочувствующим. - Что такое ленинградская консерватория? Это когда из десяти человек семь евреев, один жид и две полукровки.

- А ты как же? - озадаченно спрашивали Тараску. - Никак полукровка?

- А я одиннадцатый лишний.

Он оказался в двух рядах от меня в колонне пленных, которых гнали по просёлочной дороге по направлению к оккупированному Тихвину.

- Господин немец, - подался вон из колонны одиннадцатый лишний. - Господин немец, разрешите доложить. Там еврей, вон тот, белобрысый, контуженный. Настоящий жид, господин немец, чистокровный. Прикажите ему снять штаны, сами увидите.

- Юден? - гаркнул, ухватив меня за рукав, очкастый малый со “шмайссером” в руках и трофейной трехлинейкой на ремне через плечо. - Зер гут, - он сорвал трехлинейку и протянул Тарасу. - Шиссен.

В десяти шагах от просёлка одиннадцатый лишний пустил мне в грудь пулю. Я рухнул навзничь и был ещё жив, когда Тараска срывал у меня с шеи менору на золотой цепочке. Ту, что в день свадьбы подарил мне старый Зайдель, Товин отец, потомственный санкт-петербургский ювелир. Менора, золотой семисвечник, залог и символ еврейского счастья, отошёл к Тарасу Попову, бездарному скрипачу из-под Ижевска, сыну ссыльного пламенного революционера и местной испитой потаскухи. Извиняюсь за слова.

- Хорошую вещь повредил, - посетовал Тараска, осмотрев менору с отколотой пулей третьей слева свечой. - У, жидяра!

Он, воровато оглянувшись, упрятал моё еврейское счастье за пазуху, сплюнул на меня и повторным выстрелом в голову добил.

\*\*\*

- Дурная примета, папа, - сказал мой любимый внук Яник моему любимому сыну Осе, - я вчера видел одного гоя.

- Большое дело, - пожал плечами Ося. - Я вижу их много и каждый день.

- Это особенный гой. Он ухлёстывает за Яночкой.

У Оси клацнула искусственными зубами вставная челюсть.

- Как это ухлёстывает? - побагровел он. - Что значит ухлёстывает, я спрашиваю?

Ося растерянно посмотрел на меня, потом на Тову. Ни я, прибитый гвоздями к стене, ни Това в траурной рамке не сказали в ответ ничего. Да и что тут можно сказать, даже если есть чем.

- Знакомьтесь, - радостно прощебетала на следующий день Яночка. - Это мой папа Иосиф Ааронович. Это мой старший брат Янкель. А это… - она запнулась. - Василий.

- Василий? - ошеломлённо повторил Ося, уставившись на длинного, нескладного и веснушчатого молодчика с соломенными патлами. Вид у “особенного гоя” был самый что ни на есть простецкий. - Очень э-э… очень приятно, - промямлил Ося. - Василий, значит.

Василий смущённо заморгал, шагнул вперёд, затем назад и затоптался на месте. Веснушки покраснели.

- А это дедушка, - представила меня Яночка, - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Фотография сделана на его первом сольном концерте. И последнем. Дедушка добровольцем ушёл на фронт и пропал там без вести.

Василий проморгался, шмыгнул курносым, под стать моему, шнобелем и изрёк:

- Как живой.

Наступила пауза. Моя родня явно не знала, что делать дальше.

- А вы, собственно, - нашёлся наконец Ося, - на чём играете?

- Я-то? - удивлённо переспросил Василий. - Я вообще-то, так сказать, ни на чём. Я фрезеровщик.

- Дурная примета, - едва слышно пробормотал себе под нос Яник, и вновь наступила пауза.

- Значит, так, - решительно прервала её Яночка. - Мы с Васей вчера подали заявление в ЗАГС.

- Как? - ошеломлённо выдавил из себя Ося. - Как ты сказала, доченька? Куда подали?

- В ЗАГС.

Это был позор. Большой позор и несчастье. У нас в роду были музыканты, поэты, художники, ювелиры, шахматисты, врачи. У нас были сапожники, портные, мясники, булочники и зеленщики. У нас никогда, понимаете, никогда не было ни единого фрезеровщика. И никогда не было ни единого, чёрт бы его побрал, Василия, извиняюсь за слова.

Мой робкий слабохарактерный сын Ося, наливаясь дурной кровью, шагнул вперёд.

- Никогда, - в тон моим мыслям просипел он. - Никогда в нашей семье…

- Папа, прекрати! - звонко крикнула Яночка.

Ося прекратил. Он мог бы сказать, что его дочь учится на третьем курсе консерватории по классу виолончели и ей не подобает брачный союз с неучем и простофилей. Он мог бы сказать, что его отец перевернётся в гробу от подобного мезальянса. Но он вспомнил, что неизвестно, есть ли у меня этот гроб, и не сказал ничего.

- Вася хороший, добрый, у него золотые руки, - пролепетала Яночка. - А ещё у него нет ни единого родственника, Вася круглая сирота, детдомовский. Зато теперь у него есть я. И потом… У нас с ним скоро будет ребёнок.

\*\*\*

По утрам Вася, отфыркиваясь, тягал гантели, фальшиво напевал “не кочегары мы, не плотники” и шумно справлял свои дела в туалете. По вечерам он поглощал немереное количество клёцок, гефилте фиш и прочей еврейской пищи, которую вышедшая в декрет Яночка выучилась ему готовить. Заедал мацой и усаживался к телевизору смотреть хоккей.

- Азох ой вей, - бранился набравшийся еврейских словечек Вася, когда очередные “наши” пропускали очередную плюху. - Шлимазлы, киш мир ин тохас.

По весне Яночка родила Васе близняшек.

- Това и Двойра, - с гордостью представил неотличимых друг от дружки новорожденных счастливый отец. - Това и Двойра Васильевны.

- Васильевны… - эхом отозвался ошеломлённый Ося.

- Ну да, - расцвёл Вася. - Правда, они замечательные?

- Скажи, дедушка, - подалась ко мне сияющая Яночка.

“Клянусь, они замечательные, - не сказал я. - Даже несмотря, что Васильевны”.

- Папа, нам надо поговорить, - подступилась к Осе Яночка полгода спустя. - Мы с Васей собираемся подать заявление.

- Опять заявление, - проворчал Ося. - Вы, похоже, только и знаете, что их подавать. И куда?

- В ОВИР.

- Куда-куда?

- В ОВИР, - неуверенно пролепетала Яночка. - Мы с Васей решили.

- На предмет выезда на историческую родину, в государство Израиль, - оторвавшись от хоккея, уточнил Вася.

- Что-о?! На какую ещё родину?

- На историческую родину моих детей.

- Вы что, рехнулись? - побагровел Ося. - Какой, к чертям, Израиль? Что вы там будете делать?!

- Не “вы”, а “мы”, - поправила Яночка. - Мы все будем там жить.

- На какие шиши?

- Папа, - укоризненно проговорил Вася. - Вы что же, думаете, на исторической родине не нужны фрезеровщики? Я собираюсь принять гиюр. Скажите, дедушка? - обернулся он ко мне.

Я не хотел ни в какой Израиль. Я прожил… Извиняюсь за слова. Я не прожил здесь, на стене, четыре десятка лет. Я не сказал ничего. Я лишь осознал, что у меня стало одним родственником больше. К многочисленным Менделям, Зайделям и Янкелям прибавился длинный, веснушчатый, с соломенными патлами особенный гой Василий.

Следующий год моя родня провела в спорах. Спорили каждый вечер, а по выходным сутки напролёт. Приводили неопровержимые аргументы в пользу отъезда и не менее неопровержимые против, а за поддержкой апеллировали ко мне. Я молчал. Мне нечего было сказать. За меня сказала Това. Ночью, накануне которой была достигнута договорённость паковать чемоданы, Това упала с сервантной полки траурной рамкой вниз.

- Дурная примета, - ахнул наутро пробуждающийся с петухами Вася. - Мы никуда не едем. Бабушка против.

Тем же вечером в знак семейного примирения Яник с Васей надрались. До изумления, извиняюсь за слова. Вернувшийся с кабацкого выступления Ося уже через полчаса догнал обоих.

- В Израиле в-виолончелистки нужны? - икал, поджимая губы, Яник. - Бабушка права: н-не нужны. А п-пожилые скрипачи? Там своих как собак нерезаных. А м-музыкальные критики? Я вас умоляю.

- По большому счёту, - уныло соглашался Вася, - фрезеровщики там тоже на фиг никому не нужны. А те, что на иврите ни бум-бум - тем более.

Вася привычно включил телевизор.

- И хоккея там нет, - резюмировал он. - Какой там может быть, скажите, хоккей? Правда, дедушка?

Я, как обычно, не сказал ничего. И не только потому, что не имел чем. Хоккея сейчас не показывали и у нас. Вместо него показывали Тараску. На фоне сложенных в штабеля мертвецов.

- Не все военные преступники понесли заслуженное наказание, - сообщил голос за кадром. - Некоторым удалось скрыться, как, например, надзирателю могилёвского концентрационного лагеря по кличке Скрипач. Вы сейчас видите его фотографию в кадре. Скрипач виновен в смерти сотен…

Я не слушал. Я смотрел Тараске в глаза.

“Гнида ты, Скрипач, - не сказал я. - Будь ты, извиняюсь за слова, проклят”.

Два года спустя подошла Васина очередь на кооператив в новостройках, и паковать чемоданы таки пришлось.

- Ну что вы, папа, - привычно переминаясь с ноги на ногу и держа Тову на левом плече, а Двойру на правом, утешал всплакнувшего тестя Вася. - Мы будем часто видеться. Девяткино это не какой-нибудь там Тель-Авив. Правда, дедушка?

“Правда, - не сказал я. - С новосельем вас, дети. Маззл тов”.

\*\*\*

Мне было очень тяжело целых три года, потому что из Девяткино, хотя оно и не Тель-Авив, мои внуки и правнуки приезжали не слишком часто. Я по-прежнему висел на стене в гостиной, понемногу выцветая, и вместо хоккея, к которому привык, смотрел на затеявшего перестройку унылого Горбачёва с родимым пятном во всю лысину. А потом у нас появилась Сонечка.

Она была миниатюрная, говорливая и непоседливая, с копной вороных кудряшек, разлетающихся на бегу. Она носилась по квартире безостановочно, будто кто её подгонял, и даже за фортепьяно не могла усидеть дольше пяти минут. Она щебетала без умолку и непрестанно наводила порядок - даже пыль с меня стирала по пять раз на дню. Так продолжалось до тех пор, пока она не родила Янику Машеньку.

Впервые увидев свою третью правнучку, я обомлел под стеклом. Она была… Она была курносая и голубоглазая, с ямочками на щеках и светлым пушком на макушке. Она была вся в меня.

- Это что же, еврейская девочка? - засомневался при виде Машеньки Ося.

- Она ещё потемнеет, папа, - утешил пританцовывающий вокруг новорожденной Яник. - Чёрный цвет доминантен. Правда, дедушка?

“Неправда, - не сказал я. - В нашем с тобой случае это неправда. Она не потемнеет”.

- Это прадедушка, - представляла меня одноклассницам восьмилетняя Машенька, - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Он мог стать выдающимся скрипачом, но ушёл добровольцем на фронт и пропал там. Прадедушка на этой фотографии как живой. Мы с ним очень похожи. Мама с папой говорят, что одно лицо.

- Одно лицо, - подтверждала притихшая и присмиревшая после родов Сонечка. - Дедушкины гены возродились в третьем поколении. Так бывает.

Так бывает. Машенька была не просто похожа на меня внешне. Она оказалась ещё и талантливой. Талантливой, как никто больше. В пятнадцать лет она вышла на сцену Оперного театра с первым своим сольным концертом. Она играла Мендельсона, Моцарта и Брамса, а когда раскланялась, профессура консерватории по классу скрипки вынесла единогласный вердикт: “Восходящая звезда. Виртуоз”.

Я был счастлив. Так, как только может быть счастлив покойник, семьдесят лет назад расстрелянный у просёлочной дороги под Тихвином. Моя третья правнучка подарила мне ещё одну жизнь. Она стала моим воплощением, моим вторым “я” на нашей, извиняюсь за слова, яростно прекрасной и отчаянно грешной Земле.

К восемнадцати Машенька объездила с концертами всю Европу, за два следующих года - весь мир. В день своего двадцатилетия она давала концерт для скрипки с оркестром на сцене санкт-петербургской Капеллы. А вечером у нас ожидался семейный ужин. В тесном кругу, для своих.

Сонечкиными стараниями праздничный стол ломился от блюд, а неотличимые друг от дружки Това и Двойра таскали с кухни всё новые и новые. Успевшие в ожидании именинницы ополовинить бутылку сорокоградусной Вася и Яник пели вразнобой “не кочегары мы, не плотники”. Старенький Ося скрипучим голоском подтягивал. Наводила последний марафет располневшая Яночка. А потом… Потом отворилась входная дверь, и в гостиную впорхнула Машенька. Светловолосая и голубоглазая, с ямочками на щеках. Но я не смотрел на неё, не смотрел на своё новое воплощение на Земле. Потому что в дверях застыл рослый плечистый красавец с вороными волосами до плеч. Он был в смокинге, и красная бабочка кровавым росчерком перерезала белоснежную рубаху.

- Знакомьтесь, - зазвенел Машенькин голос. - Это мой папа, Янкель Иосифович Эйхенбаум. Мама, Софья Борисовна. Дедушка…

Она перечисляла родню, но я не слышал - у меня разрывалось от боли отсутствующее сердце, потому что я уже понимал, знал уже, что…

- А это Тарас Попов, - пробились сквозь стекло новые слова, - мой друг. Он дирижировал оркестром сегодня. Он очень талантливый, но это не главное. Час назад Тарас сделал мне предложение.

Наступила пауза. Сквозь стекло я смотрел на застывшую на сервантной полке Тову в траурной рамке, и мне казалось, что Това плачет.

- А это прадедушка, - представила меня Машенька. - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Взгляни: он на фотографии как живой. Я пошла в него, прадедушкины гены возродились в третьем поколении.

- Я тоже похож на покойного прадеда, - пробасил рослый красавец Тарас Попов. - Меня и назвали в его честь. У нас есть семейная реликвия - менора, которую подарил прадеду на фронте его смертельно раненый еврейский друг. В ней не хватает одной свечи, там, куда угодила пуля. Мой дед носил её, потом отец, теперь я. Менора дарит нашему роду счастье. Сегодня оно досталось мне.

В этот миг сердце, которого у меня не было, расшиблось о стекло. Я рванулся с гвоздей, выдрал их из стены и обрушился вниз. Багетная рама, приложившись о край стола, раскололась. Я упал на пол плашмя, разбрызгав по сторонам осколки. Опрокинувшийся графин томатным соком залил мне грудь и кровавым языком лизнул лицо.

- Не бывать, - услышал я последние в своей второй, уходящей жизни слова. - Не бывать! Дедушка против.

**Ботинок**

*От автора:*

*рассказ написан по мотивам реально произошедшей истории.*

Есть ли сходство в словах пальчик, градус и скамейка? А в словах рыбак, дактиль и циферблат? Кукиш, аптекарь и пенёк? Ответ “в них нет ничего общего” - неверный. Сходство есть, и оно очевидно. Надо лишь написать каждое слово с заглавной буквы. Получатся еврейские фамилии. У Фимы была фамилия Ботинок. В Союзе Фима её стеснялся. В Америке стесняться перестал.

Ботинки жили в съёмной квартире на Брайтон Бич. Этажом ниже обитал поэт-авангардист Соломон Перец. Этажом выше - дамский парикмахер Мирон Трус. Перец был старым, одиноким, пьющим и не востребованным. Трус - относительно молодым, вечно трезвым и нарасхват. С Трусом в квартире жила жена, две малолетние дочери и болонка Хаим. Всех вместе их называли “Трусы”. Ударение ставили, где придётся.

Фиме Ботинку стукнуло двадцать восемь. Он учился на программиста. Программирование Фима ненавидел. Учёбу терпел.

- Мальчик скоро кончит на компьютер, - хвастала соседям Фимина мама. - Тогда мы хорошо заживём.

Хорошо зажить Фима не особо рассчитывал. Ненавидел он не только программирование. Ещё он терпеть не мог английский язык. Неродной алфавит Фима знал. Читать худо-бедно умел. С горем пополам выталкивал из себя чужие слова. Даже лепил из них фразы. Но ни рожна не слышал. Устная речь сливалась в Фиминой голове в одну сплошную неразбериху. Невнятную и тягучую, как сдобренная кленовым сиропом манная каша. Впрочем, выудить из каши отдельные слова иногда удавалось. Преимущественно это были слова “фак” и “шит”.

Разумеется, на Брайтон Бич иностранный язык не нужен. Здесь даже “мы говорим по-китайски” написано на дверях прачечной русскими буквами. Но попробуйте - хорошо заживите в съёмной квартире на Брайтон Бич. Фима и пробовать не хотел.

В Союзе он закончил педагогический. С красным дипломом. Два года оттрубил учителем русского языка и литературы в начальных классах. На дверях Фиминого кабинета была прибита табличка с надписью “Е. Б. Ботинок”. Завучиха всё порывалась её снять. На худой конец, замазать - в надписи завучихе чудилась инвектива.

Внешности Фима был самой обыкновенной. Семитской: субтилен, носат, очкаст и мелким бесом кучеряв. С девушками ему не везло. Он их стеснялся. Не то что обходил стороной, но робел в присутствии и говорил, запинаясь. Девушки платили взаимностью. Фима им казался неинтересным.

Женщины у него были. Точнее, бывали. Дважды. В Союзе Фима потерял невинность с преподавательницей французского. В Америке усугубил потерю с учительницей английского.

Француженка была коллекционеркой, а Е. Б. Ботинок - редкостным экспонатом. Можно сказать, раритетным.

Англичанка была эстеткой. Она утверждала, что язык лучше всего познаётся в постели. В постели она учила Фиму английским словам. Преимущественно это были слова “фак” и “шит”.

Француженка изъяла у Фимы ношеные носки. Приобщила к коллекции за номером двести шестнадцать. На следующий день переключилась на школьного сторожа. Англичанка увлеклась нелегалом из Грузии и предложила любовь втроём. К па-де-труа Фима был не готов. Поэтому скатился в привычные воздержание и аскезу…

\*\*\*

Июльский пятничный вечер на первый взгляд ничем не отличался от четвергового. Зеленщик Изя Брофман из Одессы запирал овощную лавку. Привычно бранился с конкурентом, зеленщиком Раулем Альваресом из Сантьяго-де Куба. Из ресторана “Татьяна” невежливо выпроваживали посетителя. Тот накануне забыл расплатиться в ресторане “Волна”. На прожаренной солнцем асфальтовой запеканке свирепствовали ошалелые воробьи. А Фима Ботинок шёл на свидание. Переживал он отчаянно. Фима сам толком не понимал, как осмелился накануне взять у девушки телефон. Как отважился позвонить и назначить встречу. Ещё он был не уверен, как девушку зовут.

- Аня, - бормотал себе под вислый нос Фима. - Нет, Аля. Или даже Ася.

Они познакомились в метро в час пик. Всё вышло самой собой. Толпа внесла Фиму в вагон. Скрутила, пожевала и сплюнула им на отчаянно цепляющуюся за поручень девушку.

- Твою мать, - сказала девушка. - Идиот.

Фима обрадовался. “Твою мать” звучало куда лучше, чем “фак” и “шит”. На “идиота” он внимания не обратил. Девушка была чудо как хороша. От неё пахло лавандой. Фиме мучительно хотелось смахнуть каплю пота с её виска. Он воздержался. Имя, произнесённое, когда толпа схлынула, не разобрал. Переспросить постеснялся.

Две остановки они проехали в относительном комфорте. Девушка работала в частной школе. Американским детям она преподавала русский. Фима решил, что это судьба.

Номер новой знакомой он затвердил наизусть. Вернувшись домой, внёс в записную книжку под литерой “А”. Мобильный телефон был Фиме не по карману. Наутро он позвонил девушке из общественного.

- Это Ботинок, - представился он. - Идиот из метро.

- Так ботинок или всё-таки идиот?

- Боюсь, что и то, и это.

Сейчас Фима спешил. Предстояло пересечь неопрятную улочку с помпезным названием Ошен Вью. От неё до места встречи минут пять, если быстрым шагом. Фима нервничал. И знать не знал, что очередная полицейская акция уже вступила в начальную фазу.

Ошен Вью отстояла от Брайтон Бич на каких-то три сотни футов. Где-то посередине проходила граница между добром и злом. Между популярностью и забвением. Суетной роскошью и слякотной нищетой. О Брайтон Бич знали во всём мире. Об Ошен Вью знали лишь те, кого угораздило жить поблизости. Улица заслуженно пользовалась дурной славой. Славу обеспечивали завсегдатаи - угрюмые антисоциальные личности. Толкачи, их клиенты, попрошайки, сутенёры и дешёвые проститутки. Полиция готовила акцию по оздоровлению обстановки в неблагополучных районах. Об акции завсегдатаев, как обычно, оповестили заранее. Криминалитет убрался. Под оздоровление предстояло попасть прочим гражданам.

Первым делом сострить, повторял Фима на ходу. Отмочить хохму-другую. Затем сослаться на дырявую память и спросить имя. Нет, сослаться-спросить сначала, отмочить потом. Пригласить в ресторан. В кармане лежали сто девятнадцать долларов - все Фимины сбережения. Должно хватить. После ресторана можно попробовать напроситься на кофе. Или сварить его самому. Ботинки-старшие как раз отправились к родственникам в Нью-Джерси на уикенд. А там и… Фима зажмурился. Там…

- Гоинаут?

Фима сбился с шага. Дорогу заступила коренастая накрашенная девица. Вопрос явно исходил от неё. Сути вопроса Фима не понял.

- Э-э… - замялся он.

- Гоуинг аут? - терпеливо повторила девица. На этот раз прозвучало членораздельно.

Фима перевёл сказанное на русский. Получилось “Вы выходите?” Будь на Фимином месте знаток английских идиом, у него вышло бы “Не желаете ли потрахаться?”. Фима знатоком не был.

- Йес, - на всякий случай подтвердил он.

- Тэн бакс, - деловито заявила девица.

Фима стушевался. Собеседница явно была настроена решительно. Она хотела денег. Десять долларов не пойми за что. Фима переступил с ноги на ногу. Подался назад в надежде улизнуть. Улизнуть не удалось. Девица шагнула вперёд и ухватила за рукав.

- Тэн бакс, бэби!

- За что?! - по-русски взмолился Фима. Но собеседница поняла.

- Блоу джаб, ступид, - пояснила она.

Фима вновь добросовестно перевёл. Все слова по отдельности он знал. “Блоу” означало дуть. “Джаб” - работа. “Ступид” - дурак. Дураком, со всей очевидностью, был он. Десять долларов с него, дурака, требовали за дутьё. В дутье Фима не нуждался. Правда, “блоу джаб” означало ещё и оральный секс. Но об этом Фима не ведал. Зато уразумел, что отделаться не удастся.

- Файв? - просительно предложил Фима.

- Окей. Файв.

Фима полез в карман. Рассчитаться он не успел. Визг тормозов прошил тишину за спиной. Секунду спустя Фиме заломили руки. Затем обидно дали по почкам. Ещё через минуту его закинули в притаившийся в палисаднике автобус.

- Намба уан, - констатировал угольно-чёрный детина в полицейской форме. Он защёлкнул на Фиме наручники.

- Намба ту, - увеличил детина счёт минуту спустя.

- Намба цри, фор, файв, сыкс, сэвен…

За полчаса автобус сглотнул c полсотни новоиспечённых кандальников. С натужным скрежетом захлопнулись дверцы. Автобус дёрнулся. Выполз из палисадника на Ошен Вью и попылил к полицейскому участку.

- За что? - причитал на заднем сиденье обескураженный и испуганный Фима. - Я опаздываю на свидание. Меня девушка ждёт. За что?!

“За что” Фиме вскорости объяснили. Сексуальных преступников ловили на живца сразу пять нарядившихся проститутками сотрудниц полиции. Они продемонстрировали небывалый профессионализм и немыслимую производительность труда. Акция удалась. Первая, оперативная её фаза увенчалась несомненным триумфом. Начиналась вторая, рутинная. Задержанных распихали по камерам. Личные вещи у них изъяли. Полицейский участок трещал по швам. Ввиду нехватки мест в одиночку набилось пять человек.

Обстоятельный, моложавый гробовщик Гриша справлял серебряную свадьбу в ресторане “Националь”. Вышел покурить. Поднёс зажигалку накрашенной фемине с подбитым глазом. Отпустил сомнительный комплимент. И пропал. Гости до полуночи неумело утешали навзрыд ревущую юбиляршу.

Восемнадцатилетние недоросли Юра и Вадик везли своих подружек погулять по берегу океана. На перекрёстке Пятого Брайтона с Ошен Вью загорелся красный. Юра притормозил. В окно пассажирской дверцы постучала непотребного вида девка. Вадик вступил с ней в беседу. Девка желала отдаться за десять баксов. За группен-секс на пять персон Юра предложил два. Вадик сбил цену до доллара. Минуту спустя Юра со скованными руками уже томился в автобусе. Сопротивляющегося Вадика в него заталкивали. Ошеломлённые подружки крыли представителей бруклинского правопорядка русским матом. Мат встречал бурное сочувствие внутри автобуса. И полное непонимание снаружи.

Пятым в камере оказался благообразный джентльмен девяноста лет от роду. Представился он рэбом Иаковом, раввином местной синагоги. От полусотни остальных пострадавших рэб Иаков отличался разительно. Он, единственный из всех, по-русски не говорил. Полицейским произволом не возмущался. Желания вступить в греховную связь не отрицал.

Первые два часа за решёткой рэб провёл в молитвах. Но Всевышний не услышал блудного своего сына и из темницы не вызволил. Тогда рэб выругался на идиш. Подмигнул Фиме и повалился на пол.

Симуляцию эпилептического припадка рэб Иаков провёл необычайно талантливо. Минуты не прошло, как на издаваемые им звуки сбежался полицейский персонал. Камеру отперли. Рэб корчился в конвульсиях на полу. Хрипел, подвывал и пускал изо рта пену. Его суетливо погрузили на носилки и унесли прочь.

Вадику спектакль очень понравился. Едва вопли раввина стихли вдали, Вадик уже бился патлатой башкой о решётку. Рычал, плевался и сквернословил. Есть, однако, существенная разница между настоящим артистом и жалким подмастерьем. На звуки, производимые Вадиком, явился лишь двухметровый чёрный сержант. Он лениво ввалил по решётке дубинкой и обещал заняться симулянтом вплотную. Вадик притих.

- Что же делать? - растерянно канючил Фима. - Что же мне теперь делать?

Опытный Гриша заломил бровь.

- Ботинок, - проникновенно сказал он. - Утопитесь в параше, Ботинок. Или повесьтесь. Я смастерю вам отличный гробик. По знакомству - со скидкой.

- Я на свидание шёл, - в который раз объяснил Фима. - Что я теперь ей скажу?

- Удавитесь, и говорить не придётся.

Гриша оттянул за мошенничество пятилетку на сибирском лесоповале. К выкрутасам судьбы он относился философски. К жизни - скептически. К смерти - профессионально.

Ночь прошла в оживлённой дискуссии. Бодрствующие обитатели десятка камер судили нью-йоркскую полицию. Ей предъявили обвинения в невежестве, нерадивости и нетрадиционной ориентации. По первым двум пунктам полицию оправдали за недостаточностью улик. По третьему признали вину несомненной.

Наутро половых преступников одного за другим потянули на допрос. В участок заступила новая смена. Угольно-чёрного верзилу-сержанта сменил кефирно-белый близнец.

- Тягчайшее преступление, мистер Ботинок, - с прискорбием сообщил Фиме близнец. - Одно из самых тяжких. Искупать будете долго. Вплоть до пожизненного. Никакой адвокат не поможет.

Фима понял только свою фамилию и слово “адвокат”. Но общий смысл уловил. Ему стало страшно.

- Можете позвонить родственникам, мистер Ботинок, - снисходительно махнул ручищей сержант. - Кто знает, когда теперь с ними увидитесь. И увидитесь ли вообще. На разговор две минуты.

Старомодный обшарпанный аппарат на сержантском столе походил на издохшую каракатицу. У Фимы ходуном ходили руки. Заученный наизусть номер он набрал с четвёртой попытки.

- Это снова я, - скорбно сообщил в трубку Фима. - Мистер Ботинок из метро. Идиот. Только, умоляю, не разъединяйтесь. Мне некому больше звонить. Я шёл к вам, клянусь. И не дошёл. По пути я совершил преступление, - от жалости к себе Фима всхлипнул. - Теперь меня посадят. Срочно необходим адвокат. Какое преступление? Не уверен, какое. Нет, не убийство. Гораздо, гораздо хуже.

На другом конце линии разъединились. Фима заплакал.

- Раскаиваетесь, Ботинок? - обрадовался сержант. - Что ж, похвально. Вину свою признаёте?

Кроме собственной фамилии, Фима не понял ни слова. Утёр глаза.

- Нет, - на всякий случай сказал он. - Ноу.

- Напрасно. Ещё признаете. В камеру его!

В камере ждал обстоятельный, моложавый и опытный Гриша.

- Ботинок, вы осёл, - поведал он. - Легавого могила исправит, не знали? Лучше сыграть в ящик, чем поверить менту. Тоже не знали? Что совковому, что здешнему, что из Занзибара. Все менты одинаковы, чтоб им гробануться. Зачем вам адвокат, Ботинок? Вы знаете, сколько стоит адвокат? За эти деньги вы можете заказать мне пять небольших аккуратных гробиков. Даже полдюжины.

Фима опустился на нары.

- Не будет никакого адвоката, - уныло сказал он. - Я и вправду осёл. Делать ей нечего, только адвокатов мне нанимать.

- Кому “ей”? - уточнил Гриша.

Фима вздохнул.

- Ане. Или, может быть, Але. Возможно, даже Асе. Я не расслышал, как её зовут. Но это чудесная девушка.

\*\*\*

Девушку звали Агнией. Она жила в съёмной квартире на Непчун авеню. Вдвоём с мамой.

- Деточка, ты в своём уме? - в ужасе глотала валидол мама. - Какой адвокат? Какой ботинок? Зачем?!

Агния сама не знала, зачем. Ботинок шёл на встречу. И не с кем-нибудь там, а с нею. Шёл себе, значит, к ней и свернул не туда. В результате угодил за решётку. За преступление, которое хуже убийства. Не повредит, кстати, выяснить, что это за преступление. И почему преступник называет себя Ботинком.

- Это кличка, - твёрдо заявила мама. - Блатная. Я уверена. Ты связалась с блатарём! С уголовником! Может, даже с рецидивистом.

На уголовника Ботинок был не похож. На рецидивиста ещё меньше. Агния вздохнула. Раскрыла “Русскую рекламу”. От обилия адвокатов зарябило в глазах.

“Кац, Коган, Шапиро, - Агния воспрянула духом. Фамилии внушали оптимизм. - Перельмутер, Бронштейн, Зильберман”.

У Каца включился автоответчик. Приятный голос сообщил, что сегодня суббота. Выдержал многозначительную паузу и добавил: шаббес. В шаббес Кац не работал. Коган не работал тоже. Шапиро тем более. Агния пришла к выводу, что нет смысла звонить остальным.

“Мюллер”, - вслух считала она с газетной страницы. Новая фамилия вернула утраченный оптимизм. Агния приободрилась. Мюллер, гестапо, вспомнила она. В гестапо шаббес не соблюдали.

- Шефа нет на месте, - бодро отрапортовали у Мюллера. - Меня зовут Фёдор, я переводчик и секретарь. Можно просто Федя. Как-как, говорите? Ботинок? Не знаете, за что забрали? Ну дык сейчас узнаем. Не беспокойтесь, я вам перезвоню.

Минуту спустя Федя и вправду перезвонил.

- Плёвое дело, - жизнерадостно сообщил он. - Загремел ваш Ботинок…

- Он не мой, - перебила Агния. - Я его едва знаю.

- Нет проблем. Загремел не ваш Ботинок по половой части.

- Как это? - ахнула Агния.

- Как обычно. Сначала он снял проститутку. Потом его сняли с неё. Да вы не волнуйтесь: дело житейское. К тому же, вам повезло.

- Это я уже поняла, - признала Агния. - Неимоверно повезло.

- Ну дык. Мы с шефом как раз специализируемся по половой части. Без адвоката Ботинка затаскают по судам. Мало не покажется. А так - сегодня же будет на воле. В общем, берёте вы адвоката или нет?

- Беру, - обречённо выдохнула Агния, - куда деться. Сколько я вам должна?

\*\*\*

Субботнее солнце шпарило пуще пятничного. С утра пил на балконе горькую поэт-авангардист Соломон Перец. Дамского мастера Мирона Труса вела на поводке с пляжа болонка Хаим. Остальные Трусы поспевали следом. Зеленщик Изя из Одессы привычно лаялся с кубинским конкурентом Раулем. Из ресторана “Гамбринус” взашей выпроваживали посетителя. Того, что накануне выставили из ресторана “Татьяна”. Разленившиеся, откормленные береговые чайки хрипло выпрашивали подачки. На чаек осуждающе поглядывали деловитые и вечно голодные воробьи. А скованных наручниками половых каторжан конвоировали в суд.

- Выходили из избы, - неприязненно косился на дюжих конвоиров бывалый кандальник Гриша, - здоровенные жлобы. Порубили все дубы на гробы.

В здании суда было прохладно. Здесь собратьев по несчастью дожидался доставленный из больницы благообразный рэб Иаков. Девяностолетнего рэба развенчали. На поверку он оказался никаким не раввином. А, напротив, польским евреем Яшей, отчаянным безбожником и женолюбом. Яша бедовал в доме для престарелых на Кони Айленд. Он то и дело бегал оттуда в самоволки.

- С курвами у нас небогато, - признался Яша. - Дряхлые какие-то все. Некрасивые.

- Ботинок здесь? - зычный бас перекрыл Яшин дискант. - В комнату для свиданий! Вас ждёт адвокат Мюллер.

Мюллером оказалась белобрысая девчушка лет двадцати пяти. Секретарю и переводчику по имени Федя шеф гестапо едва доставала до плеча.

- Ты, Ботинок, настоящий сапог, - приветствовал Фиму Федя. - Кто же цепляет шлюх на Ошен Вью? В Манхэттен езжай, на Сорок Вторую.

- Шлюх? - повторил ошеломлённый Фима. - В Манхэттен?

- Ну дык. На Сорок Второй за двадцать баксов снимешь шикарную шмару. Ты мне верь. Я-то знаю.

Агния прекратила щебетать с Мюллер.

- Придержите язык, - прикрикнула она на переводчика-секретаря. - Тоже мне, специалист по половой части. Можно подумать, в Нью-Йорке нет порядочных девушек.

- Есть, - согласился Федя. - Но они обходятся гораздо дороже.

- Значит, так, мистер Ботинок, - приступила к обустройству линии обороны Мюллер. - Есть три пути. Первый - признать себя виновным. Тогда вас немедленно отпустят. Далее…

- Постойте, - оборвал Федин перевод Фима. - В самом деле отпустят? Правда? Ничего больше не надо! Признаю себя виновным.

- Ни в коем случае, - всплеснула руками Мюллер. - Тогда на вас заведут запись. В следующий раз попадётесь - пойдёте по сумме статей.

Фима сник. По сумме статей он не хотел.

- Второй путь - объявить себя невиновным. Тогда вас тоже сразу отпустят.

Фима приободрился.

- Знаете, меня это очень устраивает.

Мюллер укоризненно покачала головой.

- Не стыдно вам? Зачем тогда нанимать адвоката? Объявить себя невиновным может всякий дурак. Он потом несколько лет будет обивать пороги судов и топтаться по кабинетам. Обойдётся в копеечку, помимо всего. Ваш разговор с переодетой сотрудницей полиции, разумеется, записывался. Я его прослушала. Попробуйте, докажите теперь свою невиновность.

- Да как же?! - загорячился Фима. - Что тут доказывать? Идиоту же ясно, что я ни черта не понял.

- Идиоту, может быть, и ясно. А американскому суду - нет. Ему, наоборот, будет ясно, что вы намеревались вступить в половую связь. За деньги. Ещё и поторговались. В общем, есть третий путь. Признать себя виновным частично.

- Как это? - опешил Фима. - Как можно вступить в частичную половую связь?

Мюллер вздохнула.

- Американское правосудие - штука непростая, - поделилась профессиональным знанием она. - Вам надлежит отрицать, что собирались вступить. И признать, что виновны в оскорблении. Вы оскорбили сотрудницу полиции при исполнении.

- В каком смысле? Как это я её оскорбил?

- Вы её приняли за проститутку. Тем самым унизили её женское достоинство. Нанесли моральный ущерб. Но - небольшой.

- Понял, - мало что понял Фима. - И что мне за это будет?

- Да так - сущие пустяки. Отделаетесь общественными работами.

\*\*\*

Фима признал себя частично виновным. Две недели он махал метлой в Гарлеме на уборке улиц. Нажил мозоли. Научился без акцента произносить слова “фак” и “шит”. И убедился в том, что слухи о гарлемской ксенофобии явно преувеличены.

Яша признал себя виновным. В дом для престарелых его доставили с комфортом на казённой машине. Ещё на Яшу завели запись. Запись оказалась по счёту одиннадцатой.

Гриша объявил себя невиновным. Об этом он долго потом сожалел. Судебные издержки обошлись Грише в цену доброй полусотни новых, с иголки, гробов.

Прошло время. На Брайтон Бич мало что изменилось. В Фиминой жизни изменилось многое.

- Мальчик таки кончил на компьютер, - хвасталась соседям Фимина мама. - Он уже получил работу в банке. Теперь подумывает жениться. Представьте себе: на учительше. Конечно, не лучшая партия. Мог бы найти себе врачиху. Или, на худой конец, адвокатшу.

Февральский пятничный вечер на первый взгляд мало чем отличался от четвергового. Третьего дня Нью-Йорк на совесть засыпало снегом. Снегоуборочные машины смели его с проезжих частей на тротуары. Протоптанными в снегу обледенелыми тропами пробирались по тротуарам прохожие. Фима Ботинок спешил на свидание. Агния наконец-то рискнула пригласить его в гости и показать маме. Мама запаслась валидолом заранее.

Фима пересёк Ошен Вью. Заскользил дальше.

- Гоинаут? - догнал его хриплый голос за спиной.

Фима шарахнулся. Судорожно обернулся на голос. И облегчённо вздохнул.

- Йес, - честно признался Фима. - Я гоинаут. В принципе. Не очень часто.

Нескромное предложение исходило от старой потасканной наркоманки. Ничего общего с полицейской подставой. Фима приветливо помахал наркоманке рукой. И заспешил прочь.

8.Гончарова Марианна («Янкель инклоц ин барабан», «Натягивая тетиву»)

***Марианна Гончарова***

**ЯНКЕЛЬ, ИНКЛОЦ ИН БАРАБАН**

В нашем приграничном городке издавна в мире и понимании живут румыны и евреи, поляки и украинцы, и русские, и армяне, и татары. Все, кто сюда приезжает, остаётся здесь навеки. Потому что здесь место такое райское. Не знаю, живут ли здесь ангелы, но то, что они здесь частенько прогуливаются, отдыхая от своих забот, — это точно! Люди же у нас — просто чудо! Работать — так работать. Отдыхать — так отдыхать. Свадьбы — всю осень. А то и зимой. И весной. Круглый год свадьбы. А детей! Садиков не хватает! В школах тесно! Крови так перемешались, что никто уже точно и сказать не может, кто какой национальности. А о политике как-то никто и не задумывается. Некогда. Тут один кореец приехал к нам. И затеял организовывать общину корейскую — мол, община нацменшинств, — стал корейские права качать: мол, мы великий народ, корейцы! Сам себя председателем общины назначил, а в общине жена его Ли, специалист по тёртой морковке, и два сына — ой, умру сейчас! — Чук и Гек, симпатичные такие. Круглолицые. Как коряки. Кстати, у нас и коряки есть. Тут одна учительница говорит мамаше на родительском собрании: ваша дочь щурится всё время, ей надо бы зрение проверить, мамаша. А мамаша как возмутится: какое ещё там зрение?! — и с гордостью: «Коряки мы!» Вот так вот можно впросак у нас в городе попасть.

Ну — вышел наш кореец к мэрии. С флагом и плакатом: мол, дайте помещение для офиса общине корейского народа здесь, у вас, на границе с Румынией, Молдавией, Приднестровьем и прочими окнами в Европу. А на него никто и внимания не стал обращать, все заняты. Только Таджимуратов Таджимурат Таджимуратович, уважаемый наш единственный узбек, мудрый человек, пошли ему его аллах многих дней жизни, подошёл к нему и деликатно пристыдил: и как тебе не стыдно, уважаемый кореец? Люди вон работают все, а ты тут бездельничаешь, давай иди яблоки-семеренки собирай, вон они ветки обламывают своей тяжестью. Ну кореец тот и не прижился у нас.   
Уехал куда-то дальше митинговать. А потом оказалось, что флаг-то у него вовсе и не корейский был. А Бангладеш. Мы все потом месяц озадаченные ходили, — где он его взял, интересно.

Прошёл у нас тут как-то слух, что продают погранзаставу. У нас ведь всё продают: заводы, корабли, танки… Реверансы делают в сторону демократии, воздушные поцелуйчики посылают, а сами тихонько продают, продают, продают… Вот кто-то и сказал вечером в ресторанчике «Извораш» («Ручеёк» по-русски) за пивом: а слышали — заставу продают? Народ у нас хозяйственный, предприимчивый, денежный — побежал интересоваться, а за сколько? С пограничниками или без? И продают ли с заставой кусочек границы? Коридорчик. Маленький такой, сантиметров двадцать, чтоб хватило сгонять в Румынию и назад. На цыпочках — топ-топ-топ легонько, туда и назад. Кусочек в виде бонуса к заставе, нет?

Начальник заставы капитан Бережной как увидел толпу у ворот — заставу в ружьё, стал своему генералу звонить: мол, тут митинг какой-то, революция, непонятно чего хотят… Когда выяснили, разогнали всех по домам. Народ разочарованный ушёл, хотелось им не столько заставу, сколько тропиночку в Румынию прикупить. У многих это давняя была мечта — такую тропку иметь. А всё потому, что когда Молотов и Риббентроп земли как яблочный пирог делили, о людях совсем не думали, семьи разделили так запросто. В Румынии мать осталась, в Украине — дети, или с одной стороны Прута один брат, с другой второй… Как, например, Янкель Козовский и его брат Матвей. Оба прекрасные потомственные музыканты. И отец их был аккордеонист знатный, и дед играл и на трубе, и на сопилке, на свирели, на окарине. А най у него звучал!.. Так сейчас и не играют вовсе. Сам король Румынии Штефан и супруга его приезжали слушать его най… А брат отца Янкеля и Матвея как-то в Ленинграде по случаю играл на саксофоне знаменитому саксофонисту, — знаете, такому бородатому, эффектному, модному тогда. И что? Тот такую мелодию не то что на саксофоне своём золотом, не то что языком, губами и дыханием — он пальцами на фортепиано сыграть не смог! Потому что техника у Козовских была фантастическая, и четверть тона могли! Вот как! Такую вот семью, такой вот семейный оркестр разделили границей и не задумались…

Сейчас-то Янкель совсем старый уже. А бывало — лет двадцать, двадцать пять назад — подъедет на велосипеде к самой границе, выйдет на берег Прута в условленное время, а с другой стороны реки — Матвей. Покричат друг другу:

— Эй! Как дела, Янкель?!

— Дела — хорошо! Как мама?!

— Мама скучает, тебя хочет видеть, Янкель, может, приедешь?! Я оплачу. Поиграть бы нам ещё вместе, а?! Янкель?!

— Эх, поиграть бы! Хорошо! Присылай вызов!

— Что?

— Вызов, говорю! Приглашение, говорю, присылай, говорю!

Ну и потом волокита: пока вызов придёт, пока Янкель все документы соберёт, характеристики подпишет, с этими бумагами в Киев или в Москву едет, чтоб визу открыть, паспорт получить. Потом через месяц опять к Пруту выходит.

— Матве-ей! Матвей! Отказали мне!

— Что?!

— Говорю, от-ка-за-ли мне! Приведи маму к реке на следующей неделе. Маму видеть хочу!

— Что?!

— Маму! Маму приведи сюда!

И через неделю со всеми предосторожностями приводят под руки старенькую маму, Еву Наумовну, к Пруту. А мама плохо видит и плохо слышит уже. Ей одолжили у румынских пограничников бинокль. Она смотрит в бинокль, не понимает, как в него смотреть, видит на том берегу фигурку своего младшего сына, а ни лица рассмотреть не может, ни услышать, а уж обнять — и подавно!

— Янкель! Вот мама пришла! Вот мама!

— Мама! Как ты себя чувствуешь, мама?!

Матвей наклоняется к маме, кричит ей: вон Янкель, мама, спрашивает, как ты себя чувствуешь, мама! Мама что-то отвечает Матвею. Матвей кричит через реку:

— Ма-ма го-во-рит, что хо-ро-шо! Себя! Чувствует! Только по тебе скучает очень!!!

Янкель видит, что мама руками лицо закрыла.

— Матвей! Матвей! Что мама говорит?! Что она говорит?!

— Пла-ачет она! Мама пла-ачет! Тебя очень видеть хочет. А в бинокль не ви-и-идно! Не видит она в бино-о-окль! Говорит, хочет услышать, как мы с тобой играем! Напоследок услышать хочет!!!

Янкель огорчается, грустит и, конечно, выпивает. Не выпьешь тут… Первое лекарство от огорчения…

Да, наш небольшой многонациональный и вполне респектабельный городок издавна славился и своими пьяницами. Потому что, как вы уже видите, это не какие-нибудь обычные пропойцы, как в других городах. Ну что вы! Наши пьяницы — это очень талантливый народ: музыканты, художники, актёры, зодчие… Пьянство — как бы понятнее объяснить — это часть их одарённой мятущейся натуры. Бывало, выпьет один такой утром — бац! — и проснулся в нём гений! Эх, сейчас бы за работу! Но нет. Выпьет ещё разок — щёлк! — гений икнул и покинул мятущуюся душу. И художник тянет своё бесполезное, ни на что не годное тело в мастерскую при Калиновском рынке, где подвизается оформителем, пишет объявления типа «Карандаши от тараканов! Три на рубль!» Зодчий нанимается на плиточно-мозаичные работы по отделке декоративного фонтана в местном санатории, актёр вместе с такими же изображает толпу зевак на заднем плане, музыкант собирает в чемодан гнилую аппаратуру и едет на халтуру в село Жабье Ивано-Франковской области играть на свадьбе дочери местного участкового.

Не то наш Янкель. Он, как и все его предки, играет практически на всех инструментах, независимо от количества выпитого. Но так, как он играет на барабанах, не играет никто! Никто! Гарантирую вам.

И каждую субботу, когда инструменты расставлены и все они, музыканты, кое-как накормлены и — конечно! — напоены хозяевами, вот уж который год он слышит одну и ту же фразу от руководителя их группы, старого аккордеониста Миши Караниды (а говорят они, наши музыканты, на такой певучей смеси румынского, идиш и русского, что ни один лингвист не разберёт такой диалект):

— Янкель! Вставай из-за стола уже, Янкель! Пошли работать. Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат! (Ударь в барабан и поехали!)

Янкель даёт мелкую рассыпчатую дробь на барабане, и оркестр начинает свой рабочий вечер, переходящий в ночь, а нередко — и в серое утро.

Как-то Янкель окончательно рассорился с женой, с мамой жены и с тётей жены тоже рассорился. Причину ссоры стороны рассматривали по-разному. Жена, мама жены и тётя жены ссорились с Янкелем из-за его пьянства и нежелания подсуетиться и ехать в Румынию к брату Матвею на постоянное жительство. Янкель же считал, что они, — все эти ведьмы, эти кобры, — что они попросту антисемитки. По линии тёти. Потому что по своей линии они всё же немножко Шустеры и немножко Цибермановские. А тётя у них — да! Онопенко Оксана! Хоть и по мужу Шустер.

— Антисемиты! Антисемиты вы! — кричал Янкель.

— Как ты такое можешь говорить?! Что ты за слова говоришь?! Мне! В моём возрасте! В моём доме! — возмущалась мама жены Янкеля. — Янкель, ты бессовестный, Янкель. Что это за такие слова?! Чтоб этого больше не было! Чтоб ноги этих слов в моём доме не было! И твоей ноги тоже! Чтоб!

— Очень надо мне. Очень надо мне мои ноги в вашу хату! Очень мне надо!!! — дразнился Янкель. — И вообще, ваша дочь Неля распущенная, как я не знаю! Она курит! Поняли вы, мама?

— Ну и что?! — парировала мама жены Янкеля. — Не знаю, не знаю! Курит… Я тебе отдавала приличную девочку. Двадцать лет. Шестьдесят килограмм. Высшее образование. Без вэ пэ. А что ты с ней сделал за эти годы? Её же не узнать! Вот — уже курит. Что ты сделал с моей девочкой, я тебя спрашиваю, что она уже курит?!

Тут вступала жена Янкеля Неля:

— Все нормальные люди давно куда-нибудь уехали. Я не прошу Америку, я не прошу Израиль, — я хочу к Матвею в Румынию. Что мы тут видим? Пустые прилавки? А в Румынии — кофточки. В Румынии — еда. В Румынии — обувь, в Румынии — всё! Ты столько зарабатываешь на своих халтурах, если бы ты всё не пропивал со своими подлыми друзьями, мы бы уже давно жили в Бухаресте!

Сколько Янкель ездил в Киев, покоряясь жене своей меркантильной, сколько собирал характеристики, справки, что он не иждивенец, что он работает учителем в музыкальной школе по классу духовых инструментов… Даже взял в колхозе справку, что работает руководителем хора-ланки. О! Хор-ланка. То есть хор-звено. Вот кошмар. Это такую моду придумали райкомы на местах, чтоб были хоры-ланки. Это вот как: есть, например, звено колхозниц, работает на огородной бригаде, работает очень тяжело, в любую погоду, пропалывает или собирает, например, свёклу или кукурузу. А надо ещё чтоб они в свободное время пели в вышитых сорочках и венках с лентами. В девичьих венках. В пятьдесят лет. С золотыми фиксами во рту. Наталки-полтавки… Но надо! Надо чтоб пели «Вербовую дощечку» или «Полем-полем край села…» Нет, ну кому охота петь после такого тяжкого дня, когда ещё дома полно забот: дети, корова, свиньи, куры, сад, огород… Ну и набирали в такие хоры, чтоб угодить райкому, кого придётся, бывало и старшеклассники покрупнее габаритами в таких хорах пели. Однажды мы чуть от смеха не лопнули, когда Виталий Уласюк в таком вот хоре по поручению комсомольской организации пел. Один мужчина на всю ланку. Наш Виталий Уласюк, — кстати, впоследствии, через десяток лет после участия в хоре-ланке, он стал лауреатом государственной премии в области прикладной математики, — пел под видом слесаря тракторной бригады. Недавно встреча его класса была, хотели ему хор-ланку напомнить, так он телеграмму прислал загадочную «Мысленно вами симпозиуме Японии».

Да. Так вот Янкель и взял такую вот справку, как бы доказывая свою благонадёжность и лояльность по отношению к существующему строю. А его опять не выпускают. Совсем он закручинился. Просто запил, проще говоря. И на команду Миши Караниды «Янкель, инклоц ин барабан!» без энтузиазма реагировал. И даже играть стал хуже. Хотя играть мог в любом состоянии. А всё почему? К маме хотел. Хотел к маме. Понимаете? Вот вы понимаете, а почему же тогдашние власти не понимали? Не понимали, как взрослый, небритый, толстый грустный дядька остро скучает по маме. А тут опять Матвей заорал на берегу Прута: мол, маме совсем худо! Худо! Хочет, чтоб мы сыграли напоследок!

— Что?! Что?!

— Я ей наигрываю на скрипке, но она говорит: не то, не то… Хочет, чтоб с тобой!

— Ладно! — решил Янкель. — Ладно. В следующее воскресенье вывози маму к Пруту, лишь бы ветра не было.

— Что ты задумал, Янкель?! Не вздумай переплывать, Янкель! Тебя погранцы захапают, и мы не сможем выходить к тебе сюда на берег Прута, нас же не пропустят больше!

— Та не-ет! — досадливо отмахнулся Янкель. — Та не буду я плыть! Я — другое!

— Что?!

— Ничего! Короче, вывози маму! Всё!

Хорошие люди музыканты, правильные люди. Вот где была настоящая дружба народов, вот где была солидарность. Вот где был мир, труд и май! Все и так знали положение Янкеля, и его жену — антисемитку по тёте, и его тёщу, и то, что не выпускают Янкеля к брату в Румынию, и то, что Еве Наумовне стало совсем худо. Уж кого они там, на погранзаставе, уговорили, кого подкупили — не знаю, но в следующее воскресенье на берегу Прута, прямо на границе, выстроился оркестр.

Там были чуть ли не все музыканты, зарегистрированные, чтоб их не считали тунеядцами, в ОМА (Объединении музыкальных ансамблей). Молдаване, евреи, цыгане, украинцы, русские, поляки, немцы… да кто там был ещё — всех не перечислишь. Многие из них, кстати, пожертвовали халтурами — воскресенье же — и потеряли при этом кучу денег. Но кто там считал! Главное, что Ева Наумовна хотела послушать музыку в исполнении своего сына Янкеля, а это важнее, чем какие-то там сто рублей. Выставили аппаратуру, дорогущую по тем временам, не дешевле автомобиля, не пожалели, лучшую привезли — и установили на берегу Прута. К какой-то машине подключили. Где достали? Ну, словом, все помогали. Даже пограничники с нашей стороны. И знаете — даже Бог постарался, вник: ветер дул   
как раз с нашей стороны Прута на румынскую.

Ждать пришлось недолго. Вот и машина к Пруту подъехала, аккуратно высадили Еву Наумовну, кресло ей поставили раскладное, а Матвей вытащил скрипку из футляра, помахал приветственно музыкантам на нашем берегу.

Ну разве смогу я описать привычными словами всё, что было потом? Разве можно словами описать музыку? Или настроение? Или состояние? Разве можно описать то счастье и радость по обе стороны Прута? Это надо было там присутствовать. Нет, это слушать надо было. Как Миша Каранида дал команду: «Янкель! Ну?! Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат!!!» — и заиграл этот импровизированный оркестр для мамы Янкеля.

Как же они играли! И «Дойну», и «Фрейлакс», и танец польских кавалеров «Краковяк», и «Рула-тирула», и «Мейделе, мейделе». Матвей, весело пританцовывая, подыгрывал из Румынии. А кто-то смотрел на ту сторону в бинокль и комментировал:

— Смеётся! Ева Наумовна смеётся!

— Ева Наумовна плачет, слёзы вытирает!

— Ева Наумовна руками! Руками танцует! Танцует руками и плечами, Янкель! И головой танцует, Янкель, под музыку! И смеётся! И плачет, Янкель!!!

А Янкель знай наяривал, лупил по барабанам и подпрыгивал под музыку, чтобы угодить своей маме, танцующей руками на той стороне, в Румынии…

Вот такая вот история. Давным-давно ушла мама Янкеля и Матвея в другой мир. Теперь Янкель спокойно может съездить к брату в Румынию, — по новым законам это очень легко и можно поехать в любое время. И Матвей сюда к нам приезжал, с музыкантами встречался, играли вместе… Понравилось ему тут у нас. У нас ведь очень хорошо. Рай практически. Все люди, живущие здесь, уверены, что даже если ангелы тут и не живут, то, отдыхая от своих забот, частенько прогуливаются…

**Натягивая тетиву**

Молодой король вышел на поляну и умер на глазах у челяди. И не просто так упал и все. А перед этим взял арбалет, натянул тетиву, прицелился… и вот тут вот -- всё.

Нет, ну, конечно, говорили потом, что отравили мол короля другие наследники на престол, и что вышел он на лужайку уже совсем больной. Но ведь умирать же он не собирался. У него были планы. Государство. Реформы. Любовь, наверное. Была. Наверняка была. Он даже не успел проститься с товарищами как Робин Гуд, лучший стрелок из лука, рыцарь Шервудского леса.

Он просто натянул тетиву. И душа его отлетела.

Я где-то об этом прочла. И не давала покоя мысль, что многие вот так – ставили перед собой цель, натягивали, образно говоря, тетиву, предполагая, что выстрелов будет еще много, что стрелы попадут в цель, ну, или хотя бы упадут где-то рядом. Ведь, как кто-то говорил, если ты наметил приземлиться на Луне, но не долетел, ты все равно оказался среди звезд, а это уже результат…

\*

-- Что ты такой редкий у нас гость, генерал Игорь? – спрашивал мой трехлетний сын, -- пойдем быстрей, у меня есть новая машина. На пульте! Ну пойдем! -- нетерпеливо тянул Даня Игоря за руку,

Игорь с удовольствием шел за Данькой в детскую смотреть машину на пульте. Добрый человек и сам -- абсолютный мальчишка. Данька страшно гордился знакомством с Карой, хвастался повсюду, что у него есть друг генерал, хотя на самом деле Кара тогда был вовсе не генерал, а капитан. Данька страшно хотел быть как он. Наверное, эта симпатия, уважение, восхищение и мужская дружба на равных сыграла главную роль в выборе Данькой будущей профессии. Сегодня мой сын – военный переводчик. Как Игорь.

-- В армии, поверь мне, очень много умных людей, -- убеждал нас Игорь, -- а дураков – мало. Но… Их, дураков, почему-то расставляют так, что они встречаются на каждом шагу.

А в юности у Игоря было редкая способность – он очень заразительно смеялся и при этом плакал. Смеялся так, что валился на пол, держась за живот. Слезы натурально лились из глаз. Так его душа откликалась на радость.

Мы еще в детстве предполагали, что он, парень из очень хорошей благополучной семьи, сделает серьезную карьеру: и в силу своей образованности, хорошего воспитания, личного обаяния и открытого радостного отношения к людям, станет большим человеком. Мы представляли его то в смокинге на дипломатическом приеме, то в строгом костюме на большой трибуне, то в бархатном елизаветинском камзоле на сцене столичного театра, то на экране телевидения. Но никто из нас, его друзей, никогда не думал, что сначала сапоги, а потом берцы сотрут в кровь и искалечат навсегда его ноги, что от него будут зависеть жизни сотен восемнадцатилетних мальчишек, что он – наш веселый, легко шагающий по жизни друг – будешь кочевать по Союзу, а потом и по постсоветскому пространству – с верной Таней и двумя детьми – из гарнизона в гарнизон, со съемной квартиры на съемную квартиру – и только к пятидесяти годам уже в чине полковника, наконец, получит свое собственное жилье. И спустя какое-то время, уже не имея возможности чему-то порадоваться, перенесет множество операций и умрет.

Кара -- это имя. Верней, фамилия. Болгарская фамилия. Она ему очень шла, несмотря на то, что он был миролюбивый и дружелюбный. Но очень справедливый.

Он украл меня с моей собственной свадьбы. Нет, совсем не для того, чтобы на мне жениться. Он и его невеста Таня украли меня с моей собственной свадьбы, чтобы было весело. И было весело. Ну сначала.

Мы учились с ними в одной школе, были друзьями, вместе проводили свободное время, много разговаривали, пели и смеялись. Когда родилась его сестра, он собрал полгорода подростков, одноклассников, друзей, друзей своих друзей и вся эта колонна пошла к роддому и выстроилась под окнами. От радостного крика под окном проснулись и заквакали младенцы, главный врач вызвал милицию, но мы стояли до тех пор, пока нам не показали Ирку – кулек с красненькой сморщенной мордашечкой.

-- Не, ну правда, красивый малыш? Правда ведь? А? – требовал немедленно признать безупречную красоту своей сестры Игорь.

Вереща и подвывая, к роддому подъехал милицейский уазик, стремительно распахнулась дверь, из машины вывалился счастливый майор милиции, отец Игоря и новенькой девочки-красавицы Ирки, как мы звали его все, дядя Миша. Дядя Миша, Михал Петрович, крепкий, хозяйственный, обаятельный, веселый, а временами очень грозный дядя Миша, заведовал детской комнатой милиции и всё городское хулиганье почтительно и опасливо приподымало свои засаленные кепочки при встрече с ним. Дядя Миша велел нам орать еще громче и сам приветственно размахивал гигантским букетом, который не разрешили пронести в палату, где находилась мама Игоря и Ирочки, из соображений гигиены. Главный врач роддома разводил руками, прижимал их к сердцу и в окно с четвертого этажа подавал дяде Мише и нам знаки, мол, тише, тише.

Когда мы повзрослели, я помню, как мы таскали Ирку за собой повсюду. Она, послушная и хорошенькая, белокожая, рыжеволосая, такая красавица, что все только плевались, чтобы не наврочить, как у нас говорят, слушалась нас во всем. И совсем недавно мы в компании вспоминали, как двенадцать человек, а Игорь с Иркой на коленях, с Иркой которую на него оставили родители, влезли в один москвич и мотались по грунтовым дорогам, склонам и горам и все-все старались, чтобы Ирка сидела с комфортом и была в безопасности. Главный вопрос нашей компании был:

-- Где ребенок?

А беспечная малышка весело и громко рассказывала: «Приходи к нему лечицца, и зайчица, и волчица, и жучица с медведИцей, и комарик с муравьицей…

Не помню, чтобы мы переписывались после окончания школы, но как только попадали в родной город одновременно первым делом неслись друг к другу узнать, поделиться, увидеться, обняться, отдохнуть душой.

Так вот, Игорь и его девушка Таня, а также несколько друзей украли меня с моей собственной свадьбы, кинули в машину и увезли. Танька водила машину чуть ли ни с рождения. Нет, вру – примерно в полтора года, как только начала ходить, она приковыляла к машине, села на водительское место, вцепилась в руль и сказала: «бзвжжжж» Она была младшая, любимая, поздняя дочь, и первое, что Танька вербализовала в полтора года было не «мама», не «папа», а «дай ууль». И Танькин отец тут же взялся ее обучать. Короче, вот эта вот команда навалилась на меня в зале, когда я отрешенно, надменно и медленно плыла с кем-то в танце, завернула в какую-то тряпку, кинула в Танькин автомобиль и увезла куда глаза глядят. Глаза похитителей смотрели вдаль, но, как выяснилось, не очень далеко, во двор нашей школы. Меня с криком и хохотом выгрузили в школьном саду, размотали… и потом не знали, что дальше со мной делать. Танька уехала искать моего жениха, типа, а вот он меня и освободит из кощеевых лап, хотя тот, не обнаружив меня, собрался уже уходить с собственной свадьбы, тем более, бабушка его, которая всегда и во всем считала себя главной, спокойно собралась и сказала:

-- Ну что, внучок, попытка -- не пытка. Пошли домой, будем искать что-нибудь получше.

И вот в то время, когда моего юного мужа уводили как телка на веревке и уговаривали не упираться, а поискать другую девушку, мы с Карой сидели на лавочке в темном школьном дворе. Ему было чуть неловко. Раньше-то ведь как: он в джинсах, я в джинсах. Сидим, два приятеля, треплемся, от одного яблока по очереди откусываем. А тут он торжественный в нарядных брюках и новенькой “бобочке”, а я вообще – не свой парень, а непонятно кто в дурацком подвенечном наряде и в белой занавеске с фальшивым венком, как это в красивых книгах, флердоранжем, на голове. Кукла на чайник примерно. Скажите, о чем можно поговорить с куклой на чайнике? Короче, мы сидели, неловко молчали, вздыхали, болтали о всяком несущественном, и просто радовались лету, молодости, и нашей общей глупости. Потом, конечно, мы все трое получили по шее. Больше всех Игорь. Я была невестой, персоной грата. Таня – подругой невесты. Ей прощалось, тем более, что она пустила следствие по ложному следу, мол, ехала меня искать и спасать. А Игорь же в тот вечер, как всем было с самого начала ясно, организатор затеи с воровством, огреб по полной. Но у настоящих мужчин ведь ссора как начинается, так и оканчивается – бокальчик хорошего старого коньяку, крепкое рукопожатие и вопрос: «Ну как наши вчера с бразильцами? Да?» Так и случилось. С отношениями между женщинами – гораздо сложнее. Бабушка жениха со мной не разговаривала потом всю жизнь и если видела какую-нибудь милую скромную девушку обязательно говорила в пространство, косясь на меня или своего непослушного внука: «А от оця девучка мени наравиця. От наравиця и усё!» То есть, вот эта – мне нравится, а твоя, внучок – фу! И Игорь, между прочим, при редких наших встречах тоже повторял в утешение эту фразу вместо приветствия, приобнимая и похлопывая по плечу, он говорил мне: «А от оця девучка мени наравиця»

Когда моему сыну исполнилось пять месяцев, Игорь с Таней, уже муж и жена, неожиданно заскочили к нам попрощаться перед отъездом. Сначала мялись, переглядывались, как будто молча советовались друг с другом, потом признались, взяв с нас клятву, что ни маме Игоря, ни Таниной маме мы ничего не скажем. Мы поклялись. Оказалось, что Игоря отправляют в Афганистан. Зачем надо было отправлять в Афганистан военного референта-переводчика с китайского, мы в тот момент не задумывались. Мы просто молчали, потрясенные и напуганные, осознавая, как хороша и спокойна наша жизнь, и как страшно на наших глазах меняется судьба любимых друзей, Игоря и Таньки, что война совсем рядом и главное, с какой легкостью и уверенностью они заверяют нас, что все будет хорошо, повторяя: «вы пообещали, мамам -- ни слова, мы же друзья!».

Ах боже мой, какая же из них -- Тани с Игорем -- радостных смешливых, красивых и счастливых своей расцветающей любовью -- получилась уникальная дружная команда

Игорь тогда искренне любовался нашим ребенком и повторил то же, что более десятка лет назад говорил про свою сестру Ирочку: “Какой красивый малыш”

-- Особенно… – добавил тогда старший лейтенант Кара, когда я сняла с Даньки кружевной чепчик,-- особенно… -- Игорь осторожно погладил малыша по теплой нежной макушке, -- особенно, когда он без *головного убора*.

Они посидели у нас часа два. Все это время Таня держала на коленях Даньку, трясла, гладила, поила водой из бутылочки, тискала его и уговаривала: Данечка, пописай, ну пописай! Потому что верила, что если малыш описает того, на чьих коленях сидит, у того (в нашем случае -- у Таньки) тоже будет ребенок. А в то смутное время, офицеров, у которых был или должен был родиться ребенок, уже не отправляли в горячие точки, и Таня на это очень надеялась, хотя и боялась сказать вслух. Данька внимательно посмотрел Тане в лицо своими глубокими шоколадными глазами, покряхтел и ответственно описал Танину юбку. Через несколько месяцев Таня прислала телеграмму откуда-то из Узбекистана. Телеграмма гласила: «спасибо даньке воскл»

Так что мой сын был одним из ангелов, который хоть и своеобразно, но поучаствовал в судьбе ребенка -- девочки Оли, в будущем -- лучшего друга нашего Игоря, обожаемой умной и понимающей папиной дочки.

А Михал Петрович сказал нам при встрече, что поскольку семья Кара ждала ребенка, то Игоря оставили в Термезе, в самой жаркой, но все-таки не в самой горячей точке тогдашнего Советского Союза. Военный переводчик, белая кость, рафинированный интеллигент Игорь Кара стал готовить солдат для службы в Афганистане. И сейчас я, да и не только я, понимаю, что он учил солдат не как воевать, не как убивать. Он учил их как выживать. Именно поэтому все мальчишки, которых он обучал, а их было довольно много, ВСЕ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ.

Он много читал и у него были какие-то романтические представления о профессии, которую как оказалось, он выбрал давно. И тайно о ней мечтал. Он хотел быть именно военным переводчиком. Поразительно, но у нормальных людей представления в период, который пришелся на нашу юность, были таковы, что все должно было быть честно. Не искали знакомств и связей. И в первый после школы год Игорь не поступил и, такой изысканный и талантливый, с его тонкими руками и светлым умом, пошел работать простым рабочим. Если мне не изменяет память, он работал где-то в котельной и в свободное время продолжал готовиться к поступлению в военный институт иностранных языков.

В училище Игорь отчаянно нарушал дисциплину и ходил в самоволки. Еще и уводил за собой весь взвод. Ребята удирали через забор… в театры, в музеи и на концерты. А где-то на втором курсе или третьем Игорь влюбился в Таньку. Очень искренний, не терпящий пафоса или сюсюканья, он стал звать ее Заяц.

-- Как-как? – спросила я ехидно, -- Заааайка?

-- Какой еще зайка, Гончарова, ты дура? Таня – Заяц. Отличный надежный прекрасный лучший на свете девушка-Заяц.

После окончания военного училища его сразу отправили под Ташкент, в поселок Азатбаш. В резерв сороковой армии. На пополнение некомплекта. Такое казённое ничего не объясняющее обычному мирному невоенному человеку словосочетание тогда означало страшную процедуру. Азатбаш находился на границе с Афганистаном. И когда, как там было принято говорить, «за речкой» погибал офицер, то есть, получался «некомплект», жуткие бюрократические слова, за которыми стоят жизни, семьи, нерожденные дети, прерванные семейные династии, усохшие ветви фамильных деревьев… Так вот, когда случался «некомплект», вместо погибшего посылали кого-то из резерва, то есть, кого-то из этих вот зеленых выпускников. Кто-то погибал и на это место посылали новую жизнь. Понимая, что может не успеть и его пошлют «за речку», Игорь взял какие-то десять дней, положенные для переезда и улаживания всяких семейных дел, приехал домой, и сделал Зайцу предложение. Мы и смеялись, и плакали, и недоумевали, потому что всегда находчивый остроумный ироничный Игорь отчаянно переживал, и когда пришла в назначенное время взволнованная, но ужасно смешливая юная женщина-Заяц, он вдруг стал заикаться, растерялся, выбирая, на какое колено опуститься и в результате бухнулся на оба. Танька стала нервно хохотать, мы затихли и боялись, что сейчас все сорвется, а Игорь приговаривал:

-- Ну Заяц, это… Заяц, ну ты послушай.

И вдруг громким командным голосом приказал:

-- Тишина в строю!

Танька от неожиданности замолчала и только тихонько икнула.

Игорь глубоко вздохнул и торжественным металлическим неестественным голосом произнес:

-- Татьяна! Будь моим… Зайцем!

И под наш хохот уселся на пол, абсолютно потерянный, чувствуя провал. Мы все ржали как дураки какие-то, а Танька вдруг всхлипнула и так ужасно разревелась, ну ужасно, кинулась к нему, сидящему на полу, к обиженному и расстроенному и обняла его голову. Мы пристыженные тихо вышли из комнаты. Сейчас я думаю, что Танька, чуткая прозорливая, все увидела сразу – свадьбу, Узбекистан, Таджикистан, рождение Оли, потом Сергея, нестерпимую жару, невыносимый быт съемных квартир, разное отношение людей, переезды, переезды, переезды, чемоданы, ящики, коробки, самолеты, разлуки, бесконечные ожидания. Увидела, как ее, нарядную в легком шифоновом платье силой запихивают в машину ее же сотрудники по работе в Термезе, люди, которых Игорь считал своими друзьями, и только случайность помогла ей выскользнуть и сбежать. Увидела ребят, девятнадцатилетних бойцов, с которыми Игорь во время учебы и тренировок обходился, как сначала показалось жестко и бескомпромиссно. А потом оказалось, что правильно – они все вернулись из Афганистана живыми. Увидела погромы конца восьмидесятых и Рустама, владельца чайханы, который пришел к ним поздно вечером: «Уезжай, Игорь – сказал он – уезжайте все. Я могу спрятать твою семью на неделю-две, но если узнают -- зарежут и тебя, и меня, и всю мою семью». Боя увидела, большую собаку овчарку, родного преданного отважного Боя, безропотно разделившего с семьей все тяготы офицерской семьи: переезды, чужие города, чужих недружелюбных людей. Увидела дружбу его заботливую с детьми и его тяжелый уход.

Увидела болезнь Игоря и десятки операций. Увидела его замечательных ребят, бывших бойцов в одинаковых майках с названием роты, собравшихся в их квартире. Услышала радостный смех, галдеж, песни замечательного верного Васи Рыбалко.

Увидела себя, смертельно уставшую, во дворе клиники, толкающую тяжелую каталку с лежащим на ней Игорем, еще под наркозом после очередной операции в хорошей клинике, где и сегодня работают блистательные хирурги, но санитаров даже за большие деньги не найти. И как Игорь заваливался безвольно то на один бок, то на другой с этой каталки, и Танька держала его, как будто у нее было десять рук и богатырская сила. И каждый камешек увидела, и каждую ямку или выбоину в старом асфальте больничного двора увидела.

Увидела, как приехали в начале мая в Киев на традиционный сбор бывшие бойцы-афганцы – веселый певучий Вася, гигантский Римас, добродушный Серёга, уже солидные, уверенные, возмужалые. Как в последний раз тихо прошли они все в комнату к Игорю – прощаться. И какой Игорь уже был нерадостный и все понимал. Как уходили ребята подавленные, молчаливые, осиротевшие растерянные как дети.

Увидела и тот день, когда в дом по вызову ввалилась недовольная хамоватая врач скорой, несчастная замотанная женщина, и слишком энергично, слишком громко и скандально для медика неотложной помощи, слишком оглушительно для квартиры, где находится тяжелый больной и где привыкли говорить тихо, потому что и сам Игорь уже был так слаб, что говорил шепотом, рявкнула, тыкая пальцем в полулежащего в кресле полковника Кару:

-- Зачем вы нас вызвали? Кого тут везти в госпиталь?! Мы же его не довезем!

А фельдшер стоял за спиной врача, безучастный, равнодушный и зевал. И потом они оба ушли, хлопнув входной дверью.

-- Сволочи, -- бессильно хрипло шептал Игорь, -- какие сволочи!

Танька увидела себя, присевшую на колени рядом с Игорем и услышала то, как она сама ласково даже весело говорит:

--Карик, ну что ты, мало ли идиотов, не беспокойся, я сейчас привезу врача. Он волшебник. Я вчера еще договорилась. Он ждет. Поверь мне и будь спокоен, я быстро. Ты же меня знаешь, я же твой верный Заяц. Жди.

И пока она мчалась к машине и ехала куда-то, быстро высчитывая, в какую клинику ехать, кого, какого врача везти, где взять денег, чтобы заплатить за уже бесполезный визит, её Карик, наш Игорь умер.

Танька-Заяц увидела, как она выехала на обочину, заглушила мотор, вышла из машины, опустилась на колени точно так же как и сейчас, после этого дурацкого предложения быть его верным Зайцем, опустилась в пыль и закричала. А через минуту позвонила ее свекровь и сказала:

-- Возвращайся, Таня, возвращайся.

Танька-Заяц увидела, как в счастливый день их с Игорем свадьбы, мой муж Кузьмич подарил Игорю старинную монету. Петровский пятак. На удачу. И как Игорь все время носил этот пятак в левом нагрудном кармане, с упорством перекладывая его из кителя в китель, из гимнастерки в гимнастерку. Увидела, как вкладывает она сама этот пятак во внутренний карман последнего его мундира. Мундира, в котором Игоря хоронили.

Это все и многое другое, о чем ни я, ни кто-то другой никогда не узнаем, увидела Танька- верный Заяц. Увидела тогда, в1982 году, обнимая голову своего юного лейтенанта, так нелепо искренне и смешно попросившего ее руки. Она увидела это все и, не колеблясь, сказала:

-- Я согласна.

9.Казаков Валерий («Уроки жизни»)

***Валерий Казаков***

**УРОКИ ЖИЗНИ**

***(Сага о сельском учителе)***

**Поросенок**

Уж чего-чего, а поросят держать они не собирались. Хотели выглядеть интеллигентными и свободными, как птицы. Ели вареную картошку с рыбными консервами, макароны, жареные на подсолнечном масле, овсяную кашу с изюмом. Иногда им удавалось купить дешевого мяса где-нибудь в Хрущевке или Сталинском.

Анастасия Павловна научилась готовить пирожки с грибами, какие-то сдобные пышки и кренделя. Подозрительно скоро пополнела в талии, стала много спать и так же много есть сладкого. А Николай Алексеевич, её молодой муж, всё чаще и все увереннее стал говорить о пользе капустных салатов, о свежих фруктах и овощах. Он уверял, что обожает постную пищу, но в его представлении она почему-то ассоциировалась с наличием разных экзотических продуктов, что было не совсем уместно в вятской глуши. Потом он как бы очень кстати вспомнил о «хренотере» с томатами, о печёных яблоках и пареной репе. Анастасия Павловна слушала его и молчала. Ему показалось, что она не до конца понимает то, о чем идет речь, поэтому он повторил:

- В наших условиях «хренотер» может заменить всё. Полезнее его ничего на свете нет. А, самое главное, есть его можно с чем угодно. С хлебом, с картошкой, с макаронами. Он возбуждает аппетит, и вообще…

- Я понимаю.

- Вполне возможно, у нас будет много гостей. Я…я натру бог знает сколько «хренотера», ты же знаешь, какой я усердный, если нужно…и буду угощать им наших новых знакомых. У нас будет много друзей. Я познакомлюсь со всеми интеллигентными людьми в округе и постараюсь стать для них душой общества. Ведь есть же здесь какое-нибудь культурное общество. Как ты полагаешь? Прозябать без дела я не собираюсь. Культурные люди начнут бывать у нас, мы - у них. Мы будем беседовать о музыке и литературе, о живописи и философии…Только надо запасти побольше «хренотера». «Хренотер»…

- Ну, о чем ты говоришь, Коля! - вдруг остановила его Анастасия Павловна.

- А что?

- Неужели ты собираешься принимать гостей без мясных блюд? Это же неприлично. И вообще: ананасы, «хренотер», интеллигентные друзья. Вздор всё это. Фантазии… А для того чтобы иметь много мяса, надо просто держать поросенка, как мои родители. Вот и всё.

- Может быть. Может быть, в чём-то ты и права, но я больше не собираюсь отмечать все праздники только с твоими весьма невоспитанными братьями.

- А чем они плохи? – удивилась Настя.

- Ты знаешь сама…

- Чем же?

- Когда они приходят к нам в гости, я перестаю чувствовать себя хозяином этого дома… Я тебе не говорил, но буквально вчера твой старший брат Федор бесцеремонно подошел ко мне в магазине, дернул за рукав и попросил добавить тридцать рублей на пиво. Там была огромная очередь, и все люди это видели. Я, конечно, дал ему тридцать рублей, но что после этого обо мне подумали люди. Они могли подумать, что я и этот лохматый, грязный человек чем-то связаны. Что мы с ним друзья… Он сильнее меня и этим пользуется. Но в таких вещах со мной шутки плохи. Я боксом когда-то занимался. Да! И если я рассержусь. Если я рассержусь! Почему ты улыбаешься? Это вовсе не смешно. Помнишь, я показывал тебе синяк на правой руке. Это я, шутя, ломал кирпичи ребром ладони… И вообще, если мне надеть фуфайку на два размера больше - у меня тоже будут широкие плечи. Но это ещё не дает мне права быть грубым. Грубым и бесцеремонным… Я тоже могу много выпить, однако же не пью лишнего.

- А причем здесь фуфайка, Коля?

- Я говорю не о фуфайке. Я говорю о человеческом достоинстве. Как ты не понимаешь! Я говорю о высоком чувстве долга, о нравственности. Даже живя в этой глуши, мы не должны терять лицо и стараться, по возможности, ставить перед собой высокие цели…

Анастасия Павловна с грустью смотрела на мужа и думала, что, должно быть, уже в первом классе он был очень занудным...

Закончив говорить, он начинал готовиться к урокам, что-то сосредоточенно писал в толстой тетради, а ей от тоскливого безделья хотелось поскорее одеться, выскочить на улицу и бежать-бежать куда-нибудь вдоль высокого забора. Потом остановиться на берегу ночной реки, в прошлогоднем репейнике, и выплакаться навзрыд обо всем на свете. После пролитых слез у неё светлее становится на душе. В детстве ранней весной у Насти уже случались приступы меланхолии, но тогда они быстро заканчивались, а сейчас иногда продолжались подолгу и казались совершенно беспричинными.

Плохое настроение покидало Анастасию Павловну, когда они с мужем отправлялись в кино или просто гуляли под луной, взявшись за руки. Он рассказывал ей о школе, похожей на курятник, о том, что у них сейчас новый завхоз, с которым очень трудно найти общий язык. А впрочем, это сейчас не так важно, потому что дрова на будущий год они уже привезли, осталось только расколоть их и сложить в клетки. Анастасия Павловна говорила о том, что в бухгалтерии сейчас тоже стало трудно работать. В детском доме на кухне не хватает посудомоек и разнорабочих, их заменяют медсестры и бухгалтера. Из её речи выходило так, будто всё в детдоме скоро будут делать медики и экономисты: колоть дрова и ездить на лошади за хлебом, и кормить свиней, и чистить за ними навоз.

В местном клубе почти всегда было холодно и сильно накурено. Над сценой, под самым потолком, висел неширокий, но очень длинный плакат, изображающий крупнолицего землепашца, трактор и волнистое желтое поле, уходящее за горизонт. В ожидании кинофильма немногочисленные зрители лузгали семечки и плевали на пол. Из тёмного угла за портьерой пахло мочой. А под ногами даже во время сеанса бродило какое-то мохнатое животное и угрожающе рычало.

В общем, к концу кинофильма молодые супруги так застывали, что до самого дома неслись вприпрыжку и радостно повизгивали от предвкушения ожидающего их домашнего тепла.

Отогревались на кухне за чаем. От холодного осеннего ветра у них горели щеки и неподдельным весельем светились глаза. Хотелось подольше удержать эти счастливые минуты. Николай Алексеевич обнимал жену, наклонялся к её уху и начинал говорить ей красивые слова, примерно такие же, какими выражаются главные герои в фильмах о любви. Она слушала его и улыбалась. Он дотрагивался рукой до её щеки и почему-то сразу вспоминал новогодний праздник из далекого детства. Детство сейчас представлялось розовым и румяным, как спелая антоновка. И чем дальше оно уходило, тем всё отчетливее была по нему ностальгия.

- Анастасия, как ты думаешь, в жизни есть какой-нибудь смысл? - вдруг спрашивал он.

- Никакого, - с улыбкой отвечала она.

- А, по-моему, это слишком категоричное заявление.

- Нет. Иначе писатель Чехов ничего бы не написал. Ну, сам посуди, какой смысл в его «Чайке», в «Трех сестрах?» Если в чем-то есть настоящий смысл, то его можно выразить тремя словами. А из пустого в порожнее можно переливать без конца..

- Надеюсь, ты этим ни на что не намекаешь?

- Нет.

Но весной молодым супругам всё же пришлось купить поросенка. Тесть настоял. Стал доказывать, что от этого всё равно никуда не уйти, так принято в селе, так испокон веку заведено. Благо, хоть поросёнок попался хороший. Гладкий такой, розоватый, ушастый, чем-то похожий на игрушечного слона. Он бегал из комнаты в комнату, мило хрюкал и шумно перескакивал через порог.

- Вот ты какой, хрюндя! – приговаривала иногда Анастасия Павловна, поглаживая его по белой спинке. Поросенок при этом недоверчиво мотал головой и убегал из-под ласк за печку. Анастасия Павловна умиленно провожала его взглядом и спрашивала у Николая Алексеевича, нето шутя, нето серьёзно:

- Коленька, неужели мы его зарежем когда-нибудь? Он такой милый.

Николай Алексеевич делал удивленное лицо и отвечал:

- Нет, конечно. Мы будем кормить его до старости, пока сам не умрет.

- Ну, Коленька!

- И можешь передать своему папочке большое спасибо за подарок. Я не знаю, какова судьба этого зверя в дальнейшем, но в настоящее время мы вынуждены покупать для него молоко… А потом, вероятно, надо будет таскать откуда-то помои и собирать в лесу желуди… Не представляю, как мы докормим его до зрелого возраста… Да ещё, в добавок ко всему, надо будет набраться смелости, чтобы лишить его жизни.

- Для него нужно срубить хлев.

- Для одного поросенка целый хлев? - удивился Николай.

- Но не держать же его на улице.

- Настя, я не плотник, но с завхозом я поговорю… Если, конечно, мы не найдём иных решений.

- А какие ещё могут быть решения?

- Ну, может, отгородить ему небольшую вольеру в лесу. Лес у нас рядом. И пусть живет себе в родной стихии.

- Но поросенок - это не кабан. Он вовсе не настоящий зверь… И вообще, папа говорил, что на первое время ему надо купить какой-нибудь крупы.

- Ну, что ты говоришь, Настенька!

- Что?

- Ну, разве ты не понимаешь, как всё это мелко и…глупо. Что это настоящая трясина. Сначала поросенок, потом - курицы, а потом и корова… Мы даже опомниться не успеем, как нас затянет в натуральное хозяйство. И потом, это же настоящая кабала…

- А мне надоела капуста!

- Ну, это ещё не самое скверное…и…

- И разговоры об ананасах.

Потом всё лето только и было забот, что о хлебе да молоке для подрастающего поросенка. Поросенок быстро рос, с неизменным аппетитом ел всё, что ему приносили, в том числе и квашеную капусту, и картошку, и «хренотер». Он съел мешок овсяной крупы, съел всю морковь, которую великодушный тесть привез из своего огорода. Съел всю траву вокруг дома и вырыл в огороде огромную яму, куда в ненастные дни стекала дождевая вода, и где не в меру растолстевший поросенок стал принимать целебные ванны.

Для него два местных прощелыги, почему-то пользующиеся репутацией хороших плотников, срубили маленький хлев, в котором поросенок размещался на ночлег и откуда «рёхал» на случайных прохожих так громко и сердито, что они испуганно вздрагивали и старались поскорее миновать дом учителя… В общем, Николаю Алексеевичу порой казалось, что они с Анастасией Павловной живут сейчас только для того, чтобы досыта кормить этого проклятого поросенка, который ничем не собирается рассчитываться с ними за труды.

Да тут ещё тесть подлил масла в огонь. Николай Алексеевич, как обычно при встречах, завел разговор о низких нравах провинции, о бездуховности и традиционном российском пьянстве. Зашел весьма далеко, стал цитировать Достоевского и Салтыкова - Щедрина, потом перешел на Чаадаева. Только тесть на этот раз долго слушать зятя не стал, сказал, что они с Настей сами ничуть не лучше. Без коровы в деревне живут, можно сказать, никакого хозяйства не имеют. В кои-то веки одного поросенка завели, зато рассусоливать мастера.

После этого разговора Николай Алексеевич дня два расстроенный ходил, тяжело вздыхал и досадливо морщился. А при случае пасмурно жаловался коллегам, что жизнь в селе устроена ужасно, даже можно сказать, отвратительно.

- Ну, посудите сами, - запальчиво объяснял он, - ведь это каннибализм какой-то. В селе, чтобы хорошо питаться, надо кого-нибудь выкормить, потом зарезать его обыкновенным ножом и съесть… И никто, никто не задает себе вопрос: а имею ли я на это право? Ведь кому-то приходится расплачиваться за подобные убеждения своей жизнью. А вы представляете себе, что будет, если все захотят питаться исключительно мясом, как настоящие хищники. По земле потекут реки крови. Каждый будет ходить с ножом или саблей за поясом. И это будет в порядке вещей… Нет, я этого не понимаю… И вообще, чем свиньи перед нами провинились? Почему мы решили, что этих милых животных лучше всего употреблять в пищу? Вот мне, например, они нравятся, но вовсе не как мясо, а как живые существа. Они удивительно сообразительные, умные и непосредственные животные. Да вы посмотрите им в глаза. У них и глаза синие, как у людей. Единственное, чего им не хватает - так это воспитания.

Коллеги одобрительно кивали головами, снисходительно улыбались, переглядывались, но уверяли, что рассуждения Николая Алексеевича в чём-то нелепы и нет в них, к сожалению, никакой тонкой материи. Действительно, все хотят жить и дышать, но по каким-то неписаным правилам сильный всегда съедает слабого. Так заведено.

- Нет, это не закон жизни, - запальчиво возражал Николай Алексеевич, - это ничем не ограниченный эгоизм, потому что человек вполне способен обходиться постной пищей. Капустой и хренотером. Жирная пища - это всего лишь дань традиции. Своего рода убежденность и больше ничего. Толстой же, к примеру, мясного не ел, и этот ещё…, как его…- И не мог больше вспомнить никого, кто ещё не ел.

Закончилось лето, приблизились первые холода. Потом дождливые дни ветреной осени сменились стойкими морозами и местные жители приступили к нещадной резке свиней. По выходным дням то там, то сям над тихими улочками Пентюхино вдруг раздавался жуткий предсмертный визг бедного животного, который тут же подхватывался жалостливым воем многочисленных местных собак. Потом крики стихали, и слышен был только гул паяльных ламп, да наплывал откуда-то резкий запах паленой щетины.

Только хрячок Николая Алексеевича жил как прежде. Он всё так же много ел, смачно чавкая над деревянным корытом, так же крепко спал в хлеве, а днем разгуливал по пустынному огороду.

Но однажды в субботу, как бы ни с того ни с сего, во двор учительского дома зашли два человека. Трифон Силантьевич Бздюлев и Андрей Кузьмич Голенищин. У одного в руке была паяльная лампа, у другого из голенища сапога торчал огромный нож из самокала. Они пояснили, что Павел Семенович, отец Анастасии, с ними уже договорился, так что сейчас от хозяев почти ничего не требуется, только небольшая бутылочка за работу. Всё остальное они сами сделают. Тут им помощники не нужны.

Николай Алексеевич со страху как-то не понял сразу, кто такой Павел Семенович. Потом сообразил, что это его тесть и побежал на кухню к жене. Взволнованным голосом сказал ей, чтобы всем остальным она сама руководила. Он не может. Он в этом беспределе не участвует. Это выше его сил.

Анастасия Павловна, по правде сказать, тоже немного испугалась, но бутылку всё-таки нашла и с мужиками о чем-то договорилась…

В это время Николай Алексеевич заперся у себя в спальной комнате, лег на кровать и закрыл голову подушками. Всё ждал, что ужасный предсмертный крик бедного поросенка прорвется сквозь все преграды. Но, к счастью, ничего не услышал. И от этого немного успокоился. Пересел на кресло возле окна выходящего в сад и просидел так часа полтора.

После резки, мужики на кухне поджарили свежую свиную печень, выпили бутылку водки, о чем-то живо побеседовали с Анастасией Павловной и ушли, наследив на свежем снегу кровавыми подошвами кирзовых сапог.

Несколько дней после этого злополучного события Николай Алексеевич был сам не свой. Расстраивался и переживал, изводил себя жалостью. Анастасия Павловна заметила, как несколько раз он громко охнул, глядя на алый снег во дворе. Потом Николай Алексеевич из принципа не ел свиное мясо три недели. Но к новому году всё же не выдержал – расслабился, помог жене накрутить через мясорубку мяса и настряпать пельменей.

Когда пельмени уже были готовы, он, глядя куда-то в сторону, несмело осведомился, не мучился ли перед смертью бедный поросенок? Что об этом говорили мужики? И Анастасия Павловна, стараясь быть серьёзной, ответила, что Трифон Силантьевич, вообще-то, большой мастер забойных дел, у него рука легкая. От такой руки скотина разом погибает…

А пельмени из свежего мяса получились очень даже вкусные, и когда Николай Алексеевич их ел, он никак не мог решить для себя, что для него сейчас важнее - сытость или нравственность? Когда же хорошенько наелся, то понял, что с полным желудком о нравственности рассуждать как-то заметно легче.

**ЛЕТО**

Ах, господи, до чего же Николай Алексеевич любил лето! Целый год для него был, как длинная неделя, только лето - воскресенье. Летом он вставал необычно рано, необычно поздно ложился спать и даже во сне представлял себя счастливым. В этих счастливых снах его любили юные женщины, а он легко и умело соблазнял их, дарил им обязательные цветы и случайные поцелуи. В счастливых снах он был томительно молод, почти что юн и его переполняла романтическая энергия любви. То было время исполнения желаний, тихой задумчивости и умиления - восторженное время.

Но приходило долгожданное лето - и на Николая Алексеевича наваливалась тяжелая ручная работа. Он целыми днями мастерил парники, перекапывал гряды, ремонтировал заборы, что-то красил, строгал, прибивал и все еще продолжал мечтать: вот пройдет эта трудная неделя, и наступит другая - легкая. Он расслабится и позагорает на солнце, поплавает с дочерьми на реке. Освежится, развеется, отдохнет...

Но проходила трудная неделя, за ней наступала другая - такая же трудная, а неотложных дел почему-то всё не убывало. Впечатление было такое, как будто с каждым днем этих дел становилось всё больше.

К тому же в начале июня приезжал из Рябиново тесть и совершенно некстати привозил с собой противного розоватого поросенка величиной с ладонь. Благословясь, отпускал его в кухне на пол и говорил:

- Вот вам, милые мои, свое мясо на зиму. Как говорится, не потопаешь – не полопаешь.

Николай Алексеевич с недоумением и досадой смотрел то на тестя, то на поросенка и не мог для себя решить, кто вызывает в нем большее раздражение. Тесть или поросенок?

А еще через несколько дней, на базаре в Красновятске, жена Николая Алексеевича покупала два десятка цыплят- бройлеров, которые требовали корма через три часа. Потом наступала пора полоть и окучивать картофель, поливать гряды, и Николай Алексеевич начинал чувствовать себя дворовым работником и свинопасом, а вовсе не сельским учителем с высшим образованием. Он заметно худел, его лицо и шея покрывались коричневым загаром. С утра до вечера он ходил в каком-то застиранном пятнистом костюме, не брился дня по три, и его лицо постепенно приобретало выражение усталого равнодушия. Даже сельские жители как-то легко переставали узнавать в нем учителя и, не стесняясь, приглашали его на сенокос. Сначала Николай Алексеевич не отказывал им из уважения, а потом привык, и ему стало казаться, что через всё это ему тоже надо пройти. Надо испытать на своей шкуре тяготы сельской жизни.

На сенокосе он жутко уставал, потом жутко напивался с хозяевами желтой и пахучей медовухи, а после - громко пел длинные народные песни, сидя на пустынном берегу реки и ощущая в душе странную тягу к раздольности.

В середине июля появлялись в саду первые ягоды, в лесу - первые грибы. Николай Алексеевич мечтал вырваться в лес хотя бы на день, но ему все как-то не удавалось это сделать, все что-то мешало. То на веранде вдруг протекала крыша и надо было срочно перекрывать ее рубероидом, то у противного поросенка открывался понос, то одна из дочерей начинала покашливать. То приезжал в гости какой-нибудь дальний, но требующий большого внимания родственник - любитель длинно и умно порассуждать на политические темы. Николай Алексеевич ухаживал за садом и огородом, воспитывал дочерей, кормил цыплят и поросенка, ублажал, чем мог дальних родственников и все ждал, когда же пройдет это время забот, время тягот и наступит другое – счастливое время, где найдется место восторгу перед всем этим пышным, зеленым и цветущим миром, который называется ЛЕТОМ. Ах, господи, когда же?!

В конце июля они с женой собирали с кустов ягоды черной смородины, солили огурцы, пробовали первые красные помидоры. Потом в пустующую половину брускового дома напротив приехал сосед - новый учитель истории, холостяк и социал-демократ Григорий Петрович Зорин.

Новоявленный социал-демократ, воспитанный явно в народовольческом духе, без приглашения стал приходить на ужин к хлебосольным соседям да при этом ещё делал вид, что оказывает им некую услугу. Честно говоря, он оказался человеком навязчивым и немного странным, но колорадских жуков с раннего картофеля обирать помогал, хотя и надоедал при этом умными разговорами о глобальных экономических процессах.

Потом Николай Алексеевич рубил в дубовом корыте молодую крапиву для поросенка и кур, а Григорий Зорин в это время говорил о большом значении рыночных реформ для новой России. И Николаю Алексеевичу начинало казаться, что есть некая тайная связь между всеми поросятами мира и одним большим русским корытом, из которого еще долго можно хлебать...

В августе случались уже холодные затяжные дожди, но настроение у Николая Алексеевича все еще было боевое. Он всё ещё мечтал: вот станет поменьше работы в саду и огороде, в хлеве и курятнике и он, наконец, разогнет спину, расслабится, отдохнет за все лето. Ведь в августе-то еще так хорошо, так свежо на улице после короткого теплого дождичка. Ах, господи!

И почему это у него так нелепо, так неудачно складывается жизнь в последнее время? Случайность это или общая тенденция? А, может быть, у всех сейчас так?

Вот и первые гнилые помидоры уже появились, и первые перезрелые огурцы. Что-то, кажется, измениться должно. Николай Алексеевич буквально дышит этим изменением, ощущает его, как спина ощущает горячие солнечные лучи, когда он работает в огороде. А, может быть, это тоже от усталости? От скрытой надежды на счастье.

После Ильина дня они с женой стали свежую картошку выкапывать, сделали первый капустный салат с редиской и морковью.

Однажды вечером к ним зашел Григорий Зорин вместе с Надеждой Ивановной, дочкой Маши-поварихи. Выпили чаю, поговорили о повышении цен на вино и табак, о сокращении школ в их районе. Но ощущения важности обсуждаемой темны почему-то не возникло. От усталости Николаю Алексеевичу очень хотелось спать...

Потом приходила одна Надежда Ивановна, скованно сидела в углу под фикусом и плакала, не закрывая лица руками. Слезы текли по широкому крестьянскому лицу и капали на большие жилистые руки. А Надежда Ивановна объясняла, что навязчивый социал-демократ ее бросил, и она не знает, как ей сейчас быть, потому что их духовная близость случайно переросла в половую и Надежда Ивановна забеременела...

Анастасия Павловна, жена Николая Алексеевича, тоже расплакалась и стала уверять Наденьку, что все мужики одинаковые, все стервецы и хотят от женщин только одного. Наденька смотрела на неё полными слез глазами, понимающе кивала, а потом, скрывая стеснение, призналась, что Григорий в последний раз даже не вышел к ней из дому, а показал через окно что-то напоминающее фигу, и сейчас она не знает, как это расценить. Как породистое хамство или как случайную комбинацию пальцев без особого умысла…

В сентябре затяжные дожди стали нередки. В холодные низины по вечерам стал заползать туман. В палисадниках георгины расцвели, но ласковое солнце все еще проливалось на землю золотистым потопом, тенетник серебрился. Пахло горелой ботвой, и облака, если лечь на спину, казались такими пронзительно белыми, такими высокими, что комок подходил к горлу. Лето прошло. Прошло лето!

Ах, господи!

**ПРИЗНАНИЕ**

Николай Алексеевич был женат. Его жена была высока, румяна и привлекала той сельской непорочной красотой, которую отличают высокая грудь, широкий таз и те пропорции тела, которыми примечательны статуи в тенистых скверах провинциальных городов, где тихое течение жизни издревле предрасполагает к излишней полновесности каждой детали. Большими талантами Анастасия Павловна не обладала, зато она умела прекрасно готовить салаты и печь блины.

Работала она счетоводом в колхозной конторе, получала за свой труд немного, но умела так одеваться, что всегда производила впечатление милой, привлекательной женщины. Вскоре после замужества она родила Николаю Алексеевичу двух курносых девочек. Девочки скоро подросли и Николай Алексеевич иногда стал видеть в них прежнего себя. От этого взгляда в прошлое, порой, ему становилось чуточку грустно.

В доме у Николая Алексеевича все было на своих местах, как положено. Прекрасный сервант с хрусталем, два ковра (один из них с традиционными оленями), люстра с лепным отражателем и бутафорский камин с нарисованными языками пламени, покрытый всегда тонким слоем пыли. В общем, дом тоже должен был производить приятное впечатление изнутри и снаружи. И самого Николая Алексеевича все в Пентюхино считали человеком очень положительным. Во всяком случае, такое он производил впечатление. Никто даже не подозревал, что Николаю Алексеевичу давно нравится другая женщина.

Другая женщина, конечно, была красива по-особенному. Она ходила по Пентюхино, гордо подняв голову. Ее звали Татьяной, и была она чуточку сонной, чуточку медлительной, можно сказать немного странной. Но эта странность почему-то не умаляла ее достоинств, скорее наоборот, придавала ей некой загадочности, некой тайны. И фамилия у нее была для здешних мест необычная. Её звали Татьяна Стерлядкина.

Николай Алексеевич иногда представлял, что было бы, решись он подойти к ней и объясниться. Она, вероятно, тут же кинулась бы ему на шею и призналась, что она готова на все, чтобы быть рядом с ним.

Но это, к сожалению, невозможно. Он женат и у него есть дети.

Но однажды вечером, когда над селом кружила огромная стая ворон, а задумчивые местные грачи обсиживали маковку полуразрушенной церкви. Когда дул холодный северный ветер и моросил нудный дождь. Когда душа обыкновенного сельского учителя сжимается в комок и он сживается с мыслью, что все пропало. Когда очень хочется умереть от скуки, но смерть почему-то не приходит, - Николай Алексеевич решил идти к Татьяне, чтобы объясниться. Сколько же можно терзать себя этой неразделённой любовью, в конце-то концов?

В этот ненастный вечер Николай Алексеевич долго сидел в своем кабинете, прислушиваясь к быстрым шагам по гулкому школьному коридору. Потом выпил для храбрости двести граммов учительского спирта, закусил рыхлой осенней помидориной, которая завалялась на подоконнике в коморке для инвентаря, и пошел к Татьяне.

Он шел по грязной, усыпанной мертвыми листьями улице и чувствовал в душе несокрушимый восторг. Он сможет, он сделает сегодня все как надо, ведь он любит. Ему уже казалось, что этого вполне достаточно, чтобы прийти к незнакомой женщине ночью. Он так больше не может один - от осени до осени, от встречи до встречи, от взгляда до взгляда – во тьме, в немоте, в незнании.

Надо пройти еще несколько метров, и он окажется возле дома Татьяны. Она откроет ему дверь, что-нибудь спросит приятным голосом и проведет в дом. А там светло, тепло, уютно и звучит музыка, тонко так звучит, плавно, с трепетным чувством. Должно быть, Чайковский или Мендельсон.

Николай Алексеевич подошел к дому Татьяны и в нерешительности остановился. Замер. Сейчас нужно постучать в высокую дверь. Она со скрипом откроется и он попадет в земной рай. Но неожиданно Николая Алексеевича повело куда-то назад от желанной двери. Он неуклюже переступил ватными ногами и поймался рукой за низенький штакетник палисадника. Прислушался. Никакой музыки за окнами дома не звучало, зато в палисаднике во всю цвели розы. И была совсем рядом цветущая женщина.

Она рядом, а он еле стоит на ногах. Ну, надо же! И выпил-то он, кажется, немного и шел прекрасно, но мысли в голове какие-то странные. Как будто он только что проснулся и не может понять, что к чему.

Николай Алексеевич протянул за штакетник свою неуверенную руку и сорвал самый пышный цветок. Скоро заморозки – все равно все цветы завянут. Поднес розу к лицу, вдохнул её аромат – голова закружилась. Всё, кажется, хорошо, только стоит ли в таком виде заходить к любимой женщине? Это неприлично, даже скверно. Ну что он сможет ей объяснить в таком виде? Она впервые решиться поцеловать его, а от него пахнет черт знает чем.

Николай Алексеевич, пошатываясь, направился вдоль палисадника направо. Кажется, там за домом, стоит старый стог соломы. Он только отдохнет там немного, посидит, подышит полной грудью, и у него всё пройдет. Он снова станет трезв как стеклышко.

Николай Алексеевич садится под стог, зарывается спиной в сухую солому и начинает думать о чем-то важном, что сейчас необходимо понять. В стогу думать хорошо, тепло, совсем не так, как на улице под дождем и ветром. Только мысли в стогу становятся какие-то сонные, простые и странные музыкальные волны накатываются откуда-то издалека. Плеск этих волн похож на завывание ветра. И вот из этих самых волн, из темной любовной немоты вдруг появилась Татьяна. Она в белом свадебном платье, над ней плывут белые облака, под облаками мельтешат белые чайки. Она несет ему огромный букет роз. Он слышит ее дыхание совсем рядом, но не может пошевелиться. Это любовь сковывает его. Он весь горит от любви, только ногам почему-то немного холодно...

Пробудился Николай Алексеевич от озноба. «Боже мой, я спал на улице!» - подумал он и очень удивился тому, что увидел. А увидел он рыжую траву в капельках росы, увядшие листья на всем, свои серые брюки и грязные ботинки на ногах. И в левой руке огромную, полыхающую алым цветом розу.

Совсем рядом был дом любимой женщины. И что самое дикое – из этого дома его давно уже могли заметить.

И тут он вспомнил все вчерашнее. Как шел сюда по темной улице, вероятно, шатаясь и бормоча себе под нос что-то невнятное. Как кто-то ветхий попался, ему на пути - стремглав отскочил в сторону и ждал пока учитель пройдет своей дорогой… Какое жуткое он произвел впечатление? И вообще, к чему вся эта затея с объяснением? От всего этого только болит голова, пить хочется, сыро да холодно.

Николай Алексеевич осторожно поднялся с земли, зашел за стог, отряхнул с коленей солому и с наслаждением помочился на мокрую листву. Потом долго оттирал концы брюк от грязи и чертыхался и думал о том, что он вчера поступил как настоящий «поросенок».

- Вы что, Николай Алексеевич, никак в лужу вступили? – спросил кто-то сзади.

Николай Алексеевич вздрогнул от неожиданности и с опаской оглянулся. За его спиной стоял местный печник Сергей Сергеевич, по прозвищу Кожух. Кожух почему-то тоже был весь в соломе и выглядел непроспавшимся.

- Да вот, угораздило, - ответил учитель, слегка смутившись.

- Бывает такое дело по осени... Вы никак уже в школу продвигаетесь?

- Продвигаюсь, а что?

- Хорошее дело, - с хитрецой в глазах продолжил Кожух, - а я вот здесь переночевал, знаете. Жена из дома турнула, по причине пьянства. Я в части злоупотреблений нормы не знаю. Такая натура. Но ничего, хорошо - свежим воздухом подышал.

- Ну-ну! - понимающе и вместе с тем озадаченно проговорил Николай Алексеевич. – Надо и мне продвигаться ближе к школе. Будьте здоровы!

Потом, уже недели через две, когда жена, наконец, простила ему эту бесшабашную выходку, Николай Алексеевич стоял за хлебом в длинной очереди и случайно увидел, как за огромным окном магазина прошла Татьяна Стерлядкина. Она шла, гордо подняв свою красивую голову, покачивая плавными бедрами, и не обращала ни на кого внимания... Такая нездешняя, такая «не наша», что Николай Алексеевич с грустью почесал лысеющий затылок и подумал, что она ему явно не пара. Ну что он такое, на самом деле! Обыкновенный мужчина средних лет с синими невеселыми глазами, одолеваемый мыслями о пропитании, деньгах и прочих прозаических вещах. Чем он может прельстить ее? Такую... такую!

И вдруг он снова не смог сдержать в себе волну обожания, волну тайной надежды. Это потому, что Татьяна остановилась и пристально посмотрела на него. Да-да, на него! Он не мог этого не понять, не заметить. Она выделила его из толпы этим своим мимолетным взглядом. Это у неё получилось просто и легко. Один этот взгляд сказал ему больше, чем все дни раздумий в одиночестве.

В хорошем настроении Николай Алексеевич вышел из магазина и как бы ненароком остановился на том же месте, где стояла Татьяна, когда подарила ему свой взгляд. Он взглянул в огромное окно хлебного магазина.. - и увидел нем свое отражение.

**НАТУРАЛИЗМ**

Поездка в Ленинград случилась для Николая Алексеевича как-то неожиданно. Один из лучших институтских товарищей вдруг придумал жениться и пригласил его к себе на свадьбу. Николай Алексеевич для экономии поехал один без жены, но с каким-то странным и трепетным чувством, как будто это не просто поездка в красивый город на Неве, а некая сложная миссия, которую должно выполнить с честью и до конца.

На свадьбе он был безупречен. Мало пил, много и занимательно рассказывал о своей провинциальной жизни. Старался выглядеть весельчаком, сыпал шутками и остротами, которые приготовил заранее. Занимал умными беседами каких-то бледных меланхоличных дам, перезрелых лысеющих мужчин и кокетливых старушек. Всем старался понравиться, всем угодить, на всех произвести хорошее впечатление. И когда, наконец, вырвался из этого праздного водоворота, чтобы несколько часов побродить по музеям, то был уже на грани нервного срыва от странной дисгармонии в душе, оттого, что там навечно осела глухая скорбь сельской жизни. И только в просторных залах Русского музея ему неожиданно стало легче. Там, как бы само собой, без особых усилий с его стороны возникло в душе ощущение настоящего праздника… Да и могло ли быть иначе в цитадели русского искусства, где каждая картина странным образом напоминает о чем-то близком, очень родном, но к сожалению давно утраченном. Здесь даже портреты царей и цариц производили приятное впечатление, как будто все они были вовсе не из блистательного рода Романовых, к которым Советская школа выработала у Николая Алексеевича стойкую неприязнь, а из простого, можно сказать пролетарского рода Бздюлёвых или Голенищиных.

Особенно понравилась Николаю Алексеевичу Екатерина вторая - такая пышная красавица, такая прелесть, что помимо его воли у Николая Алексеевича возникла ассоциация между ней и Татьяной Стерлядкиной - его давней неразделенной любовью.

Таинственное чувство сопричастности к великой России не покидало Николая Алексеевича в залах Серова, Врубеля и Куинджи, у полотен Репина и Васнецова.

Порой, стоя перед их картинами, он недоумевал: отчего это все его знакомые учителя так хорошо знают истоки кровавых и беспощадных бунтов, прокатившихся по России много лет назад, и так плохо представляют себе великое русское искусство? Чем объяснить их преклонение перед разрушительным действием и равнодушие к творящим красоту?

В какой-то момент взволнованного созерцания Николай Алексеевич вдруг понял, что всему виной наше незнание библейских истин, яркий свет которых помогает соединить в одно целое человеческую природу и космический дух, бренные заботы земные и вечный смысл жизни на земле.

Потом Николай Алексеевич надолго замер у полотен Александра Иванова. Божественная ясность его картин заворожила сельского учителя. Он стоял и не мог подавить в себе слезный восторг перед увиденным. Дева Мария на одной из картин этого мастера напомнила ему Татьяну. Недоступная пониманию, почти божественная красота Марии и натуральная слеза у неё на щеке растрогали его… Он не смог сдержать себя и расплакался от неожиданного приступа жалости к самому себе, такому беспомощному в любви и творчестве, не способному даже на самую малость. На решительный поступок ради любимой женщины. Николай Алексеевич ссутулился, стал быстро и неумело промокать глаза платком. Это заметила старенькая смотрительница из соседнего зала. Она нерешительно подошла, немного помолчала, а потом участливо спросила:

- Что это с вами, молодой человек?

- Не могу… Знаете, даже передать словами свои чувства не могу… Как это всё меня растревожило.

- Что такое? Вы потеряли что-нибудь или вспомнили что-то грустное? Такое бывает.

- Не могу объяснить.

- Что, не можете объяснить?

- Я уже тридцать лет прожил. Понимаете? – начал Николай Алексеевич.

- А я семьдесят, - с иронией продолжила старушка. Но Николай Алексеевич не слушал её.

- Я никогда не видел ничего подобного. Понимаете. Я здесь в первый раз.

- Ну и что?

- Все так глупо, знаете, так глупо!

- Ну?

- Я понять не могу. Не могу понять, почему красота эта только здесь, в этих залах? А в душе ее нет… Вот мы, к примеру, в провинции так мелко живем, так мелко! Мы там ничего хорошего не видим. Даже не подозреваем, что все это у нас есть.

Николай Алексеевич театрально повел рукой, указывая на картины.

- Да как же, - не поняла его благообразная старушка, - многие сюда ездят из других городов. Очень многие. Зря вы так говорите.

Николай Алексеевич обиженно вскинул брови и стал энергично объяснять:

- Да если бы раньше лет на пять - десять я все это увидел - может быть, вся жизнь у меня сложилась бы по-другому. Понимаете? Мы там, в провинции, живем бог знает чем. Какой-то пуританской философией, натуральным хозяйством, да заботами о хлебе насущном. В трудах и заботах мы забываем обо всем.

- Так ведь и мы здесь живем так же. Тоже о пропитании заботимся, о детях, о будущей старости… Просто сегодня день такой выдался - неблагоприятный в геофизическом плане. Вот и все. И солнце с самого утра какое-то подозрительно яркое. Так бывает весной. К тому же не вы первый сегодня плачете тут, я вам скажу. Здесь рано утром до вас девушка одна расплакалась. Я ее еле уговорила. Посмотрела вон там на Христа, на Марию и разрыдалась. Видно грех большой ощутила в душе, а перед чистотой этой не смогла устоять… Я ее успокоила, разговорила. С кем не случается. Милая такая девушка попалась. В душе, видать, совсем ребенок ещё, а глаза уже испуганные. Хотя, может, день сегодня такой… Весна - пора магнитных бурь.

- Да сюда нужно каждый год ездить с детьми, это же такой заряд на будущее, такой урок! - продолжил запальчиво Николай Алексеевич. - Вы только посмотрите на эти лица. Посмотрите. Какие личности! Сколько в них благородства! Какая внутренняя сила в глазах!

- Дворяне, небось!

- Ну и что? Это неважно. Главное, что в них сквозит одухотворенность. Они одним видом своим излучают достоинство.

Некоторое время после этого восклицания оба собеседника отчужденно молчат и смотрят в разные стороны. Видно, что благообразная старушка не до конца понимает провинциального учителя. Он уже давно перестал плакать и сейчас неловко шмыгает носом…

- А вы знаете, что такое натурализм? - вдруг с загадочной улыбкой на морщинистом лице спрашивает бабуся.

- В некотором смысле, - находит подходящее слово Николай Алексеевич, чтобы не показаться полным профаном.

- Ну, тогда вам надо сделать всего три шага. Вот сюда. Поближе к этой вещи. Внимательно присмотреться к ней, и тогда вы непременно улыбнетесь.

С этими словами старушка подвела его к небольшой картине, на которой был изображен провинциальный русский город с множеством белокаменных церквей, тихих немного тесноватых двориков, высоких заборов и людей - карликов, рассыпанных, как горох, по заснеженным улицам. Эту картину можно было разглядывать очень долго, так много разных предметов было на ней изображено. Тут были и нехитрые сценки из семейной жизни, где присутствуют простоватые мужики и бабы, горластые дети, худые кошки и вислоухие собаки. Здесь на куполе церковной колокольни сидели сонные вороны, какие-то удивительно крупные и упитанные. А на углу городской площади, около небольшого моста через овраг, стоял и дремал краснорожий будочник, издали похожий на очень высокий и плохо начищенный медный самовар. В знакомом силуэте города и его обитателях Николай Алексеевич сразу уловил что-то свое, родное, что-то очень близкое сердцу всякого русского человека. Он уже готов был испытать к жителям города чувство ностальгической любви, как вдруг в левом нижнем углу картины приметил маленькую, но подозрительную фигурку. Нагнувшись и пристально рассмотрев ее, Николай Алексеевич понял, что это, должно быть, пьяный мужичок, который присел за высоким забором, чтобы справить естественные надобности в неподобающем для этого месте. Причем, детали посадки, мастерски подмеченные художником, не оставляли сомнений. Этот скрюченный человек собирался нагадить в центре городка.

Николай Алексеевич с отвращением выпрямился, грустно посмотрел на благообразную улыбающуюся старушку и сказал:

- Да, действительно натурализм. - И тут же категорично добавил: - Но это для нашего времени не характерно… И вообще - гадость!

Старушка при этом недоуменно посмотрела на него, вся сморщилась и сделала губы коромыслом. Она явно не ожидала от молодого человека такой реакции. А когда он поспешно стал удаляться от нее, она облегченно вздохнула и еле слышно пробормотала: -

- Сегодня день такой.

Потом был новый зал. Вздох облегчения и нарастающий благоговейный восторг, желание непременно запомнить и насладиться неброской красотой России. Вот только почему-то ощущения гармонии с увиденным уже не возникало, а взгляд устремленный на очередную картину с изображением провинции как бы сам собой опасливо опускался в левый нижний угол. Нет ли там чего?

10.Курилко Алексей («Мой папа – Высоцкий», «Не киношная любовь»)

***Алексей Курилко***

**МОЙ ПАПА – ВЫСОЦКИЙ**

Мне было лет пять. Почти шесть. Я рос без отца. Но я точно знал, что он у меня есть. Потому что стоило мне чем-то огорчить маму - она тут же начинала кричать, что я вечно порчу ей кровь, и что я весь в отца, и я треплю ей нервы, второй папа. А иногда, например, когда я ел или просто смотрел телевизор лёжа на диване, подперев голову рукой, мама, полюбовавшись какое-то время моим видом, невольно произносила неожиданно ласково: «Вылитый отец».

Да, я был убеждён, что он есть. Но я его совсем не помнил. И ничего о нём не знал. Мать не любила, когда я затрагивал эту тему. На вопрос о том, где мой папа, мать начинала злиться: «Где? Я бы тоже хотела знать, где и как живёт твой папашка, пока я из последних сил тяну эту лямку одна! Ему- то что? Настругал детей и живёт себе припеваючи. У него душа не болит. Совесть не мучает. Алиментами откупается».

Вот ещё одно доказательство того, что папа был. Каждый месяц мы с мамой отправлялись на почтамт и получали денежный перевод. На обратном пути мама неизменно ворчала: «Он думает, это деньги? Это гроши! Он хоть знает, сколько стоит детская обувь? Лично мне от него ничего не надо, но о собственном сыне он мог бы побеспокоиться. Так нет! Все деньги, небось, уходят на блядей!.. Это плохое слово. Не повторяй его никогда. Слово плохое, но маме можно. У мамы нервы, как бельевые верёвки… И зла не хватает… Понял?»

Я утвердительно кивал. Я уже выучил с полдюжины таких нехороших слов. Но повторять их в принципе не стремился.

Изредка лишь уточнял у мамы:

- Бляди – плохое слово?

- Очень плохое.

- А что это такое?

- Ну, это такие женщины, которые нравятся твоему папе.

Короче, он был. Просто его не было рядом с нами.

Как-то раз я перебирал наши грампластинки. На самом дне коробки, где они хранились, наткнулся на две пластинки, которые мы никогда не слушали.

- Не трогай их, - сказала мама, - это папины. Я не хочу их слушать.

- Папины?

Я изучил обложки. На обеих был запечатлён мужчина с гитарой. На одной обложке мужчина сидел в красном кресле, на спинке которого висел кожаный пиджак; на другой мужчина сидел на белом кубике, а рядом стояла красивая белокурая женщина.

Мне вдруг всё стало ясно. Это и был мой папа! Конечно! Точно!

Но я решил уточнить.

- Это точно папины пластинки?

- Ну ещё бы! Он ими очень дорожил, но я ему их не отдала. Из вредности. Обойдётся. Я пережила его предательство, и он переживёт…

Всё сходится! Значит, он певец. А вот эта белокурая женщина – одна из его блядей. Поэтому мама запрятала их так далеко. Чтобы не злиться.

Я был рад, что так легко всё разгадал. Я ликовал. Тайна раскрыта! Хотя мама особо и не скрывала. Она же сама призналась. Но на всякий случай я постарался контролировать себя и не выказывать своей радости.

- Давай поставим, - небрежным тоном попросил я. Так, словно мне было всё равно – поставит она или нет.

- Ты ничего не поймёшь, - сказала мама. – Тебе не понравится.

- Ну и что, поставь.

И чтобы у неё не возникло даже мысли, будто для меня это важно, я махнул рукой: мол, знаю, что не понравится, но ты поставь, пусть будет.

Мама включила магнитолу. Поставила пластинку и ушла на кухню готовить ужин.

Как только я услышал этот хриплый баритон, я тут же почувствовал – это голос моего папы. Последние сомнения улетучились. Их развеял голос. Голос отца.

Слушая песни, я внимательно рассматривал конверт, из которого была вынута заветная грампластинка. По слогам прочитал: Вла-ди-мир Вы-соц-кий.

Сердце бешено колотилось. Я находился на грани обморока. Моего папу зовут Владимир Высоцкий.

Я внимательно всматривался в лицо на обложке. Ну конечно, мама права, мы поразительно похожи. Что не удивительно. Ведь я его сын.

Прослушав первую сторону, я сам, очень аккуратно, перевернул пластинку.

В комнату заглянула мама.

- Ну что? – спрашивает.

- Ничего, – говорю, стараясь усилием воли унять колотившееся сердце.

- Нравится?

Я неуверенно кивнул и задержал дыхание. Боялся, что мама расстроится или разозлится, но она лишь покачала головой и сказала:

- Ничего не поделаешь – порода.

С тех пор я почти каждый день просил поставить мне Высоцкого. А потом научился и сам управляться с магнитолой.

Мать ворчала:

- Сколько можно слушать этого алкоголика?

- Он алкоголик?

- А ты что – по голосу не слышишь?

Мне хотелось сказать что-нибудь в его защиту, но я не знал, что.

И продолжал слушать Высоцкого.

Мать была права, не всё мне было понятно в его песнях. Но это не имело значения. Что не понимал – додумывал. Например, фразу «я обхожу искусы» я понимал так: человек (сам папа?) обходит место, где его могут искусать собаки.

Особенно мне нравились его шуточные песни. Про жирафа. Про утреннюю гимнастику. Но и остальные я тоже скоро разучил.

Взрослые только диву давались, когда слышали, как я вместо «голубой вагон бежит-качается» напевал: «мы не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой».

А иногда по ночам я просыпался в слезах. Мне снилось, что папа приезжает к нам, весёлый, с гитарой, он поёт, рассказывает всякие интересные истории, обнимает счастливую маму, а потом он ведёт нас в кино или в зоопарк, а люди оглядываются, смотрят на нас и говорят: «Не может быть… Это Высоцкий. Лёшин папа».

Конечно, я понимал: папа артист, ему некогда приезжать к нам, но хоть бы разок, на денёк…

Затем я уговорил маму купить ещё новых пластинок. К тому времени как раз вышла новая серия - «На концертах Владимира Высоцкого». Это было что-то необыкновенное! Я был счастлив. С каждой зарплаты мама покупала по одной пластинке.

Однажды по телевизору транслировали фильм «Место встречи изменить нельзя». Раньше я не видел этого фильма. И когда на экране появилось лицо Высоцкого, я от неожиданности воскликнул:

- Папа!

- Что? – спросила мама.

Я решил, что пора признаться. Больше не имело смысла что-либо скрывать.

- Всё я знаю, - говорю. (Сообщаю это тоном доброго инквизитора.) - Знаю, - говорю, - кто мой папа…

- Я, слава Богу, тоже знаю, кто твой папа.

- Он!

И я решительно ткнул пальчиком в экран.

- Кто он?

- Высоцкий!

Мама так сильно удивилась, что потеряла дар речи, а когда полминуты спустя речь вернулась к ней, голос был сдавленным, сиплым, словно кто-то невидимый держал её крепкой рукой за горло.

- Лёшенька, ты себя хорошо чувствуешь?

- Он мой папа! – выкрикнул я. – Ты просто не хочешь говорить!

Кажется, мама поняла, что я вот-вот расплачусь, поэтому заговорила со мной тихо и ласково.

- Милый мой, хороший… Поверь мне, я не стану тебя обманывать… Твой папа – да простит меня Бог – такой же алкаш, как и этот, только менее талантливый. Я говорю правду. Твоего папу зовут Лёня. И у него такая же фамилия, как у тебя. Курилко. Но я надеюсь, что когда ты вырастешь, ты будешь совсем другим. Ты будешь честным, сильным и добрым. А может, даже и знаменитым, как этот твой Высоцкий.

- Да?

- Ну а почему нет? Чем ты хуже других? Ты у меня умный, красивый… С богатой фантазией… как оказалось.

Мама обняла меня и крепко прижала к себе.

- Тоже, глупыш, выдумал! Надо же! Сделал меня любовницей Высоцкого… Ты хоть никому об этом не рассказывал? А то ещё не хватало… Нашим сплетницам только повод дай, а уж они-то додумают – и как я на концерты к нему ездила, и как где-то в гримёрной… О майн гот! Любовница Высоцкого… У него там своих хватало… Бабы его любили…

А я сказал:

- Только ты его больше не обзывай.

- Кого?

- Высоцкого.

- Хорошо, не буду. Сдался он мне, твой Высоцкий. Садись, смотри фильм, а я пойду, лекарство приму, а то ты меня в гроб загонишь своими фантазиями…

**Не киношная любовь**

1

– Да наливай, не спи! И пей... Шо ты её греешь? Ну, не хош – не пей, я тя заставлять не собираюсь… Плесни, гаврю! И рассказуй! Усё выгружай, шо там у тя на душе! Рассказуй усё как есть! Там же, я чую, любовная драма и комедия у тя разыгралась … Скажешь, не? Молчишь? Вот то-то… Я давно просёк! Мине можешь не заливать… Знаю тя как облупленнава, на моих же глазах рос... Вы ж для миня усе как рОдные... А то и ближе рОдных, потому шо рОдные уже даже не пишут и не звОнют. А к се не позовут – они ж миня сисняюца... Да ты нальёшь мине уже или де?! Слава те Господи! Наконец-то очнулся! А то я сарю, ты вроде как и не здесь. Пора те, Дым, поведать мине усё от начала, как грит-ца, и до конца. Ферштейн?

2

Ни один самый талантливый писатель не способен составить достойную конкуренцию своими выдуманными рассказами, тщательно сконструированными или же вдохновенно изложенными на скорую руку, тем странным, а порой невероятным трогательным историям, которые порой случаются в реальной жизни с самыми обыкновенными и мало кому интересными людьми. Вот вам одна из таких реальных историй, я её не выдумал, а всего лишь перенёс на бумагу почти в таком же виде, в каком услышал от одного из главных участников этой жизненной и, стало быть, слегка абсурдной трагикомедии.

Дело было на исходе прошлого века, в самом конце девяностых годов. (Страшная эпоха для одних, но интересная для других. Лично для меня –страшно-интересная.) Звали её Люсей, а не как теперь – Людмилой Андреевной, и было ей девятнадцать лет. Она училась на педагогическом и едва сводила концы с концами, поскольку время было тяжёлое, студентам платили мизерную стипендию (да  и ту периодически задерживали), которой едва хватало на квартплату. А на руках у неё была семилетняя сестра Варя, и приходилось Люсе подрабатывать корректором в маленькой редакции паршивой скандальной газетёнки желтоватого оттенка, рассказывающей со своих страниц о знаменитостях всякие грязные и фривольные сплетни, а то и откровенную ложь. (Когда какая-нибудь оскорблённая звезда, не зная, куда истратить лишние деньги, подавала на газетёнку в суд за клевету, редакция тут же меняла название газеты и адрес офиса и продолжала «творить» в том же духе.) Люсе было неприятно, стыдно даже рассказывать знакомым о своём сотрудничестве с таким дешёвым органом печати, но деньги, пусть и небольшие, существенно помогали содержать себя и сестру и потихоньку расплачиваться с долгами, сделанными после того как она похоронила мать, всего на полгода пережившую любимого мужа, знаменитого в советское время учёного-микробиолога, академика Томского. Полжизни академик Томский, положивший все силы на алтарь науки, провёл, изучая и борясь со всякого рода бактериями, а умер от банального гриппа. После развала Советского Союза выше любой науки стала наука выживать, а также наука приспосабливаться к новым экономическим отношениям, чья теория была на первый взгляд простой и бесхитростной: купи подешевле, желательно не за свои, за чужие деньги, продай подороже. Некогда высокая зарплата академика не успевала за бешеным ростом цен. Никогда нигде не работавшая Люсина мама, всю себя посвятившая заботам о трёх детях: старшей Люсеньке, младшей Вареньке и самом беспомощном – муже Андрюшеньке, была вынуждена пойти в посудомойки ресторана «Сайгон», открытого в помещении бывшей детской библиотеки, пока Томский пребывал в депрессии после того как был проведён на заслуженный отдых, а по сути, отправлен домой за ненадобностью. Страна переживала глобальные перемены. Микробиология претендовала на слишком большую долю тающего на глазах государственного бюджета. Государству было выгоднее не замечать микробиологию в упор, а частные коммерческие предприятия даже с помощью микроскопа не могли разглядеть, какие большие доходы или хотя бы маленькую финансовую прибыль могла бы принести им микробиология .

Государственная дача и автомобиль ушли в область предания. Сбережения съели внезапный дефолт и медленно, но верно растущая инфляция. Томские распродали вначале мамины украшения, затем столовые сервизы и кухонную утварь, а когда дело дошло до папиной библиотеки, академик Томский слёг с нервным переутомлением. Два месяца больничного режима и скромного рациона превратили его, пятидесятишестилетнего мужчину, в глубокого худого, седого старика. Вернувшись из больницы поздней осенью, академик Томский подхватил грипп и спустя две недели умер. За ним мужественно – как для хрупкой женщины – пережив два инфаркта, последовала верная и любящая супруга.

Впрочем, к главной истории всё вышесказанное имеет лишь отдалённое, косвенное отношение. Мой рассказ о Люсиной любви, случившейся тогда, когда сама Люся находилась в шаге от суицидальных мыслей. Обычно таких мыслей она не допускала только из-за ответственности перед младшей сестрой. Та училась во втором классе. Люся утром отводила Варю в школу и спешила, не выспавшись толком, на пары, затем в редакцию, домой же приезжала к восьми, когда сестрёнка после продлёнки ждала её под дверью уже часа полтора-два (у них от входной двери остался всего один ключ, лишние копейки на создание дубликата никак не откладывались, и тогда откладывалась на неопределённое время идея сделать дубликат, который Варя – хоть на шею вешай тот ключ на веревочку, бесполезно – всё равно умудрилась бы скоро посеять). Быстро сварганив ужин, накормив сестру и уложив её спать, Люся успевала написать несколько горьких строк в дневник – многолетняя привычка, затем падала на диван, а то, бывало, засыпала в отцовском кресле прямо за письменным столом, чтобы утром, залив в себя две-три чашки крепкого кофе, принять душ  и, разделив остатки ужина между Варей и кошкой Лилит, снова нестись по привычному кругу.

«Я красиво гарцую, – писала она в дневнике, – гордо и благородно, стройная и породистая, в позолоченной узде, в побитом молью плюмаже, по кругу, как цирковая лошадь, и если у этого цирка есть зрители, они готовы любоваться моей лёгкостью и грацией, не догадываясь о том, что не останавливаюсь я только потому, что боюсь, потеряв инерцию, упасть и более уже не подняться. Загнанных лошадей, как мы знаем, пристреливают, не правда ли? Так вот, в нашем цирке моё поведение ни у кого никакого сочувствия не вызовет, только оживит программу своей неожиданностью. Зрители будут жадно наслаждаться моим падением и безуспешными попытками встать. И никто не пристрелит меня из жалости. Патроны и те предназначены для тех, кто стоит на рынке хоть сколько-нибудь, а у меня ничего нет. Только эта трёхкомнатная камера пыток, и даже на неё уже облизываются жуликоватые дельцы и проходимцы. Я не могу её продать. Отец бы мне этого не простил. Он любил эту квартиру. Мне кажется, что он и мама... Не пойму – боюсь или надеюсь... Он и мама всё ещё здесь, с нами. Если мы переедем в однокомнатную, а сюда переедут какие-то жлобы из новых русских, то они, мои милые родители, умрут вторично. Да и школа Вареньки здесь, и друзья её… Я потерплю. Мне бы только диплом получить, а там найду хорошую работу...

Люсенька, кого ты пытаешься обмануть? Преподаватель русского языка и литературы – какая хорошая работа тебя ждёт?

Есть ещё молодость и красота...

Люся, ты уже этим готова торговать?

Нет, я не о том совсем. Вон Дуднев в люди выбился, бизнесмен, с криминалом вроде бы не связан… Любит меня по прежнему…

Но ведь ты, Люся, его тоже «по-прежнему» не любишь?

Да при чём тут любовь? Размечталась! Он меня сводил на концерт, потом в ресторан, всё допытывался, какое вино я предпочитаю, а я незаметно в сумку бросала еду для Вареньки! Он, дурак, в машине с поцелуями лезет, а я только и думаю, чтобы он своими лапами стрелку не пустил на моих последних чёрных колготках!

Да ты просто его не любишь!

Да ну при чём тут любовь?!

А вот не любишь – и всё!

А вот и не всё! Он к себе зовёт – не иду, но не потому, что не люблю его (хотя и не люблю тоже), а оттого что у меня нижнее бельё в двух местах заштопано. Нет, это стыдно! Вот и вся любовь...

Зато потом ходила бы в шелках, мехах и бриллиантах.

Ой, Люся, не тревожь мне душу глупыми мыслями, ложись уже спать, а то завтра себя винить станешь»...

3

Так вот она и жила-жила-поживала. Квартиру разменивать, чтобы продать большую часть, не торопилась, всё отговаривала себя, надеялась на чудо. Неизвестно на какое чудо. Может, в лотерею выиграет. (Она изредка покупала билет, за что потом себя сильно корила.) Может, просто найдёт целый чемодан денег – в одном фильме двум малолетним оболтусам так повезло. А может, мамин брат из Америки приедет, чтобы забрать их к себе. Правда, мама была не уверена, что он именно в Америке, она даже не была уверена в том, что он жив, так как от него двадцать лет ни слуху ни духу … В общем, чуда какого-то ждала, а какого именно, точно не знала… Наверняка тянула время перед неизбежным решением продать квартиру. А может, думала, сдать комнату какой-нибудь приезжей? Такой же студентке, как и она, только приезжей.

И терпеть незнакомого человека в доме?

Так ведь приятную, хорошую, порядочную девушку надо найти…

Но если попадётся хорошая, то они наверняка подружатся? А как с подруги деньги брать? А главное – чужой человек в доме. Сейчас такое по телевизору рассказывают – ужас…

Люся постепенно готовила себя к неизбежным переменам и ужасно этих перемен не хотела, боялась их...

4

Люся, как когда-то отец, была и сама на грани нервного срыва. Классная руководительница Вари в третий раз – письменно, через дневник Вари – требовала срочно сдать деньги на ремонт класса! Занять было не у кого. Пора было принимать какое-то решение. Брать квартиранта или подыскивать вариант с продажей и переездом в более скромную квартиру в другом районе, подальше от центра города.

Душевно она себя более-менее подготовила к вынужденной необходимости грядущих перемен, но неожиданно для себя как-то раз с удивлением заметила, что жизнь её постепенно начала улучшаться. Приводя однажды в воскресенье в порядок отцовский архив, – давно уже собиралась, – обнаружила среди писем стодолларовую купюру. Отец в жизни не прятал от семьи деньги. Всё до копейки всегда отдавал матери. Либо мать их сюда в отцовский ящик сунула и забыла, либо купюра тут хранилась в виде сувенира со времён заграничных командировок отца. Правда, он рассказывал – что-то такое Люся смутно помнила – будто валюту выдавали в строго ограниченном количестве и вся она обычно уходила на сувениры, подарки для мамы и детские игрушки для неё, Люсеньки... На купюре стоял год 1979-й. Год её рождения. Вероятно, это совпадение было не случайно. В тот год он точно ездил в Канаду… Интересно, в Канаде своя валюта или американские доллары?.. Хотя доллары нынче всюду. Ходят везде. Вот теперь и у нас тоже...

Эти сто долларов пришлись весьма кстати. Люся отдала остаток долга, купила мешок картошки, заплатила за электричество... Оставшаяся сумма предназначалась классной руководительнице Вари. Но та отказалась брать у Люси деньги. Сказала, что только на днях услыхала от кого-то из родительского комитета об их семейной трагедии. Требовать деньги на ремонт класса она будет только у тех родителей, что смогут оплатить его безболезненно: у Рыбальченко вон папа – банкир, у Вдобишовой родители из-за границы не вылезают – пусть платят. А Варе она, наоборот, уже выбила бесплатные обеды в школе как ребёнку из неполноценной, то есть неполной семьи.

Люся обрадовалась, хотя и немного огорчилась, что теперь Варю начнут считать девочкой из «неполноценный семьи». Слова «малообеспеченная семья» Люсе тоже не нравились. Как-то неприятно резало слух. Словно они люди второго сорта, неполноценная семья, получается, они неполноценные люди, ущербные какие-то, в общем, не такие, как все. Но настаивать на том, чтобы учительница взяла деньги на ремонт, Люся не стала. Купила Вари сапожки, а себе две пары колготок. Хотела, правда, сначала починить краны. Три дня названивала в ЖЭК. Всё гадала, хватит ли оставшейся суммы заплатить сантехнику. Тот неожиданно явился сам, когда Люся уже потеряла надежду лицезреть его по крайней мере в ближайшем будущем. Сантехник пришёл трезвый, мрачный, злой... Краны починил, но от денег отказался сразу и категорически и только уже у порога вдруг резко передумал, но взял только на «поллитриндель» – так он выразился – «из уважения», а за сам ремонт не взял ни копейки. Сказал: «Я у дочери любимого мого академика гроши брать не буду. Ферштейн?» И не дожидаясь ответа, ретировался.

Отца её раньше многие уважали, а теперь о нём помнит только пьющий и мрачный сантехник. Кто бы мог подумать?

Спустя пару дней – ещё один приятный сюрприз: мамин брат, дядя Альфред объявился. И не просто объявился, а передал с оказией немного денег и норковую шубу для своей сестрёнки. Люся проплакала весь вечер. Дядя Альфред не подозревал, что мама уже умерла.

В общем, в Люсиной жизни как бы наступил некий светлый период. И в редакции повысили расценки. И соседи сверху отдали коробку кошачьего корма – им из Англии привезли, а у них кота давно нет, он в новогоднюю ночь выпал из окна и разом лишился всех своих девяти жизней...

Определённо жизнь не только перестала сжимать ей горло, но и, можно сказать, улыбалась ей миролюбиво и благосклонно.

Тем не менее Люся решила всё-таки квартиру продать. Не из-за финансовых трудностей, нет. Из-за мистики. Или полтергейста. В таких вопросах Люся не разбиралась. Она только знала, что дома начали происходить загадочные и необъяснимые явления.

Люсе было страшно.

Во-первых, в квартире перемещались с места на место всякие предметы и вещи. Во-вторых, некоторые вещи исчезали, а потом появлялись вновь. В-третьих, Лилит вела себя так, словно ощущала в квартире чьё-то потустороннее присутствие... А Варя однажды сказала, что папа не умер, а лишь временно исчез из виду, а так-то он всё ещё с ними.

Ну ладно я, думала Люся, схожу с ума. Нервы, усталость, тревога – всё объяснимо. Но Варя? А самое невозмутимое создание на всём белом свете – Лилит ? С ней-то что?

Люся убеждала себя в том, что если нечто потустороннее, мистическое и происходит в квартире, то бояться ей не нужно, поскольку это, вероятно, дух её отца. Не может же дух того, кто тебя любил, когда жил в реальном мире, причинить тебе какой бы то ни было вред, утратив свою телесную оболочку. Нет, этот дух, наоборот, будет всячески тебя оберегать… От кого? От других духов... Плохих, чёрных духов… Значит, спрашивала сама себя Люся, в доме присутствуют и плохие духи?

Люся подумывала: не посоветоваться ли ей с Митей?

Да-да, совсем забыл упомянуть, что теперь помимо Дуднева, в её жизни появился ещё один мужчина...

Вот если начинает человеку везти, то везёт уже исключительно во всём и сразу со всех сторон...

5

— Не, Дым, ты в таких делах ваще не петришь! Извини, но те не фатает опыта! Не, ну и шо, хай так! Не хош рассказыать – ради бога, токо не гри, шо сможешь разрулить усё сам. Я ж вижу, ты не сибе. Так расскжи, пделись... Я ж по таким делам спец! Я тя выслушаю и я ж те и помогу хоча б советом. Как той старший тварищ... не глупый и чёткий... Тьфу! Чуткий! Ферштейн?

— Да понимаю я! Только оттого, что я тебе всё расскажу, мне никоим образом лучше не станет.

— Ну прям?

— И никаким советом ты мне помочь не сумеешь. Поскольку у задачки этой всего одно правильное решение, но оно-то и неверное. А верное решение – неправильное.

— Ты мине мозги-то не кастрируй...

— Просто сложившаяся ситуация усугубилась тем, что затронуты уже сугубо нравственные категории...

— Ты, Дым, давай токо не умничай! Книжки всякие читать и мудрёно грить – много на ума не надо. Ты от в книжках-то не нашёл то... чё те может подсказать мой жизненный опыт. Я ж те говорю, я в таких делах спец… Такую жизнь прожил – врагу не пожелаю … Так что или рассказуй усё как есть, или шо? Или пей! Ферштейн?

— Да я вот ума не приложу: с чего начать?

— Начинай… Начинай с самого, как грит-ца, начала! Не с конца же начинать? А то я запутаюсь.

— Вполне резонно.

— Рассказуй!

— Хорошо. Только я всё-таки выпью, ладно? И ты выпей!

— Яволь! Я шо – спорю? Не! Я грю: зер гуд!

6

— Я-то как себе простраивал мысленно свой дальнейший путь? Думал, что по возвращении точно уже возьмусь за голову – вычеркну прошлое, так, словно его и не было, попробую опять в институт поступить, в крайнем случае пойду на киностудию, там меня помнят, пойду хоть простым постановщиком. Люди увидят, что я за эти годы всё осознал, они помогут. Ясное дело, я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что с тех пор в стране произошли существенные перемены, но не до такой же степени… Я вернулся в абсолютно иной мир, абсолютно в другую страну… Какой там институт? У меня вместо паспорта только справка об освобождении... ни прописки, ни документов, ни денег... Ничего! Один, как пуп! Во-о-от... Институт! Да теперь люди с полным пакетом документов чтобы лишь поступить в институт – огромные бабки платят. И чтобы учиться – платят! А я что? А киностудия? Две трети павильонов вообще закрыты, остальные сдают под аренду, и там чёрт знает что творится... Кино не снимается в принципе! А то, что снимается, язык не повернётся назвать «кино». Шлак! Благодаря которому у новых хозяев жизни есть возможность отмыть грязные деньги. Я думал, если не актёром, то хотя бы постановщиком. Да в постановщики «заслуженные» идут пахать, чтобы хоть что-то заработать. Народные артисты и всенародно любимые звезды – и те в полном простое. Месяцами, годами не снимаются...

А жить надо. Нового выхода, иного выхода я тогда не видел и снова начал воровать. Сперва работал с Мотылём, он оттачивал моё мастерство, многому обучил, мечтал сделать из меня «профи наивысшей пробы». Потом его прирезали старые дружки за какой-то давний долг. Ну, это ты лучше меня знаешь.

Я остался один. Наводчиком у меня был полный кретин. У меня создалось впечатление, что порой он после очередного запоя наобум называл адрес и время, когда хозяев не бывает дома. Однажды навёл меня на квартиру, в которой якобы жил академик, мировая знаменитость, тот будто бы прямо купался в роскоши. Ну ладно, всковырнул я ту квартирку. Академик, а замочек старый, открывается на раз-два.

Я сразу, как только вошёл, понял – тут проживают люди не зажиточные далеко. От былой роскоши ничего практически не осталось. С первого взгляда всё было ясно. Но я всё-таки по квартире прошёлся, порыскал, скорее больше присмотрелся, принюхался – ни драгоценностями, ни деньгами там уже и не пахло. По стенам висела пара каких-то старых картин, но в вопросах живописи и антиквариата я откровенный дилетант. Ну картины, ну вроде старые. А кто их писал, когда? Оригиналы это или подделки – откуда мне знать? Да и чего я – картины, что ли, резать буду? А с ними потом куда? Мой барыга с удовольствием принимал драгоценности, шмотки, электронную технику... А всякие там старинные книги, иконы, картины, статуэтки – он в этом не лучше меня разбирался.

В общем, уже уходить собираюсь, как вдруг вижу, на пианино фото в рамочке, под стеклом. А на фото девушка. И не девушка, а прямо ангельское создание. Милое такое, светлое по образу, и чистое очарование... Словами не опишешь. По типу – нечто среднее между Вивьен Ли и Одри Хепберн. Необыкновенно красивая. И глаза ну прямо светятся счастьем.

Вот же, думаю не без зависти, повезёт кому-то каждый день в такие добрые, счастливые глаза смотреть... Ушёл я, короче, ни с чем из той квартиры. Думал, что ни с чем, а оказалось, в памяти образ этой барышни унёс.

Представляешь? Вот как закрою глаза – так тут же её образ и всплывает. День прошёл, второй, а девица та из головы не уходит. Одним словом, наваждение… Никогда со мной ничего подобного не случалось...

На третий день не выдержал, опять в ту квартиру полез. Исключительно ещё раз на фото глянуть. Старался убедить себя в том, что я себе её красоту нафантазировал. Вот, мол, гляну свежим взглядом, чтобы убедиться: не такая уже она Елена Прекрасная, и всё! Наваждение рассеется, как утренний туман.

Но не тут-то было. Помню, стою перед пианино, гляжу на фото и сам себя убеждаю, настраиваю: «Ну и что в ней такого особенного? Ничего особенного! Как сотни, как тысячи других». Даже вслух эту фигню, как мантру, проговариваю.

А сам при этом налюбоваться ею не могу... Вот нравится она мне – и хоть ты убей меня! Сам на себя уже злюсь. Идиотизм ведь, если со стороны такое наблюдать. Стою, как дурак передо иконой. Любуюсь. Прямо… типа… влюбляюсь вроде…

Во-о-о-от, значит... Думал фотокарточку эту умыкнуть, чтоб не приходить больше. А как? Начинаю размышлять, анализировать – вытянуть саму фотокарточку или вместе с рамочкой? Так в любом случае пропажу заметят. На пианино кроме этого фотопортрета ничего нет, стоит на видном месте. Пустота сразу же в глаза бросится. Ну и пусть замечают! Мне с того что! Да и не будет никто из обитателей дома поднимать кипиш из-за исчезнувшей фотографии! Это же ерунда! Мелочь! Но ты ведь знаешь, как Мотыль говорил: «Крупная рыба на мелочи ловится». Не помнишь? У Мотыля было пять любимых присказок, это одна из частых. Стоило мне сказать «это, мол, пустяки», или там «не суть важно», или «остальное уже детали», он обычно хмурился и всегда сперва переспрашивал: «Детали, говоришь»? Или «Нюансы, значит»? А потом злобно так: «Запомни, щенок, для вора и нюансы важны! И мелочи, и пустяки! Учитывай всё вплоть до мельчайших деталей! А то ведь крупная рыба на мелочи ловится». И что интересно, эта фраза всякий раз приобретала свой особый смысл в зависимости от контекста. Частенько смыслы эти противоречили друг другу.

Мотыль ведь не только в практике воровского ремесла был силён, он был, только не смейся, и практиком, и теоретиком, и – не побоюсь этого слова – идеологом, а также своего рода мыслителем. У него имелась целая философская концепция, по которой воровство не просто являлось одной из самых древних профессий, оно вполне могло быть даром богов. Древнегреческие боги-олимпийцы то и дело прибегали к кражам, ограблениям и воровству. Лучшим по этой части всегда считался Гермес. Мотыль много размышлял над всем этим, и хотя мысли свои он выражал, скажем так, языком незамысловатым, некоторые его наблюдения поразительны, а углублённые раздумья ошеломляют неожиданными выводами. К примеру, Библия. Ветхий завет. Самое начало. Кража совершается человеком раньше, чем другие – будущие на то время — грехи. Ева, соблазнённая Змием, по сути, по его прямой наводке втайне от Бога срывает плод с древа познания добра и зла, пробует его, затем уговаривает изведать плод и Адама. При всей коварности проклятый Змий оказывается прав – Господь их обманывал: они не умерли, но узнали много нового. Все трое были сурово наказаны.

Ладно, не о Мотыле речь, хотя если бы не его влияние, я бы сейчас, наверное, так не мучался бы. И с тем фото тогда бы, не мудрствуя лукаво, поступил здраво и сурово: взял – и в карман. Так нет же! Полез я по ящикам в поисках фотоальбома. За пару минут – мастер! – нашёл три массивных фотоальбома и восемь толстых тетрадей дневников.

Я не какой-то урод моральный или дикарь бескультурный. Я прекрасно знаю и – что особенно важно – понимаю, что читать чужие письма и дневники и низко, и подло, и всё такое прочее…

Так я и не собирался их читать. Хотел лишь понять: а случайно не красавица с фотографии является автором этих записей? Что-то мне подсказывало, что так оно и есть. И так оно и было. Я убедился в том довольно быстро, но прекратить чтение уже не мог: это было выше моих сил. Если лицо её на фото приковало к себе взор, то её дневник столь же цепко завладел полностью жадным вниманием моей души. Я читал, забыв обо всём на свете.

Время шло своим чередом – минута за минутой, один час сменялся другим, а я весь погрузился в чтение. Прочитав половину первой тетради, непроизвольно бросил беглый взгляд на часы – и чуть не заработал инфаркт от изумления и ужаса: 17.20 – в любую минуту кто-то из хозяев мог застать меня тут за чтением! Стремительно уничтожив следы моего пребывания, я покинул квартиру, прихватив с собой недочитанную тетрадь.

Только я почувствовал себя в безопасности и расслабился, совесть, чей прокурорский голос я не слышал во время увлечённого чтения, напала на меня с утроенной силой. Как тебе не стыдно? До чего ты докатился? Ладно, воруешь, но это... Остановила её моя железная логика. Глупо ждать от человека, проникающего в чужую квартиру, что он не полезет в чужой дневник. К тому же я был влюблён. А у любви свои правила. Точнее, одно правило – никаких правил! Любовь – игра без правил!

К утру дочитал первую тетрадь. И отправился тут же за второй.

Через неделю я знал о моей любимой всё. Был в курсе её бед и радостей... Имел представление о её вкусах и предпочтениях... Понимал, как ей сейчас, после смерти родителей, одиноко и трудно…

Я начал ей помогать. То деньги ей подброшу, зная, что она собирается наводить порядок в отцовском архиве, то накормлю кошку... Саныча вот попросил съездить к ней, типа, он проездом из-за бугра, и будто её дядя-эмигрант передал сестре материальную помощь... Ты вон ей краны починил... А я её сестрёнке велик отремонтировал... Словом... Эй! Ты… спишь, что ли? М-да... Спасибо... Помог... Посоветовал... Спец...

И как мне быть теперь? Врать ей я больше не могу... А её хорошее ко мне отношение не выдержит испытания истиной...

Как меня угораздило влюбиться? Как будто мне других забот не хватало...

7

Когда-то он был гордостью детдома номер три. Учился хорошо. Два года подряд одерживал победу на республиканской олимпиаде по истории. В двенадцать лет занял первое место на международном конкурсе юных чтецов. Все знали, школу он окончит с золотой медалью. А потом его из сотни тысяч мальчишек выбрали для сьёмок видеожурналов «Ералаш». Ведь у него была такая фактурная внешность: лупоглазый, курчавый, да к тому же темнокожий. Нет, не совсем негритёнок, но почти что. Мулат. Смугленький, вылитый чертёнок... Как не использовать такую возможность? Под него специальный выпуск писали. А потом ещё один.

Самое интересное, киношникам невероятно повезло! Оказалось, у него явные и от природы яркие актёрские данные: любую поставленную режиссёром задачу он схватывал прямо на лету и легко, а главное, точно выполнял. При этом он был убедителен и органичен. Ему верилось. Его начали снимать в кино. Если дети всего Союза завидовали ему, то их родители были уверены, что он сын какого-то знаменитого артиста, а вернее, артистки, скорее всего, сын внебрачный.

Кто бы мог предположить, что ничьим он сыном не был. Не было у него ни матери, ни отца, ни знаменитых не было у него родителей, никаких …

Его, младенцем ещё, на конечной остановке обнаружил водитель троллейбуса. Позвонил в милицию. Родителей младенца искали, найти не смогли.

В приюте, не проявляя особой фантазии, его записали как: Дмитрий Дмитриевич Дмитриев. Толчком к этому послужил тот факт, что на пелёнке, в которую он был завёрнут, а также на распашонке и чепчике была вышита буква «Д».

В раннем детстве его частенько обижали, оскорбляли, дразнили, ему приходилось с кулаками отстаивать право быть человеком, а не: Обезьянкой Чи-Чи, Маугли, Бандерлогом, Черномазым, Чунга-Чангой и т. п. Теперь его статус в детдоме был заоблачным. Сверстники обожали его, младшенькие восхищались, старшие ребята относились уважительно, а Монгол – гроза и «божье наказание» административного руководства учебного заведения, буквально считающего дни до его выпуска, – сказал, что Димон, как он его называл, отныне под его личной защитой и, мол, если что, пусть всегда обращается. А взамен, как бы между прочим, Монгол попросил достать ему фотку актрисы, что играла принцессу в фильме «Обыкновенное чудо», и если будет возможность, пачку заграничных сигарет. Последнее Дмитриеву было устроить легче, из Болгарии он привёз блок «ВТ». И десять пачек жевательных резинок. Одна жвачка ценилась на вес золота. За неё могли драться насмерть. Одну жвачку по очереди жевало человек десять в течение двух суток.

До десяти лет Дима полагал, что он проклят, с его страданиями могли сравниться только мытарства диккенсовского Оливера Твиста, да и то Оливеру, как полагал Дмитриев, было легче, поскольку внешне он мало чем отличался от других беспризорных мальчишек, ему просто не везло по мелочам, тогда как Диме крупно непосчастливилось с самого рождения... Но уже через пару лет Димкина жизнь изменилась в лучшую сторону на двести процентов. Он мог уверовать в свою счастливую звезду... А между тем он всё время ждал от судьбы подвоха, предыдущие годы приучили его жить всегда начеку, не расслабляться...

Четыре года длилась эта сказка. Четыре года почти беспрерывных сьёмок у самых известных режиссёров страны. Кого и где он только не играл! В фильме о Пушкине изображал Пушкина в детстве, лицеиста... В другом фильме играл прадедушку великого поэта-гения – арапчонка, подаренного Петру Первому. Арапчонку предстояло стать в будущем крестником царя и дослужиться в русской армии до генеральского звания – фильм снимался по неоконченной повести Пушкина «Арап Петра Великого»... Он был задействован во всех фильмах об Америке, где нужен был темнокожий «бой». «Приключения Тома Сойера», «Пятнадцатилетний капитан», «Короли и капуста», «Мираж» и так далее... Всего около сорока картин. В пяти из них у Дмитрия были главные роли, в семи-восьми – второстепенные, в остальных весьма интересные эпизоды. В какой-то момент он уже мог позволить себе выбирать – какому предложению отдать предпочтение. Бессловесные роли он уже даже не рассматривал. Иногда позволял себе также ставить условия работникам от кино. Но он не «зазвездился». После съёмок он возвращался в учреждение, где был таким же, как сотни других детей, – никому не нужных, брошенных, забытых, преданных своими матерями, лишённых любви и родительской ласки.... Кто-то ему завидовал, но в основном детдомовцы гордились, что среди них есть тот, кто уже доказал – они не хуже детей, имеющих полный комплект родителей

Благодаря Дмитриеву к детям, живущим вне семьи, приезжали на праздники знаменитые артисты, певцы... Он договорился о том, чтобы родному детдому подарили три цветных телевизора.

Маленький Дмитрий мог стать большим человеком. Он зарабатывал неплохие деньги. Ему пророчили великое светлое будущее. Однако эти пророки не учли того, что Дима продолжал расти, а в советском кинематографе не так уж много снимается фильмов, где можно использовать его специфическую внешность. К тому же он не был стопроцентно чёрным. Если в кадре нужны были по сюжету рабы или чернокожие американцы – тогда ещё не настаивали на обязательном политкорректном слове «афроамериканец», – то он подходил меньше, чем студенты малоразвитых держав, которым Советский Союз предоставил возможность бесплатно получить образование.

Сказка заканчивалась, начиналась жизнь. На съёмки приглашали всё реже. Окончить десятилетку с золотой медалью не получилось. Из-за давнишних частых отъездов Дмитрий многое пропустил и не всё смог наверстать. Но он пока не отчаивался. Жизнь всё ещё к нему благоволила.

Раньше – до первых съёмок – самые задиристые ребята дразнили его, били «гуртом и в одиночку», старались всячески отравить ему жизнь. Но теперь всё было иначе. И не только в родном или параллельных классах. Теперь самые крутые пацаны спешили заполучить его в свою компанию, а в тех компаниях учёбу презирали, в тех компаниях ценились и культивировались иные способности – драться, воровать, пить, курить.

Нельзя сказать, что Дымок – такую кличку дали ему новые дружки – покатился по наклонной, но его усиленно сбивали с верной дороги на скользкий путь....

Получив аттестат, Дмитрий поступил в институт на актёрский, но одновременно с этим буквально чудом трижды еле избежал тюрьмы. Два раза обошлось вообще без последствий – спасло заступничество одного знаменитого режиссёра, а также Димино несовершеннолетие, однако в третий раз ему присудили два года колонии, к счастью, условно.

С Димой провели серьёзную беседу. И не одну. Все разговоры сводились к тому, что пора бросать водить дружбу с теми, кто тянет его за собой в яму.

Последнюю такую беседу с Дмитрием провёл старый, сильно пьющий, но любящий его как родного сына военрук, капитан в отставке Палыч:

— А ну, ком ту ми, шо скажу, слышь? Тя, Дым, наши голодранцы погубят тока так. Ты беги от ихнего влияния. Тот же Монгол или Кручёный уже на «малолетке» побывали, а до того полгода в специнтернате, это я про Кручёного грю, в ихняй жизни изначально усё было ясно, як у ночь кромешную. Так они ещё с Мотылём связались, он, кстати, тоже наш выпускник. Добрый же был хлопец лет десять назад, угнал автобиль, а ведь шкет ещё был тада – лет пятнадцать. У тя тлант от бога, ты можь в теятр после исинтута устроица, бушь там Дезмону по шесь раз на месяц душить… А хто ж там же главную роль в Отеле грать буд? Кму, як не те? Ты токо же фуйнёй-то не увлекася? Те над ртистом станвица! Поял? То есь... Ферштейн?

Дым заверил, что всё понял. Но через два месяца его вновь арестовали.

«Серьёзные люди» поросили его им помочь. Есть квартира, хозяева ехали на море, а форточку в квартире оставили открытой. Четвёртый этаж, но если по водосточной трубе, до форточки – рукой подать, а он парень ловкий, юркий, худой, но жилистый… Он залезет, откроет им тихонько дверь изнутри, п дальше… А дальше не его забота! Его дело – маленькое: залезть через форточку, а за маленькое дело – большие деньги.

Маленькое дело окончилось большим конфузом. Дымок, прямо как Вини-Пух в норе, застрял в форточке… У него родителей не было. И некому было удивляться тому, как быстро он растёт…

8

Сейчас Дмитриеву около пятидесяти. Его курчавые чёрные, жёсткие на вид, как проволока, волосы припорошены сединой.

Историю своей жизни он рассказывает спокойно, но иронично, красочно, порой даже хоть и с ленцой, но талантливо разыгрывает в лицах:

— Три месяца мы с ней встречались. Располагая её к себе, я, разумеется, использовал в полном объёме всю имеющуюся у меня из дневников информацию. Но обманывать её мне, помимо основного вопроса, даже не приходилось. Ей нравились те же писатели, что и мне, те же фильмы … Знал, правда, что Люсе нравится Мандельштам, а я с его творчеством знаком не был – решил выучить три десятка его стихов наизусть. Ради неё! И прозу этой её любимой Цветаевой прочёл… Переводы Уитмена раздобыл... Знал, что она любит, когда мужчина носит галстуки и запонки … Естественно, гардероб мой претерпел серьёзные перемены… Помнил, что розам всяким предпочитает ромашки обыкновенные или простые ландыши…

Я очень хотел ей понравиться. Произвести впечатление...

А ведь она была, знаешь, из тех, для которых немаловажно, что скажут знакомые… Что подумают соседи… Нынче-то времена совершенно иные, а тогда представить сложно, что могли подумать окружающие о девушке, которая идёт под руку с чернокожим. Ты же не станешь ко всем подбегать и рассказывать – он не иностранец, он наш, местный он...

И всё-таки она меня тоже полюбила. Важная деталь – именно конкретно меня, а не то, что я из себя строил вначале. Трудно ведь, когда по-настоящему любишь, что-то всё время играть, какой-то придуманный специально для неё образ держать. Во всяком случае, мне было невыносимо притворяться даже в мелочах, невыносимо не быть самим собой. И тем тяжелее было держать в секрете, что я … вор…

Я же ухаживал за ней эти месяцы с определённой долей шика. Конфеты, цветы, сувениры, игрушки для Вари, посещение кафе, концертов, поездки за город – всё это требовало определённых финансовых затрат, А я не скупился … Возникали вопросы… Врать о съёмках становилось все больнее…Больнее душевно… Неловко было ей врать… Я как-то терялся... Стал уже путаться во лжи... Тяжело, одним словом... Во-о-от…

А затем случилась та ночь. Она хотела, чтобы это произошло… А я… Я тоже очень хотел... Но я... Три месяца с ней встречался, а до того дневники её читал, но то, что она…ну… я и подумать не мог… Двадцать первый век скоро, а тут такие дела… И не предполагал я, и не догадывался… Я её так любил, что для меня это никакого значения не имело, но я был ошарашен, когда… ну, уже в процессе… вдруг понял, что я у неё первый… Помню, она губы до крови кусала … Я-то, самовлюблённый дурак, решил, что это она от страсти, а она от боли… Больно ей было в первый раз, понимаешь…

Потом у нас была еще одна ночь… Где-то спустя неделю… И в этот раз она испытала… ну… Как сказать? Хорошо ей было… И она всю ночь обнимала меня и не могла уснуть от счастья… Омрачать это счастье мне не хотелось, но я тоже был счастлив, что она счастлива, и мне было как-то… неудобняк, что я ее обманываю… В общем, в то утро я ей всё рассказал… Обманывать её после всего случившегося я уже просто не имел права.

Во-о-о-от, значит, всё ей выложил… как на духу, как адвокату, нет, как только, наверное, на исповеди, духовному человеку... И сразу же, помню, и легче стало на душе, и тут же тревожно очень... Кровь в висках пульсирует в темпе вальса, сердце бухает, вот-вот сознания лишусь от волнения... А у неё... У неё тоже сердцебиение – я прямо слышу, как оно там чечётку отбивает... И плачет безвучно… Я когда целовал, вкус слез почувствовал на вкус… Во-о-о-т… У неё истерика, а потом вдруг – резко – слёзы мгновенно высохли, в окно уставилась... И молчит… Шоковое состояние … Такое, знаешь, положение...

Для тебя, должно быть, всё это звучит старомодно? Нет? Палыч, к примеру, всегда говорил, будто я старомоден. Правда, такого слова он, кажется, и не знал вовсе. Он говорил «отсталый». Абсурд, честное слово... Ему уже 80 лет было, представь себе, он войну прошёл , в плену полтора года был, потом в сталинских лагерях поседел… Писал с ошибками (а ведь почти что педагог), а когда учиться, у него четыре класса в лучшем случае?.. Батю в ссылку, он за ним, а там и его хотели пристроить к делу, а он – в альпинисты, в горы.. Потом армия, потом Финская, потом Вторая... В армии привык, а учиться некогда... Да что там писал, он говорил – и то безграмотно, но отсталым считал меня. Ты, говорит (а сам боится челюсть выронить, она у него не по размеру была, всё выпадала), ты, говорит, отсталый и тёмный, как папуас, совсем-совсем тёмный, тунгус, наверно… Ха-ха... Юмор у него был такой… И не любил когда я, по старой памяти «выкал ему»… Я ж, говорит, тебе заместо отца, а ты мне заместо сына, так что, мол, никакого «выканья»… Простой был человек… Со сложной судьбой…

Но без шуток, он понимал этот век. А я, признаться, всегда себя, в любом возрасте чувствовал несовременным, отсталым, лет на 200… Но у меня никакого воспитания…

А Люся воспитывалась чересчур правильно…

И тем не менее сама жизнь нас свела. И соединила так крепко, что между нами и зазора не увидишь до сих пор. Лезвие ножа не просунешь! Прямо две половинки одного целого. А ведь только так и должно быть. Иначе – и не должно быть иначе… Это наверняка звучит для тебя невыносимо банально, но всё истинное так давно и всем известно и понятно, что смешно вслух проговаривать, неудобно… Зато любая новая ложь или новая глупость сверкает так, что ослепляет всех, у кого до того острое зрение было. И прямо на ручки просится... Вот результат… Блеск дешёвой мишуры принимается за яркий свет истины, а свет истины поблек от того, что её давно и часто лапали все грязными лапами.

Ладно, не о том речь.

Я признался ей во всём… Люся, значит, выслушала…Во-о-о-от… Выслушала, значит… И долго молчала, задумчиво глядя в окно…

9

Она поставила ему всего одно-единственное условие. Немедленно, раз и навсегда покончить со своей преступной деятельностью.

Дима так сильно обрадовался, что она тут же с ним не порвала, что на радостях сразу с этим условием согласился. Он совсем забыл, что на следующую ночь у него было запланировано одно очень крупное дело. Настолько крупное и серьёзное, что он к этому делу подключил ещё троих весьма авторитетных людей. Он об этом забыл, а когда вспомнил, было уже поздно что-то менять.

Ничего страшного, успокаивал себя Дым, он провернёт это последнее дело и завяжет окончательно, как и обещал. Да и дело, если выгорит, обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. И дальше они заживут вместе так, как жить способны только сумасшедшие, влюблённые и дети, как в сказке.

Но дальше – ничего не было. Дальше всё пошло совсем не так, как он планировал. По закону подлости он попался именно на том эпизоде, который должен был стать последним в его преступной карьере.

Учитывая его прошлое, ему, как злостному рецидивисту и организатору, дали десять лет. И этого срока было более чем достаточно, чтобы съесть себя живьём раньше, чем он выйдет на свободу, где сможет вновь увидеть любимую и всё ей объяснить. Ему уже мерещилась петля в углу тёмной камеры...

На суде он и ухом не повёл, когда оглашали приговор. Председателю даже пришлось переспросить: понят ли подсудимым вердикт, вынесенный ему судом. Он кивнул. Он понимал... ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО ХУЖЕ РАССТРЕЛА! И ещё понимал, что Люся сочтёт себя обманутой и ждать 10 лет того, кто предал её, обманул, она не станет. Она человек принципиальный . Он это знал по её дневникам. Нет, обманщика, вора и мерзавца она ждать не будет. Тем более десять лет.

Он оказался прав.

Она не стала его ждать целых десять лет...

Она и года ждать не стала.

Уже через восемь месяцев после его задержания она выбила с ним свидание…

На вопрос, кем она ему приходится, Люся честно призналась: я его судьба… И невеста… И мать его будущего ребёнка…

Кто будет проверять, когда пузо видно невооружённым глазом и в полутьме казённого дома...

Официально их расписали, когда она в третий раз приехала нему, уже в колонии.

А саму свадьбу сыграли только спустя семь лет, когда его досрочно освободили...

10

У них четверо детей. Дмитрий Дмитриевич время от времени снимается в кино, в сериалах, на телевидении… Людмила Андреевна преподает в школе.

Мне кажется, они до сих пор влюблены друг в друга… Во всяком случае, глядя на них, искренне веришь в то, что бывает в жизни такая сильная и почти киношная любовь, но любовь эта – настоящая, с первого взгляда и навсегда…Бывает же такое?

11.Матковский Максим («Вне зоны покрытия»)

***Максим Матковский***

**Вне зоны покрытия**

Суббота.

В квартире делать нечего.

Живу я сам. Убираюсь редко. Почти всё время в городе провожу. На работе. У друзей. В барах, пивных и прочих ужасных местах. Опустошение личности происходит по ряду причин.

Часто не ночую дома.

Раньше, полгода назад, у меня была собака. Я её забрал у родителей. В детстве они были против собаки, но я всё равно принёс щенка домой.

Щенка я взял у соседа Лёхи.

У них то ли овчарка родила, то ли дворняжка. Вроде она и овчарка, а одно ухо висит. Говорят, если одно ухо висит, то собака наполовину породистая. Не знаю. Всего у них было четыре щенка. Я выбрал самого резвого, пасть чёрная! Он носился по двору, выбегал через калитку, если кто-то её открывал. Рыл ямы в саду и гоголем расхаживал у соседей, пугая кошку.

- Как ты его назовёшь? – спросил Лёха.

- Не знаю, - ответил я. – Джек? Джек! Джек! Ко мне…

Щёнок мигом подбежал ко мне и прыгнул лапами на штанину, выпачкав её грязью.

Вышла мама Лёхи, она работала в больнице по ночам, поэтому днём всегда была раздражительной и уставшей. От неё пахло карболкой.

- Тебе точно родители разрешили взять щенка? – спросила она.

- Точно, - говорю.

- Сейчас я позвоню твоей маме и спрошу…

- А у нас дома телефона нет, - соврал я.

- Хорошо, бери его, только не обижай…

Первое время я щенка от родителей прятал у себя в комнате. Родители уходили очень рано, а приходили очень поздно. Отец вкалывал инженером на первой ступени каскада Киевской ГЭС, мать вкалывала в ресторане поваром.

Отец – высокий и худой человек. Он бы запросто мог сыграть главную роль в ужастике про вампиров.

Я его боялся.

Взгляд у него злой.

Редко когда улыбнётся, редко когда похвалит или возьмёт с собой.

Мать говорит, что он один там отвечает за все трансформаторы головой, поэтому очень переживает и устаёт.

Однажды ночью на ГЭС загорелся трансформатор и отцу позвонили. Он быстро оделся, схватил пачку сигарет и уехал. Вернулся он только следующей ночью. Вымотанный, руки дрожат.

Мне невыносимо жаль отца, когда он сидит на кухне угрюмый с телефонной трубкой и записывает какие-то показатели, договаривается. Но часто он выходит из себя, ругается, кричит… настоящий демон!

И тогда я ненавижу его. Желаю ему от всей души скорейшей смерти.

Мать говорит, что у них там все на работе ругаются, потому что работа очень нервная*. И если бы они на работе не ругались, то мы бы с тобой сейчас без света сидели*.

- Представь, в городе пропадёт электричество… и окажется, что папа виноват?

Я принёс щенка и постелил ему старое покрывало на балконе. Поставил мисочку с водой.

Родители дня два ничего не замечали.

А потом пришёл сосед и сказал, что не может спать, ведь щенок так жалобно скулит на балконе!

Папа пошёл на балкон, и на него тотчас же передними лапами наскочил Джек.

Папа сказал:

- Если ты не отнесёшь его туда, где взял – утоплю.

Так мы и прожили в квартире пятнадцать счастливых и ужасных лет: я, папа, мама и Джек.

Потом я купил однокомнатку на Салютной и забрал старого пса к себе. Иногда Джек падал на брюхо и не мог встать. Мучился от судорог. Что-то с сердцем. Лапы дрожали и отказывали. Я возил его в местную ветеринарную. Частная клиника.

Постоянные очереди. Люди с кошками, попугаями, хомячками…

Однажды в приёмной сидела маленькая девочка и плакала. На руках она держала декоративную крысу.

Девочка посмотрела на меня полными слёз глазами.

- У моей Кати облазит хвооостик… - сказала она.

Я же на руках держал большого старого Джека, с хвостом у него был полный порядок. Он дрожал от судорог, я смотрел в его карие глаза и гладил по спине.

У него глаза, как у старика на смертном одре. Он всё понимает, жизнь загнала его в тупик. Он чувствует, что уже не выбраться, вот он финал и… ветеринар делает укол.

И его отпускает!

Волшебство, скажу я вам. Настоящее, чёрт возьми, божественное чудо!

Он прыгает на задних лапах, тянет меня на улицу.

Я небольшой специалист по части догадок, о чём бы нам сказали животные, если бы умели говорить, однако уверен, что в тот момент Джек бы сказал:

*Господи, хорошо-то как!*

Да и выглядел он, как собака из рекламного ролика про собачий корм. На улице Джек принялся выплясывать на задних лапах вокруг старенького «дэо ланоса», который мне достался от отца.

*Хозяин, дружище, быстрее, поехали из этого проклятого места! Сеньор! Любезный мистер, давайте поскорее забудем обо всём плохом и отведаем говяжьих сосисок!*

Полгода назад Джек умер.

Я пришёл домой после работы. Он лежал на кухне. Ничего особенного. Всё к этому шло. Я смирился, что Джек умрёт.

Смерть – это не дикий вопль в ночи и не старуха с косой. Смерть – это всего лишь унылая коряга, плывущая вниз по реке.

Часто мне снилось, что Джек умер. Часто я приходил домой и думал: сейчас открою дверь, а Джек не выбежит меня встречать.

Он умер.

Мы похоронили его в лесопарковой зоне недалеко от дома. На кладбище домашних животных.

Я позвонил Лёхе и сказал:

- Пошли, пройдёмся.

Я замотал Джека в своё старое студенческое пальто, местами побитое молью. А потом одел сверху два мусорных пакета и перемотал скотчем. Правильно или нет? Я первый раз хоронил собаку.

Лёха взял лопату, была осень, моросил лёгкий дождь. Нет хуже города, чем Киев во время дождя. Небо серое, вороньё над девятиэтажными коробками кружит. Воздух чистый, кристальный. Что ещё сказать? Вы и сами всё знаете про тоскливый пейзаж спальных районов.

Дышится легко на кладбище домашних животных.

Некоторые могилки с крестами, на крестах – фотографии, кошечки и собачки, редко попадались попугаи и крысы. На некоторых могилках свежие цветы в баночках, вероятно, их принесли дети или сумасшедшие старушонки.

Я выкопал неглубокую яму и похоронил пса. Лёха произнёс что-то вроде надгробного слова:

- Ни разу не укусил, спасибо.

Лёха купил в «Форе» две бутылки севастопольского портвейна, и мы распили их в лесу. Тишина, никого. Мы сидели себе на пеньках и потягивали вино из бутылок молча. Курили сигареты.

После обеда позвонил Лёха, судя по веселому голосу – пьяненький, но ещё не так, чтобы в дым.

Отродясь я не помню такой тёплой зимы. Солнце и ласковый ветерок, никакого намёка на снег или мороз.

Лёха сказал:

- Приходи в парк через полчаса. Мы будем жарить мясо, и пить водку.

- Хорошо, - отвечаю.

И одеваюсь. Как тут откажешь?

Пиво – это трусость и слабость, вино – это прыщавая философия, коньяк – это плаксивая горилла, лезущая вам на плечи, а водка – это всё вместе взятое.

Каждый должен выработать свой собственный стиль борьбы с опустошением личности.

В парке никого нет, не сезон. Грязное озеро, катамараны, пристёгнутые друг к дружке цепью, закрытый павильон аттракционов и игровых автоматов, колесо обозрения маячит над голыми деревьями.

Я набираю Лёху и оглядываюсь.

- Алло, подходи за павильон с чёрного входа.

Там тяжёлая ржавая дверь. Внутри – разный реквизит и тир для стрельбы из лука. Посреди тира стол стоит. Ярко светят лампы. За столом сидят два мужика лет по тридцать пять. Девушка лет двадцати нанизывает на шампуры мясо и лук из большой кастрюли.

Я подхожу к столу и здороваюсь. Мужики представляются: Вадим и Коля. Девушка – Света. Они предлагают мне выпить. Как тут откажешь? Только начали пить, ещё не пьяные, мы пьём по одной. Закусываем помидорами, солёными огурцами и домашней, крепко проперчённой, бужениной.

Водка сразу хорошо, по-доброму вставила. В тир заходит Лёха с каким-то очень пьяным и очень толстым мужичком лет сорока.

Мужичок, пошатываясь, всем добродушно улыбается. Одет он дорого. Строгий деловой костюм и кожаная куртка.

Лёха говорит, что мужичка звать Андреем, и что он является его шефом – директором департамента регионов. Ещё Лёха говорит, что у его лучшего друга Коли сегодня день рождения. Я нащупываю в кармане джинсов двести гривен, сжимаю их и передаю Коле через рукопожатие свои поздравления.

Мы подходим к столу. Пьяный Андрей качается, грозясь завалиться на яства.

- Мы ещё с утра на работе пить начали, - объясняет Лёха. – Никого нет… красота! Все на выставку уехали! А мы вино, шампанское, чачу… дилеры из областей передают.

Андрей хочет произнести тост. Он плохо выговаривает слова. Запинается. Со рта летят слюни и кусочки еды. Из рюмки в его пухлых пальцах выливается водка. Ему снова наливают, водка опять выливается. Ему наливают ещё раз – и он тут же, не чокаясь, опрокидывает рюмку и суёт сигарету в рот.

Коля и Света зовут всех наружу. Там, в закрытом дворике стоит детская карусель, возле карусели дымит мангал, в мангале трещат раскалённые угли. Коля выносит водку, и мы начинаем пить на улице. Свежо, прохладно. Смеркается. Вадим рассказывает анекдот, я смотрю на всех и улыбаюсь – это во мне человеколюбие просыпается.

Звонит мать и спрашивает, где я и как, не хочу ли к ним заехать прямо сейчас. Я говорю, что сейчас никак не могу, у приятеля день рождения. Мать говорит:

- Давай, уйди пораньше. У нас новость. Отец уезжает в Запорожье. На год. Его там назначили директором ГЭС.

Я отвечаю, что приеду, как только смогу.

- Ты сильно хоть не напивайся там, - мать просит. – Отец этого не любит, сам знаешь.

А я не люблю его кислую физиономию, думаю я.

Когда Коля дожарил мясо, мы всё занесли внутрь и продолжили пить. Честно сказать, я сильно напился на улице. Мне много не надо, я худой и крепкое спиртное выпиваю редко. Только пиво с коллегами по проклятой бессмысленной работе. Поэтому и судить не могу – кто был пьян, а кто не очень. Лёха тщетно пытался вызвать такси Андрею и долго объяснял, как проехать в парк. Диспетчеры отвечали, что не могут подать сюда машину.

Андрей ответил, что ничего страшного, он ещё посидит. Он как будто и отрезвел немного. Ходил, разглядывал мишени и спортивные луки.

Спрашивал у Светы про луки, да про стрелы. Света, как выяснилось, подрабатывала у Коли в тире.

Вадим рассказал, что она даже в Олимпиаде два года назад участвовала.

Коля и Вадим – нормальные добрые мужики, мы мило беседовали, сыпали анекдотами и разговаривали про рыбалку.

Вадим работал на СТО, мазут в его пальцы въелся навечно.

Света включила магнитофон и начала танцевать с Лёхой. Жуткая русскоязычная попса. Я к музыке равнодушен. Не разбираюсь совсем, даже не знаю, что же мне нравится слушать.

- В детстве я всегда мечтал, чтобы мой папа или дед были директорами в парке Победы. Чтоб я мог с утра до вечера на аттракционах кататься, играть в морской бой... - говорю я.

- Ну, я же не директор, - Коля отвечает.

Я подымаю рюмку и уже толкаю тост:

- Желаю, чтоб у каждого ребёнка был такой папа, как ты!

Мы выпиваем втроём. Подбегают Света с Лёхой. Тянут нас за руки - танцевать. Мы танцуем. Зовём Андрея. Андрей протрезвел, такой добрый неуклюжий толстячок. С намечающейся лысиной. Танцует, всем улыбается.

Мне звонит мать. Она по голосу чувствует, что я уже крепко выпил:

- Ну что… когда домой заедешь? - говорит она осуждающим строгим голосом, как во времена моей юности, когда я шатался: бог знает где… и приходил домой в три утра, футболка от рвоты грязная, перегар километровый!

- Хорошо, - отвечаю (это единственное слово, которое я могу произнести, не запинаясь).

- Хорошо, - повторяю я, как много лет назад повторял, сидя за столиком где-нибудь в «Ноте». Где опасно, интересно, пьяно и накурено.

- Что хорошо? - строго спрашивает она.

Ничего не изменилось. Наши отношения застыли на уровне восьмого класса. В классе восьмом мы последний раз и говорили нормально. Без осуждений. Без подозрений. Без придирок и ненависти.

- Буду, - говорю. Она что-то отвечает. Я плохо слышу. Музыка громко играет. Выхожу во внутренний дворик. Там темень, я спотыкаюсь о низкое железное ограждение возле детской карусели и падаю. Телефон летит. Я больно ударяюсь подбородком о землю. Где-то под каруселью светится дисплей телефона. Я шарю рукой в лежачем положении и нащупываю его. Подношу к уху.

- Алё... ты слышишь меня? - рассержено спрашивает мать. – Нет, ну что это такое… опять твои загулы начинаются, я же тебя давно ни о чём не просила. А тут раз попросила. Ты уже напился…

- Не напился, - говорю. Лежу на земле, смотрю на звёзды. Лёха выходит во дворик и зовёт меня. Я не откликаюсь. Он уходит.

- Отец уезжает, - мать говорит. - Сегодня ночью. Я хочу с ним на неделю поехать. Помочь. У тебя есть ключи от дома?

- Есть, - говорю. Ключи от родительского дома я ношу на брелке вместе со всеми ключами - от квартиры, от гаража, от дачи.

- ЗНАЧИТ, я тебя попрошу... - и обязательно ей нужно говорить это сухое слово "значит". Как же оно меня злит. - Попрошу наведываться к нам каждый день, и желательно сегодня у нас ночуй…

- Да, мама, - говорю я.

- Всё, только много не пей, бери такси… я тебе позвоню завтра утром, - безапелляционно, категорично. Металлический голос. Ничего живого. Кладёт трубку.

Я захожу внутрь - в углу, возле старых игровых автоматов танцует Андрей. В руках у него бутылка водки. Он периодически отпивает из неё. Или делает вид, что отпивает. За столом сидят Света, Коля и Лёха.

- За Вадимом приехала жена, - говорит мне Коля и улыбается. Хлопает по плечу. - Давай выпьем, дружище...

Мы выпиваем. Краем глаза я замечаю, что Андрей вертит лук в руках. Света подбегает к нему и забирает лук. Кладёт лук на стол и начинает танцевать.

Она дёргает меня за рукав:

- Пошли, потанцуем, медленный танец… ну пожалуйста.

Я беру её за руки и смотрю ей в глаза. Глаза её - как два каштана в огне. Я сильно напился, но хочу напиться еще сильней.

Мы танцуем. Коля подаёт рюмку. Потом я погружаюсь лицом в её чёрные волосы и целую её. Сначала в шею, потом в щёку, потом в губы. Она не против. Прижимаю её к себе - чувствую её твёрдую грудь. Вокруг нас выплясывает и хлопает в ладоши Андрей.

- Хочешь пострелять из лука? - спрашивает она.

- Я не умею…

- Я тебя научу.

- А ты хорошо стреляешь? - спрашиваю её.

- Очень. Могу муху убить со ста метров.

- Робин Гуд?

- Робин Гуд приходил ко мне учиться.

Я подхожу к столу и беру самый большой помидор. Лёха и Андрей смеются. Они думают, я шучу. Иду в конец тира. Туда, где мишени.

Становлюсь возле мишени. Ставлю на голову помидор.

- Давай! - кричу ей.

- Ты мне веришь? - спрашивает Света и вкладывает стрелу.

- Не надо, - говорит Коля.

- Ладно, всё… - говорит Лёха и встаёт из-за стола. Я вижу, как летит стрела. Как поезд, на котором очень не хочется уезжать. Стрела летит целую вечность. Я не зажмуриваю глаза. Успеваю рассмотреть испуганные лица Коли и Лёхи. Рассеянное лицо Андрея, который внезапно застыл. Перестал танцевать. Стрела врезается в мишень возле моего левого уха.

- Не шатайся, - говорит Света и заряжает вторую стрелу. Я поправляю помидор. Вторая стрела попадает в мишень чуть выше головы.

- Не трогай помидор, - говорит Света. - Так нечестно.

Она улыбается. Заряжает третью стрелу и та уже мчит ко мне. Мякоть помидора стекает по моему лицу.

Коля облегчённо выдыхает. Андрей подходит ко мне и внимательно рассматривает стрелы.

- Еще чуть-чуть... - задумчиво говорит он. - Еще чуть-чуть…

Мы шумим в такси. На переднем сиденье сидит Андрей. Проспект Победы. Сначала мы закидываем Лёху, потом Колю, потом Андрея и едем в родительский дом. Подъезжаем к подъезду. Возле подъезда стоит другое такси. Я вижу, как таксист открывает багажник, отец кладёт в багажник чемодан и сумку.

- Остановитесь здесь, - говорю я таксисту.

- Ты - помидор, - говорит Света. - У тебя помидор на голове!

Мать садится на заднее сиденье, отец - на переднее. Высокий, худой, старый, сосредоточенный. Целеустремлённый. Похож на хищную птицу.

Он хлопает дверью.

Внезапно я выскакиваю из такси и машу им. Хочу попрощаться, хочу обнять отца и мать. Попросить у них прощения за то, что мало разговариваю с ними, за то, что редко приезжаю к ним, за всё-за всё… но такси поворачивает налево и скрывается в арке.

Мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Я открываю квартиру и вдыхаю до головокружения родные запахи: табак, чабрец, стиральный порошок и старомодный отцовский одеколон.

- Идём, - говорю. - Я покажу тебе собаку.

- Она большая? - спрашивает Света. – Я боюсь собак.

- Нет, еще совсем щенок.

Мы проходим коридор. Заходим в мою бывшую комнату. Сейчас - это кабинет отца. Тут он слушает радио, курит сигареты и копается в интернете.

Дверь на балкон открыта.

- Это твоя собака?

- Нет, это моего отца.

- Он кусается?

Из балкона через комнату к нам бежит щенок. Он виляет хвостиком и прыгает передними лапами на Свету. Света гладит его по голове.

- Какой красавец! - говорит она.

- Джек.

Мы еще немного сидим на кухне. Разговариваем. Шёпотом. Я нашёл в холодильнике белое вино и разлил по стаканам.

Мы идём с ней в спальню. Раздеваемся. Я выключаю свет. Комнату подсвечивает холодный неоновый свет круглосуточного магазина напротив.

Звонит отец:

- Совсем забыл сказать, покорми Джека завтра утром, я отварил куриные желудки. В холодильнике.

Не дождавшись ответа, он кладёт трубку. Я перезваниваю, чтоб сказать ему… сказать всё что хотел.

Но отец уже вне зоны покрытия.

12.Никитинский Юрий ( «Вовка, который оседлал бомбу»)

***Юрий Никитинский***

**Вовка, который оседлал бомбу**

Когда вечереет, я люблю смотреть из окна нашего нового дома на горы, за которые прячется солнце, и на дома внизу, уже укрытые тенью. Наш новый дом на самом деле старый, даже не знаю, сколько ему лет. Новый он только для меня и мамы, а раньше мы жили в небольшом городке на востоке. Ну, пока не началась война. И даже какое-то время после.  
Из моего старого дома тоже было интересно смотреть в окно - наша квартира находилась на третьем этаже. Например, я любил рассматривать трансформаторную будку, на которой Вовка написал, что я дурак, а я написал, что дурак Вовка. Там еще было много разных дураков и других слов, но наши выделялись, потому что мы их написали очень большими буквами очень широкой кисточкой.  
За будкой был виден сквер. В сквере стоял памятник какому-то герою труда без рук и почти без тела. Мама говорит, что такой обрубленный памятник называется бюст.  
Однажды Вовка забрался на плечи героя и стал ковырятся у него в носу. Я громко смеялся и тихо боялся одновременно. Смеялся, потому что это неожиданно и смешно - Вовка на плечах у взрослого бюста да еще со своим пальцем у него в носу. А страшно, что кто-то увидит и накажет нас за неуважение к памятнику. Ведь наверняка он установлен уважаемому и известному человеку.Мне, например, памятник никто не поставит. Поэтому у себя в носу можно ковыряться сколько угодно. Правда, мама говорит - это не красиво. Но взрослым редко угодишь.  
Из Вовкиного окна было видно еще дальше, потому что он жил прямо надо мной - на четвертом этаже.  
Как-то раз он слез со своего балкона на мой. Нам тогда обоим влетело от родителей.  
В Вовку попала бомба. Поэтому в Карпаты я переехал без него.

\* \* \*  
Вовка был очень любопытный и обожал помойку. Вечно в ней копался и находил разную ерунду, которую потом пытался выменять у пацанов во дворе и школе на что-нибудь полезное. Например, на старый чулок, в котором раньше хранили лук. Вовка вместо лука клал в чулок камень, раскручивал и бросал. Он не говорил, куда целится, поэтому всегда очень радовался "меткому выстрелу" даже, если камень в чулке улетал высоко в небо прямо у Вовки над головой. Когда он падал, Вовка бежал прочь от того места, крича на весь двор "В укрытие!".  
Как-то вечером, когда уже стемнело, мы пошли на помойку вместе. Там стояла большущая металлическая бочка. Мы заглянули в нее, но ничего не смогли разглядеть. Тогда Вовка зажег спичку, и мы снова заглянули в бочку.Это была бочка от краски. И на дне еще что-то осталось. Догорая, спичка обожгла Вовке пальцы. Он дернулся и бросил догорающую спичку. А краска как вспыхнет!  
По домам мы разошлись без ресниц, бровей и с опаленными чубами. Мама на меня накричала, а папа пошел к Вовкиному папе выяснять, кто из нас больше виноват. Одновременно Вовкин папа шел к моему, чтобы выяснить то же самое. Они встретились на лестничном пролете. Долго что-то обсуждали, а потом вышли на улицу в ларек. Полночи они сидели в беседке во дворе, вспоминали каждый свое детство и громко смеялись. Соседи даже вызвали милицию, потому что наши папы мешали всем спать.  
Если кто-то думает, что нас тогда пронесло, то он сильно ошибается - Вовку три дня не выпускали на улицу вообще, а меня - только за хлебом и за кефиром.

\* \* \*  
Вовка сказал:  
- Владян, нам с тобой нужно на самбо записаться.  
- Зачем? – спросил я.  
- Чтобы быть сильными и владеть приемами самообороны.  
Приемами владеть – это хорошо. У нас хулиганов в городе– завались!  
Секция самбо находилась от нашего дома в трех кварталах. Тренер посмотрел на нас без всякой радости и сказал, чтобы в следующий раз пришли не в спортивках, а с кимоно.  
Вовке родители кимоно купили, а мне мама сама пошила по выкройкам из интернета. Мое кимоно получилось круче, чем Вовкино покупное.  
На следующей тренировке мы много бегали, отрабатывали прыжки через себя и еще кучу упражнений. Ни одного приема.  
Еще недели две тренер нас гонял по залу. А потом стал показывать первые приемы. Мы разбились по парам и стали друг друга бросать через плечо. Выяснилось, что уметь нужно не только приемы показывать, но и правильно падать. Пока это дошло до Вовки, он несколько раз упал абы как.  
После тренировки он сказал:  
- Я больше не пойду на самбо.  
- Почему? – удивился я.  
- Ай, - махнул рукой Вовка. – Ходить далеко. Да и приемы так себе. Кулаками нужно драться. А то пока хулигана за руки схватишь, чтоб через себя бросить, уже сто раз по голове получишь.  
- А как же кимоно? – расстроился я.  
- А что кимоно? Когда откроют секцию карате рядом с домом, тогда и кимоно пригодится. И вообще, я знаешь как себе спину сегодня отбил!  
И мы перестали ходить на самбо. А карате у нас так и не успели открыть.

\* \* \*  
На первом этаже у нас жил татарин. Ну как, татарин. Это у него кличка была такая. Прозвище. Потому что, как человек может быть татарином, если у него имя Василий?  
В общем, перед своей квартирой он построил беседку, по которой вился виноград. А по вечерам под длинными лампами дневного освещения он играл с соседскими мужиками в нарды. И все его в азарте игры называли Татарином, а он смеялся и нисколечко не обижался. Смеялся он потому, что почти никогда не проигрывал.  
Поговаривали, что Татарин играл в нарды на деньги. Поэтому мама не разрешала папе вечером сидеть в беседке.  
Как-то раз осенью, когда днем постоянно моросило и делать на улице особо было нечего, мы с Вовкой бродили от дерева к дереву, прятались от дождя.  
- А давай Татарину лампы разобьем! – предложил Вовка.  
- А зачем? – спросил я.  
- А чтоб на деньги с мужиками не играл!  
Мне показалось, что это справедливо. Мы обошли беседку и стали в нее бросать камни со стороны трансформаторной будки, на которой было написано, что мы оба дураки.  
Обычно у Вовки все получалось немножечко лучше, чем у меня. На дерево он всегда залазил выше. Со своего балкона на мой спускался, а я – нет, потому что мне страшно. В машине за рулем уже несколько раз ездил сам, а я только на коленях у папы. Но в этот раз я швырнул камень так, что он сразу же попал в лампы. Грохот был такой, что мне показалось, весь город услышал.  
Мы с Вовкой неслись по улице с такой скоростью, что жалко нас не видел физрук, он бы сразу нам отличные оценки в четверти поставил. А то и в полугодии.  
Я бежал и громко повторял от волнения:  
- Я попал! Я попал! Я попал!  
А Вовка бежал молча, потому что завидовал тому, что не он герой момента.  
Мы только квартал пробежали, как закончился дождь, вышло солнце и установилась прекрасная погода. Про лампу как-то сразу забылось, потому что мы пошли кидать под колеса проезжающих машин опавшие яблоки из сада возле парка.  
Когда я вернулся домой, папа мариновал мясо. Сказал, что мужики из подъезда сегодня у Татарина будут шашлык жарить – нельзя упускать такой роскошный день. Я сразу обрадовался, ведь шашлык – это моя любимая еда. Особенно, если его жарит папа.  
Мы с Вовкой решили до шашлыков посмотреть какой-нибудь мультфильм у него на компьютере. Пока мы его смотрели, солнце стало заходить.  
И тут вернулся Вовкин папа. Он был злой. Он сказал:  
- Какие-то гады у Татарина лампы разбили. Ничего не видно – ни шашлыков, ни другой закуски, ни, понимаешь, того, из чего пить.  
Мы с Вовкой притихли. Если родители кого-то называют гадами, это значит, что они очень расстроены. А гадам лучше сидеть и не отсвечивать. Поэтому мы с Вовкой распрощались, и я пошел к себе домой.  
Дома папа жарил маринованное мясо на сковороде и тоже вспоминал гадов.  
Я сказал, что мясо и на сковороде хорошо пахнет, а папа мне:  
- Да что ты понимаешь! На сковороде! У нас планы были какие! Соления, зелень, лаваши – все уже закупили! А посидеть оказалось негде!  
Мне очень хотелось хоть как-то загладить вину.  
- Так позови всех к нам.  
- К нам, - махнул папа рукой. – Да в нашей кухне двоим взрослым тесно!  
На следующий день Васька Татарин купил новые лампы. Родители снова засуетились с приготовлениями. Но к вечеру опять пошел дождь.  
- Вот гад, - сказал папа куда-то в окно, бросая мясо на сковородку.

\* \* \*  
С Вовкой у нас была еще такая игра, когда совсем уж делать нечего: мы прятались за кусты и бросали друг в друга засохшие комья глины и земли. Обычно эти комья рассыпались еще в воздухе. Иногда долетали до кустов и рассыпались, ударившись о ветки. Так что после этой игры дома приходилось сразу лезть под душ.  
Моя мама всегда спрашивала:  
- Что нужно было сделать, чтобы принести на себе в дом столько земли? Вы что, в шахтеров играли?  
- В войнушку, - отвечал я, а мама только головой качала.  
Однажды вокруг куста, за которым прятался Вовка, кончились все комья. Зато нашелся камень. Вовка запустил им в меня, а я в это время высунулся, чтобы запустить глиной в Вовку. Но не успел, потому что Вовкин камень попал мне в широко открытый правый глаз.  
Я завыл на всю округу. Мне показалось, что камень ударил так сильно, что моргая я накрыл его веком.  
Вовка испугался и на всякий случай первый побежал жаловаться моей маме. Он сказал, что я слишком большим комком запустил в него, а он в ответ бросил камень в меня. Дальше мама не слушала. Она выбежала на улицу, а потом поехала со мной в больницу.  
Там мы просидели до поздней ночи, пока мне осматривали глаз, делали какие-то примочки и сооружали накладку. Мне даже сказали, что лучше чтобы я провел несколько дней в больнице под наблюдением врачей. Но этого я допустить никак не мог. Поэтому я снова начал реветь.  
Маме стало меня жалко, и ей пришлось написать отказ от больницы.  
Целую неделю я ходил с перевязанным глазом. А Вовка только завидовал.  
- Лучше бы ты в меня попал! Тогда это я был бы красивым раненым! В следующий раз целься лучше, мазила!  
Я решил, что в следующий раз в эту игру вообще не буду играть.

\* \* \*  
Иногда Вовка задумывался, глядя в одну точку. В такие минуты его голубые как море глаза на широком веснушчатом лице мутнели и становились зелеными как озеро. Иногда можно было даже разглядеть, что из одного зрачка в другой у него проплывал большой зеркальный карп.

\* \* \*  
- В некоторых людях, Владян, живут черви!  
- Глисты, что ли? – криво усмехнулся я. – Тоже мне, открыл Америку!  
- Сам ты глисты! – обиделся Вовка. – Глисты – это мелочь. А метровых африканских червей не хочешь?  
- Как это метровых?  
- Вот так. Они длинные и тонюсенькие, живут внутри тебя, а ты об этом даже не подозреваешь.  
- А чего сразу внутри меня? – теперь уже пришла моя очередь обижаться. –Может, внутри тебя?  
- Может и внутри меня, - Вовка не стал спорить. – Они медленно ползают под кожей и едят кровь.  
Мне стало жутко.  
- По ночам некоторые из них выглядывают наружу, - зловеще продолжил Вовка.  
- Как – выглядывают?  
- Вылазят в уголках глаз. И если ты спросонья зацепишь такого червя, то нужно его медленно тянуть наружу, наматывая на кулак. Спешить нельзя, потому что он может порваться и сбежать назад. А из-за того, что он будет порванный, он занесет в организм африканскую заразу. Тогда – всё. Заражение крови и в школу больше не пойдешь!  
- А куда пойдешь?  
- На кладбище, - буднично, словно говоря о погоде, произнес мой друг.  
- А как понять, что в тебе поселился такой червь?  
- В том-то и дело, что понять трудно. Он так устроен, что ничем себя особо не выдает. Только, когда близко к коже подбирается, то она начинает чесаться.  
- Кто?  
- Кожа.  
- Врешь все, небось? – с надеждой спросил я.  
Но Вовка как ни в чем не бывало, тем же спокойным зловещим голосом сказал:  
- А телевизор врет? Я по телевизору видел. Там один африканец до крови расчесал себе руку и ногтем червя поддел. Журналист от этого зрелища сознание потерял.  
Я застыл и прислушался к себе. Все тело чесалось. Особенно руки.  
- Вовка, у меня руки чешутся!  
Я прислушался еще.  
- И голова!  
Вовка достал из кармана яблоко, укусил и, жуя, произнес:  
- Голова – это вши. С ними особых проблем не будет – налысо постригся и всё.  
Мне стало так страшно, что я развернулся и помчал домой.  
- Мама! – закричал я с порога. – Мама! У меня руки чешутся! И черви!  
Мама долго не могла понять, о чем я, а поняв, сказала: чушь! Но я не унимался. Мне казалось, что у меня под кожей медленно ползают длинные африканские черви и некоторые из них даже надо мной тихо посмеиваются. Тогда она отвела меня в поликлинику на анализы. Там у меня ничего не нашли, а в качестве успокоительного выписали мне аскорбинки.  
После похода к врачам мама поговорила с Вовкиной мамой. Вовкина мама тоже сводила Вовку в поликлинику. У него оказались глисты.  
- Владян, у меня червей нашли! – радостно сообщил он после анализов.  
- Глистов, что ли? – усмехнулся я.  
- А хоть бы и глистов! Они что, не черви?  
- Черви, - согласился я. – Только не африканские.  
- А мне африканские и не нужны. С нашими договориться проще.  
Вовка развалился на скамейке, достал из кармана баночку с таблетками, высыпал одну на ладонь и закинул в рот.  
- И лекарства наши им тоже понятней, - сказал он и довольно зажмурился, подставив свои знаменитые канапушки солнцу.

\* \* \*  
В нашем городе был только один зоомагазин. Стеклянный такой одноэтажный павильон. Прямо напротив него стоял брат-близнец. В нем продавали цветы. Но не те, что дарят на праздник. Ларьков с букетами в городе хватало. А здесь продавались разные пальмы, лианы и прочие экзотические растения, которые нужно выращивать в больших и маленьких горшках.  
Мы с Вовкой чаще ходили в зоомагазин. Как в зоопарк. Смотрели на рыбок, попугаев, канареек. А цветочный магазин работал редко. так что там мы почти и не бывали.  
Как-то раз Вовка решил разводить канареек. Я тоже сразу решил разводить канареек. Мы выпросили у родителей деньги на клетки и птиц. Вовка купил кенара и канарейку, и я тоже.  
Первое время мы за ними очень ухаживали. Я даже своим канарейкам немного надоел, потому что днями сидел у клетки и любовался ими.  
Но Вовка вскоре передал шефство над своими птицами родителям. Он сказал, что устал. Ничего не происходит. Они чирикают себе, кенар иногда поет. Клюют свои зерна, скачут по клетке. Скукота. Разговаривать не хотят.  
- Так это ж не попугаи, - сказал я.  
- Не попугаи, - согласился Вовка. – Поэтому представляешь, как было бы круто, если бы они заговорили! Впервые в мире! Говорящие канарейки! Только у Вовки Павлова!  
Ого, подумал я, действительно круто. Только канарейки не разговаривают. Это я знал точно.  
В общем, я тоже стал постепенно остывать к своим птичкам. Но не так, как Вовка. Все равно я кормил их сам и сам убирал в клетке. И за это моя канареечка снесла яйцо!  
Я снова сидел у клетки и смотрел на то, как канарейка высиживала яйцо, а кенар ее кормил из клюва. Вовка приходил в гости и завидовал.  
- А мои не хотят яйца нести, - жаловался он.  
Но, когда появился птенец, я был сильно разочарован. Он появился какой-то неправильный. Правая нога была закинута за голову, будто он исполнял гимнастическое упражнение, но не смог разогнуться.  
Месяц он все рос в гнезде с этой ногой закинутой за голову, канарейки за ним ухаживали, как за самым обычным птенцом. Но он все равно умер.  
А потом моя канарейка снесла сразу два яйца! И птенцы на этот раз вылупились здоровые. И выросли! Один запел, это был мальчик. А вторая просто чирикала, это была девочка. Папа снова дал мне денег, чтобы я купил моим молодым канарейкам по паре. И на клетки новые тоже дал.  
Ох и развелось у меня канареек!  
Вместе с Вовкой я ездил их сдавать в зоомагазин. За кенара давали больше, потому что он умеет петь. Так что скоро я окупил папины затраты.  
Нас с Вовкой стали узнавать в зоомагазине. А продавщица сказала, что наши птички пользуются спросом и назвала нас молодцами.  
Но когда все началось, первые бомбы попали именно туда.  
Вовка сразу помчался спасать аквариумных рыбок.   
Ну, вообще, все сбежались к магазину, вернее к тому, что от него осталось, и спасали, кого могли. Над обломками стояла продавщица и плакала. Увидев меня, она указала на мешок птичьего корма.  
- Возьми своим птичкам,- сказала она.  
На животных, которые не уцелели, мы старались не смотреть.  
Вовка отнес спасенных рыбок домой, а потом в обломках нашел еще и грот для аквариума. Рыбки у него жили в ведре, на дне ведра стоял грот. А водоросли мы надергали в городском пруду.

\* \* \*  
Когда открыли подвал в доме, чтоб было куда прятаться во время обстрелов, мы с Вовкой стали туда ходить просто так.  
Сядем у стены и мечтаем.  
Однажды Вовка спросил:  
- Хотел бы ты, Владян, жить на необитаемом острове? Как Робинзон!  
- Конечно, хотел бы!  
- Тогда нужно бежать из дома.  
- Куда?  
Вовка посмотрел на меня, как на дурака.  
- На необитаемый остров, - сказал он, сильно кривляясь.  
Теперь моя очередь была смотреть на него как на дурака и кривляться:  
- Ты что, совсем того? – я покрутил пальцем у виска. – Бежать! Что подумают твои родители, когда ты исчезнешь сейчас? Они же с ума сойдут. Решат, что тебя убили.  
Вовка задумался.  
- Да, об этом я не подумал... Но как только война закончится, надо бежать. Только чур на мой остров не высаживаться!  
- Это почему же? У Робинзона был Пятница, а ты совсем один хочешь?  
- И у меня будет Пятница.  
- Зачем тебе Пятница, когда есть я? Тем более из дома сбегать вместе будем.  
Вовка посмотрел на меня, улыбнулся.  
- Ну, какой ты Пятница? Ты Владян! Так что давай сразу договоримся – каждый обитает на своем острове.  
Мне стало обидно, что лучшего друга он так легко променял на какого-то неизвестного Пятницу.  
- Но в гости плавать можно каждый день. То ты ко мне, то я к тебе, - добавил Вовка, увидев, что я слегка надулся.  
- А что, наши острова будут рядом?  
- Да. Почти в притык. Согласен?  
- Согласен.  
Вовка закрыл глаза.  
- Ты что, спать собрался?  
- Не, жду, когда война закончится.  
Тогда я тоже закрыл глаза.

\* \* \*

Утром у наших дверей всегда что-нибудь есть – молоко, творог, мясо или овощи. Это наши соседи приносят. Помогают нам, пока мама не найдет работу.

А сегодня, кроме продуктов под дверями стоял еще и велосипед. Подарок от соседского мальчика Богдана. Только здесь на велосипед говорят «ровер».

Я очень обрадовался подарку, потому что дома у меня тоже был «ровер». Только его украли.

Мы сидели возле трансформаторной будки, и Вовка сказал:

- А давай поедем на дальний канал вьюнов ловить?

Я сразу согласился. Только у меня был велосипед, а у Вовки не было. Мой мне достался от папы, он на нем в детстве гонял. Говорил:

- Этот «Орленок» - самый надежный велосипед в мире!

Конечно, он был чуть тяжелее современных великов, но зато совсем не ломался. А если гнулось колесо, то я его легко снимал и ровнял прямо на скамейке. Никаких мастерских не надо.

Только «Орленок» для дальних поездок вдвоем все-таки не очень рассчитан.

Вовка сказал, что это ничего, и одолжил велик у Светки с первого этажа.

Родителям мы, конечно, ничего не сказали, а то так бы они нас и отпустили. После того, как снаряд попал в зоомагазин, нам вообще не разрешалось далеко от двора уходить.

Дальний канал находился в противоположной от блокпостов стороне. Так что нам страшно не было.

Вовка захватил с собой небольшую корзину, которой мы и ловили вьюнов, погружая ее в ил. Вьюны очень скользкие и пищат, когда их вытаскиваешь из корзины. А еще у них в районе головы есть маленькие шипы, об которые можно больно уколоться.

Мы их набрали тогда на большую сковородку. И перед отъездом назад решили хорошенько искупаться. Стали играть в чемпиона мира Олега Лисогора. Как рванули по каналу! Только брызги летели! Метров пятьдесят проплыли. Потом отдохнули и еще один заплыв сделали.

Обратно я плыл на спине, так у меня меньше сил уходило, а Вовка кролем, потому что на спине не умел.

И вот я плыву, только нос и глаза из воды торчат, и слышу какой-то странный монотонный звук. Переворачиваюсь со спины, а это Вовка ревет.

- Ты чего ревешь, Вовка?

- Владян! – рыдая, отвечает он. – Наши велосипеды украли!

Смотрю на берег – точно, не видно велосипедов. А одежда наша лежит.

Только я сразу не поверил, подумал, что просто великов в траве не видно. Но Вовка, конечно же, оказался прав.

Мы оделись, а Вовка продолжал выть. Хорошо хоть мелочь в сандалях осталась. Видимо, воры так торопились отхватить наши велики, что в одежде рыться не стали.

По дороге в город мы остановили грузовик с военными, рассказали свою историю. Военные нас подвезли, притормаживая возле каждого велосипедиста, чтобы узнать, не на нашем ли он велосипеде едет. Но на наших великах никто не ехал.

Вьюнов всех мы отдали пацанам с соседнего двора, чтобы дома не вызывать лишних подозрений. Потому что папе я сказал, что ездил на велике в канцтовары. А пока был в магазине, велик упёрли. Что Вовка рассказывал Светке, не знаю, но ему влетело больше.

- Вот так, Владян, и в приключение попали, и по голове от родаков получили! Это я понимаю – жизнь!

\* \* \*

- Владян, представляешь, на какой-то звезде где-то далеко сейчас стоит такой же точно Владян, только кожа у него зеленая или синяя, и смотрит на звезды, потому что его зеленокожий или синекожий друг Вовка сказал, что где-то далеко сейчас стоит такой же Владян. Представь, что вы смотрите друг на друга. Круто?

Так говорил Вовка.Я как представил, у меня аж голова закружилась. Потом смотрел на звезды. Было действительно круто!

\* \* \*

Вовке на обед оставили курицу. Сырую. Родители спешили на работу, сказали, пусть сам приготовит.

Мы с Вовкой достали ее из холодильника.

- Сначала, - сказал Вовка, - ее нужно обжечь на газу.

- Зачем? – поинтересовался я.

- Не знаю. Мама обычно так делает.

Я зажег конфорку, а Вовка стал вертеть курицу над газом и так и сяк.

- А сколько ее обжигать надо?

Вовка посмотрел на свою работу.

- Хватит. Теперь достань противень и разогрей духовку.

Я все сделал так, как он сказал.

Вовка торжественноуложил курицу посреди противня, затем достал из холодильника сливочное масло. Протер им сначала противень, затем курицу.

- Это зачем? – снова спросил я.

- Чтоб курица не прилипла к железяке. Нам ее еще переворачивать.

- Вовка, а солить ее будем?

Вовка сказал:

- Обязательно, - и густо посолил ее сверху и даже изнутри.

- А перчить?

- Молодец, Владян! Поперчить тоже нужно.

- Только давай не так сильно, как ты посолил.

- Снова молодец! – похвалил меня Вовка второй раз и подкинул над курицей горсточку перца. Он равномерно лег не только на тушку, но и на противень.

- Где научился?

- Нигде, только что придумал.

- Класс! А приправы добавим?

Вовка утвердительно кивнул и достал из буфета пакетики с сухим майораном, укропом и базиликом. Отсыпал три небольшие кучки, смешал их между собой, а затем снова просыпал все над курицей.

- Во даешь! – я был в восторге от поварского мастерства друга. – А что теперь?

- Теперь, Владян, ставим курицу в духовку и идем на веранду играть в нарды. Пока поиграем, она приготовится.

Веранда у Вовки пропахла рыбой. Вовкин папа был рыбак и браконьер. По ночам он ездил на водохранилища и ловил там большущих сомов. Однажды поймал такого, что он еле в ванне поместился. Сети он развешивал сушиться на веранде. Там же сушил рыбу поменьше.

Мне этот запах не очень нравился, а Вовке все равно, он давно привык.

В общем, мы сыграли в нарды один раз и перевернули курицу на противне.

Сыграли второй раз. Я у Вовки выиграл, поэтому он решил отыграться.

Сыграли в третий раз.

Запах печеной курицы стал перебивать запах рыбы.

- Вовка! – закричал я. – Курица!

Мы кинулись на кухню. Я выключил газ, Вовка открыл духовку и быстро достал противень с очень румяной курицей. Она была горчичного цвета с черными вкраплениями. Это обуглились наши специи.

- В самый раз, - сказал Вовка. – Вовремя подоспели. Ты сегодня вообще молодец, Владян.

Курица получилась что надо. Крылышки ее ужарились так, что их можно было грызть почти целиком. И, вообще, она замечательно прожарилась. Вдвоем мы ее на обед спокойно одолели.

А потом лежали на полу животами вниз.

- Мама говорит, что после сытного обеда нужно на животе полежать. Так все животные делают, - сказал я. Вовка не возражал, потому что возражать после такого обеда было трудно. Мы еле переводили дыхание.

- Класс, - только и сказал он.

\* \* \*

Иногда Вовке давали поручение убрать в квартире. Только после того, как он сделает уборку, разрешалось выйти на улицу погулять.

Вовка ложился на диван и настраивался.

Настраивался на то, что квартира уберется сама собой. Но она не убиралась.

Тогда он настраивался на то, что сейчас из шкатулки выскочат трое из ларца одинаковых с лица и сделают все, что Вовка им прикажет. Но никто из шкатулки не выскакивал. Да и никакой шкатулки у него не было.

Вовка настраивался дальше. Он говорил своей правой руке:

- Рука, рука, отделись от тела и сделай уборку, пока я буду думать!

Но правая рука не желала отделяться.

Только после нескольких настроек чего угодно, Вовка начинал настраивать себя:

- Встань и убери! Встань и убери! Встань и убери!

И вставал!

- Главное, Владян, как следует настроиться! – говорил он на следующий день, потому что предыдущие полдня настраивался, а потом полдня убирал квартиру.

\* \* \*

Бомбы прилетели прямо в школу. Одна взорвалась возле столовой, другая на стадионе. Еще одна воткнулась у ворот. Воткнулась, но не взорвалась.

Пока родители мчались домой с работы, Вовка умудрился оседлать не разорвавшуюся бомбу.

- Вовка, слезь с бомбы! Взорвется! – закричал я.

- Владян, это не бомба, а снаряд! – весело отозвался он. – И раз шмякнулся и не взорвался, то теперь уж точно не взорвется!

К школе сбегались дети и взрослые.

Появившиеся военные, застыли при виде Вовки на бомбе.

- Эй, малец! – хриплым голосом негромко позвал его один из военных. – Не шевелись!

Двое военных стали осторожно приближаться к Вовке.

Одной женщине стало плохо. Все остальные зеваки молча следили за действиями военных.

Вовка тоже застыл, сидя на бомбе.

Когда военные подобрались к нему поближе, Вовка напрягся.

- В милицию не дамся! – крикнул он.

Один из военных приложил указательный палец к губам.

- Тшш! Какая милиция, пацан! Сиди смирно! Сейчас мы тебя снимем. Главное спокойствие!

Но Вовка все понял не правильно. Он заревел на всю школу. Военные от неожиданности остановились. Но потом один из них сделал большущий шаг к бомбе, схватил на руки Вовку, отбежал на несколько шагов в сторону и упал на землю, накрыв его собой.

Но ничего не произошло. Лишь из-под военного был слышен Вовкин рев.

Когда военный поднялся, я подумал, что он просто оторвет плачущему Вовке голову за этот глупый поступок. Но военный только крепко обнял его и всё гладил молча по голове.

Зато как ему досталось от родителей, весь двор слышал.

Неделю потом он не выходил на улицу, а мне из окна рассказывал, что ему сейчас интересней мультики смотреть и книжки читать.

Так я ему и поверил! Книжки читать! Это его родители наказали!

\* \* \*

Строго настрого родители наказалинам гулять только во дворе, а при первых звуках выстрелов или взрывов бежать в подвал дома.

Но на улице стало жарко, а через два квартала от нашего дома во дворе какого-то института находился летний бассейн. Раньше там купаться не разрешали. Но теперь до бассейна никому дела не было. Никто его не охранял.

Так что мы с Вовкой тайком ходили туда купаться. Нужно было всего лишь перелезть через забор с сеткой.

Вода в бассейне, конечно, так себе. Зеленая. Ну, так не море же. Главное, что глубоко и в тени деревьев.

Вовка нырял, чтобы рукой достать дно, а я увидел, как через забор перелезли незнакомые мальчишки. Их было трое, они тоже пришли купаться. Только раздевшись, они не полезли сразу в бассейн. Они стали копаться в нашей одежде.

- Вовка, по нашим карманам лазят! – крикнул я и быстро взобрался на бортик бассейна. – Эй, а ну положи штаны на место!

Вовка вылез на бортик сзади незнакомцев.

Я подошел к тому, который рылся в наших вещах, вырвал у него одежду.

- Ты чего нарываешься?! – грубо ответил он.

Но дождаться ответа не успел, потому что Вовка уже столкнул одного его дружка в воду. А я столкнул этого. Третий сам прыгнул.

Мы схватили в охапку наши вещи и быстро перелезли через забор. Одевались уже на улице. И тут выяснилось, что Вовка прихватил штаны одного из тех пацанов. Он пошарил в карманах и, ничего в них не найдя, выбросил в мусор давно не работающей стройки.

- Вовка, ты что? – возмутился я.

- Это будет им урок. Нельзя лазить по чужим вещам только потому, что вас больше!

\* \* \*

- Вовка, как ты думаешь, тот зеленокожий или синекожий Владян с другой планеты сейчас тоже в подвале сидит и в темный потолок пялится?

- Ты что, Владян, с дуба рухнул? Чего синекожему Владяну по подвалам сидеть? У них знаешь, какая жизнь там! Нам и не снилось! Никаких войн, никакого ножа в спину, и народы там реально братские, будь ты хоть синекожий, хоть серобуромалиновый. Не то, что у нас.

Мы сидели с Вовкой в подвале. Наверху гремели взрывы. И никаких тебе звезд.

\* \* \*

- Знаешь что, Владян?

- Что, Вовка?

- Срочно нужно доброе дело сделать.

- А какое?

- А такое! Собаку надо спасать!

Я, конечно, не стал трогать Вовкин лоб и спрашивать про температуру, но ненадолго притих.

- Ты что, не понимаешь? – рассердился Вовка.

- Нет, - признался я.

Вовка сердито цыкнул.

- Через два дома живет одна бабка. Недавно у нее появилась несчастная собака.

- С чего ты взял, что собака несчастная?

- С того, - начал кривляться Вовка, - что она все время рвется с поводка! Как бабка выведет ее на улицу, так она и рвется на волю!

Мы пошли во двор того дома и стали ждать. Через некоторое время на улицу вышла бабка. На поводке у нее дергалась лохматая собачка. Она беспрерывно лаяла, пыталась кусать прохожих и действительно пыталась вырваться.

- По-моему, она бешеная, - сказал я.

- А я тебе о чем? Конечно, бешеная! Стала бы собака от нормальной бабки вырываться!

- Да я не про бабку говорю! По-моему, собака бешеная. Или дурная.

- Сам ты, Владян!..

Вовка обиделся.

Тогда я внимательней присмотрелся к бабке. Нос крючком, глаза мутные, волосы седые растрепаны. И что?

- И что ты предлагаешь?

- Я предлагаю подкараулить бабку, когда она пойдет в магазин. В магазин с собаками не пускают. Бабка привяжет ее у входа, а тут мы. Отвязываем, хватаем собаку в охапку и бежим!

- Куда?

- Домой!

Я решил, что Вовка готов усыновить собаку и забрать ее к себе домой и согласился. Ни бабка, ни собачка не выглядели счастливыми. Наверное, им и правда лучше жить раздельно.

Мы сидели в этом дворе, пока бабка с собачкой снова не вышла. Проследили ее до магазина. Бабка привязала собачку к дереву и ушла. Собака лаяла и рвалась с поводка.

- Вовка, - сказал я, - собака точно чокнутая.

- Посмотрел бы я на тебя, если бы тебя на поводке эта бабка водила. Тоже бы на людей бросался.

На цыпочках мы подобрались к дереву, отвязали поводок, Вовка подхватил собаку… И в этот момент из магазина показалась бабка.

- Ты что ж это делаешь, негодник? А ну-ка быстро отпусти собаку!

Ага, так Вовка ее и отпустил. Наоборот – он со всех ног припустил в сторону нашего дома, а я рванул следом.

Бабка оказалась не такой уж старой, как притворялась, потому что бежала за нами, размахивая пакетом с продуктами и обзывая нас всякими нехорошими словами. Она даже стала нас догонять!

- Ничего, Джек, - обратился Вовка к собаке. – Держись, скоро будем дома!

Но то ли собаку звали не Джек, то ли она вообще отвыкла у бабки от нормального отношения, не знаю. Только пока Вовка перепрыгивал через клумбы, сокращая путь, собака эта цапнула его прямо за нос.

- Ай! – закричал Вовка не своим голосом. – Что же ты делаешь, псина неблагодарная!

А Джеку так понравилось, что он цапнул Вовку еще и за руку.

- Владян, бросаю Джека! – сообщил Вовка, когда Джек уже летел в сторону догонявшей нас бабки. – Я тебе сразу говорил, что он бешеный!

- Вовка, это я тебе говорил!

Мы хотели уже остановиться, потому что давно не были на физкультуре и выдохлись. Только за нами все еще бежала бабка. А Джек этот проклятый бежал впереди нее и лаял.

Пришлось поддать газу.

Перевести дыхание удалось лишь тогда, когда Вовка захлопнул дверь своей квартиры.

- Все, слава богу, сбежали! – еле дыша, произнес он.

Но в дверь позвонили. Вовка аккуратно посмотрел в дверной глазок.

- Выследил нас этот Джек бешеный.

- Не открывай!

- Конечно, не буду!

Все-таки бабка эта была злюкой, как с самого начала и говорил Вовка. Она дождалась, пока с работы не вернулась его мама, и пожаловалась на нас. Сказала, что собака к ней прибилась из самой зоны АТО, а мы хотели ее украсть.

Мне, допустим, досталось меньше. А Вовке еще и уколы от бешенства делали. Потому что это Джек, оказавшийся Пальмочкой, нос ему до крови прокусил, собака!

\* \* \*

Город наш перестали убирать. Мусор чувствовал себя в нем полным хозяином. А стройки все забросили. Ни одного строителя.

Так что мы стали ходить гулять на ближайшую стройку.

- Давай, Владян, кастрик распалим и будем через него прыгать!

Вовка предложил, Вовка и распалил. Дров было навалом. Ящики, поддоны. Он прыгал на них, ломая доски пополам. А разжигал с помощью картона, которого здесь тоже было сколько хочешь.

Костер получился такой, что и не перепрыгнешь.

- Ничего, - сказал Вовка, - сейчас прогорит немного и можно будет прыгать. Я вот еще рубероида добавлю.

- Зачем? – спросил я его. От рубероида дым черный и картоху в нем не запечешь.

- От рубероида, Владян, дым черный. Будет как в кино. И мы через этот дым будем прыгать!

Я подумал, что это хорошая идея, прыгать через дым.

Костер немного прогорел, зато коптило так – света белого не видно!

И мы стали по очереди прыгать. Сначала в одну сторону. Потом назад.

Тут мне пришло в голову, что можно прыгнуть навстречу Вовке. Я предложил этот фокус ему, и он, конечно же, согласился.

- Прыгаем по краю, - сказал я. – Чтобы друг в друга не врезаться.

Мы побежали на раз, два, три. И вместо края, меня понесло в центр.

Оказалось, что туда же понесло и Вовку. Мы ка-а-ак врезались! Вовка отлетел в сторону, а я ногой в костер. А там смола от рубероида. Я сначала подумал, что мне ногу искры прожгли. Но когда мы потушили штанину, увидели на ноге капли смолы.

- Ты чего в центр-то полетел? – спросил меня Вовка.

- Хотел тебя слегка зацепить. А ты чего?

- И я хотел тебя зацепить.

- Балбес ты, Вовка.

- А ты, скажешь, не балбес? Зато ты теперь раненый, - и ногой своей по костру как ударит. Будто не костер это, а футбольный мяч. Ну, и заорал сразу, потому что тоже ногу обжог. Только орал он с довольной улыбкой – теперь и он раненым стал.

Мама, смазывая ногу «Спасателем» и забинтовывая, сказала, мало ей того, что она днями трясется, боясь, как бы к нам во двор чего не прилетело, так еще мы сами приключения на свою голову находим. Балбесы.

Я не возражал. Потому что мы к этому же выводу пришли. Сами. Без маминой подсказки. Ну, что мы балбесы.

\* \* \*

А потом мама совсем нервная стала. Прямо с катушек слетела.

Подумаешь, мы кастрик во дворе разожгли. Подумаешь, баллон от лака для волос в него бросили. Мы так часто делали. Баллоны эти зд*о*ровски взрываются. Ну, допустим, никто не ожидал, что этот не только взорвется, но еще и мне в лоб прилетит. Так что, из-за этого нужно кричать на весь дом? Еще и руки распускать?

Раньше такого не было.

- Накличете беду на себя! То он с ожогами придет, то с шишкой. А завтра чего от тебя ждать? С дружком твоим вместе.

Вовкина мама тоже кричала громко. Они же над нами жили. Так что слышно было нормально.

Мы после этого договорились с Вовкой костры больше не жечьдо конца войны, раз огонь так родителей нервирует.

\* \* \*

Мы стали готовиться к переезду. Мама сказала, что оставаться в городе небезопасно. И вообще, она в такой обстановке жить не может.

Вовкины родители тоже договаривались с родственниками, пересидеть у них.

Стало понятно, что мы разъедемся в разные стороны и увидимся не скоро.

- Давайте я вас на память сфотографирую, - предложила нам Вовкина мама.

Она нас причесала, поправила нам воротники и усадила у стенки, «чтобы фон был ровный». Мы сидели и пялились на Вовкину маму, пока она настраивала свой большой цифровой фотоаппарат – подарок на день рождения от Вовкиного папы.

- Так, ну вроде все. Ну-ка, сделали серьезные лица и посмотрели в объектив.

Мы немного поерзали, и только я успел сосредоточиться, как – щёлк! – вспыхнула вспышка. Вовкина мама удивленно посмотрела на экран фотоаппарата.

- Вова! Я же попросила сделать лицо серьезное!

- Я такое и сделал.

- Такое?

Вовкина мама показала нам то, что получилось. На снимке я был еще более-менее, а Вовка скорчил такую рожу – хоть стой, хоть падай.

- Давайте еще раз. Вова, будь серьезней! Сосредоточься!

Мы снова поерзали, принимая строгие позы и делая серьезные лица.

Щёлк!

- Вова! – Вовкина мама снова осталась недовольной.

Он получился так, будто его лицо невидимая корова пожевала.

- Да я сосредоточиваюсь! – возмутился Вовка. – Это ты спешишь! Фоткай еще!

Но каждый новый раз был хуже и хуже. Я не выдержал и стал смеяться. А Вовкина мама не выдержала и стала ругаться. Вовка тоже разозлился очень. И даже обиделся.

- Ты нарочно ждешь, пока меня перекосит!

- Это ты поджидаешь момент, когда я фотографирую и корчишься!

- Я не корчусь!

- А я не жду!

Все шло к тому, что совместной фотографии у нас не будет. И тут Вовкину маму осенило!

- Подождите-ка! Так, ты, Владик, сиди как сидел, а ты, Вова, кривляйся, - сказала она.

- Не буду я кривляться! Я вон и не кривляясь как получаюсь! А ты хочешь, чтоб я совсем уродом вышел!?

- Если моя идея не сработает, то удалим фото. Не бойся.

Я сосредоточился и смотрел в объектив не мигая. Вовка же наоборот – стал кривляться, мычать и сводить глаза к носу.

Щёлк!

- Невероятно, - удивленно прошептала Вовкина мама. – Как такое вообще может быть?

Мы с Вовкой склонились над экраном фотоаппарата.

- Ни фига себе! – сказали мы в один голос.

На снимке я и Вовка. Оба смотрим перед собой. Оба сосредоточенные и спокойные. Ну, у Вовки, конечно, легкая ухмылочка, но никакого кривляния!

- Случилось чудо, - Вовкина мама всё никак не могла прийти в себя. – С ума сойти! Ну, да ладно. Главное, что фотография на память получилась.

Для этой фотки Вовкина мама выделила мне флешку. Я могу в любое время подключить ее к компьютеру и посмотреть, как мы с Вовкой сидим у стены с ровным фоном и сосредоточенно смотрим прямо перед собой.

В тот раз мы пытались сделать еще несколько фотографий, действуя по той же схеме. Но больше поймать такой момент не удалось.

\* \* \*

Вовка достал из кармана рубашки сигарету и сунул ее в рот.

- Щичас, Владян, время такое, што нужно быть мужиками, - сказал он, сжимая сигарету зубами.

Выглядел он с сигаретой в зубах по-взрослому.

- Я согласен. А что нужно делать, чтобы быть мужиком?

- Например, курить.

Вовка чиркнул спичкой и солидно втянул в себя дым. Так же солидно выпустил. Посмотрел на меня, глаза его расширились. И совсем не солидно закашлялся.

- Кхе-кхе, не в то горло пошло, кхе-кхе.

Он протянул дымящуюся сигарету мне.

- Твоя очередь.

Мне не очень-то хотелось курить, потому что раньше я не курил и был уверен, что, если закурю сейчас, то мне обязательно влетит от мамы. Но и позорником, вместо мужика тоже быть не хотелось.

Поэтому взял сигарету, втянул дым. И закашлялся.

- Кхе-кхе, и у меня, кхе, не в то горло, кхе…

Дым этот был совершенно не вкусный, противный был. Но Вовка снова затянулся. На этот раз он почти не кашлял.

Тогда и яопять взял сигарету.

Так, передавая друг другу, мы выкурили ее до фильтра. И тут мне стало плохо. Вернее, у меня закружилась голова. И заболела одновременно. И сразу захотелось лечь. И я лег прямо на клумбу. И сразу понял, что лег неправильно. И перевернулся на другой бок. И снова было неудобно. И казалось, что земля пытается меня сбросить в небо.

- Вовка, - с трудом сказал я. – Со мной что-то странное происходит.

- Владян, помолчи, а то меня стошнит.

Вовка катался по клумбе рядом со мной.

- Вовка, а если сейчас прилетят бомбы, а мы тут на клумбе валяемся?

Он через силу приподнялся на локте. Лицо его было зеленого цвета.

- Владян, бомбы бросают из самолетов. А самолеты сейчас в войне не участвуют. В нас могут прилететь только снаряды.

- Так, а если прилетят снаряды?

- Плевать. Один снаряд я уже как-то оседлал.

Тут Вовку стошнило. Он вскочил и куда-то убежал. А мне стало все равно. Я лежал и смотрел на голубое небо.

Вовка вернулся с бутылкой воды.

- Пей, Владян, скорее!

И зачем-то облил мне голову. Я выхватил у него бутылку и жадно к ней присосался. Стало легче. Я смог сесть.

- Неправильную мне сигарету подсунули. Наверняка отравленную. Работа диверсантов.

- А кто тебе ее подсунул, Вовка?

- А я знаю? Шел по улице, вижу – сигарета лежит. Я и взял. Так они и действуют: разбрасывают по городу отравленные сигареты. Хорошо, что у меня деньги на воду были!

Я встал, и мы, поддерживая друг дружку, поплелись домой умываться, потому что в бутылке уже ничего не осталось.

- Скажи, Вовка, есть способы стать мужиками без сигарет?

- Есть, Владян, но давай пока спешить не будем.Нужно подождать года до двадцати одного.

\* \* \*

Я сбросил подушку с кровати и лежа на полу читал книжку про гарантийных человечков. Папа с мамой только-только ушли на работу. А Вовка уже шастал по двору.

- Владян! Владян!

Я подошел к окну. Вовка стоял внизу и махал мне руками.

- Выходи на улицу!

- Сейчас, мне пару страниц дочитать осталось!

- Давай, я тебя тут подожду!

Вовка сел прямо на землю, будто говоря, что не сойдет с этого места, пока я не выйду. Ага, как же! Он и секунды бы там не усидел.

Я снова улегся на пол. И тут как бахнет! Несколько раз подряд. Взрывы были такой силы, что меня засыпало стеклянными осколками, а дом застонал и задрожал. Я даже не успел накрыть голову подушкой.

Некоторое время после взрывов было очень тихо. Потом послышался женский плач и ругательства. Я осторожно поднялся, отряхнулся и выглянул в выбитое окно.

На том месте, где сидел Вовка, зияла воронка. Одно дерево возле трансформаторной будки было повалено. Саму будку сильно побило осколками. И вообще, по двору будто ураган пронесся.

Вовки я нигде не увидел.

\* \* \*

Когда вечереет, я сажусь писать письмо папе, который служит теперь в одном из добровольческих батальонов. А потом смотрю из окна на горы. И облака.

Вот прямо сейчас надо мной плывет не облако, а настоящая Вовкина улыбка. И я тоже улыбаюсь и машу облаку рукой.

Говорили, что в Вовку попала бомба. Чудаки. Почему же его тогда совсем не нашли? Потому что я знаю, он оседлал бомбу. И сейчас, сидя на ней, улыбается мне сверху.

- Владян, это не бомба, а снаряд.

- Привет, Вовка.

13.Феденко Александр («Частная жизнь мертвых людей»)

***Александр Феденко***

**Из цикла «Частная жизнь мертвых людей»**

**НЕДОСТОИН**

– Любви вашей, Клавдия Агаповна, я вовсе недостоин. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы, конечно, мне нисколько не симпатичны, а когда поворачиваетесь боком – даже противны, но, душа моя, вам нельзя глядеть на себя в таком жалком свете.

– Отсутствие ваших чувств, Клавдия Агаповна, повергает меня в пучину безысходности. И справедливо – ибо что я? Вошь, летящая на свет.

– Но, Иван Ильич, вши не летают. Они ползают, и препротивно.

– Вы очаровательны, как ангел, и столь же умны, и осведомлены обо всем. Как точно, Клавдия Агаповна, вы указали мое место – я вошь, ползущая на свет.

– Прекратите, не желаю слушать про вшей. Что вы там начинали говорить о любви?

– Недостоин.

– Этого мало. Продолжайте.

– Решительно недостоин любви вашей, Клавдия Агаповна. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы так говорите, словно в самом деле меня любите, а сами никогда в чувствах и не изъяснялись. Уж не хотите ли вы этими вашими насекомыми объясниться мне в чем-то исключительном?

– Что-то в этом роде, только совсем другое. Но я не пророню более ни слова.

– Вот как? Зачем же вы затеяли этот разговор?

– Хотел снисходительно просить, то есть нет, не так… хотел просить о снисхождении предложить вам свою руку и прилагающееся к ней сердце. Но вижу со всей отчетливостью…

– Иван Ильич! Зачем же вам моя рука, то есть нет, зачем мне ваша рука, не знаю уже как правильно, вы меня спутали, что толку от рук и ног, когда вы не желаете изъясняться в любви?

– Я не «не желаю»?! Но я вижу со всей отчетливостью…

– Прекратите! Прекратите видеть эту вашу отчетливость. Изъясняйтесь в любви, я разрешаю.

– Клавдия Агаповна, если бы вошь могла летать…

– Иван Ильич, нет ли у вас более возвышенных метафор? От ваших сравнений и в самом деле вши заведутся.

– Более возвышенных – недостоин.

– Душа моя, всмотритесь же в себя получше. Вы не так отвратительны, как это видится всякому при взгляде на вас.

– Вы находите?

– Нахожу, душа моя, нахожу. Взять хотя бы ваш лоб – не сократовский, прямо скажем, лоб, но и в нем есть свои интригующие изгибы.

– Это я ударился фонарным столбом. Как раз об лоб. Изрядно так ударился, с помутнениями.

– Сознание не теряли?

– Господь миловал, Клавдия Агаповна.

– Вот видите – у вас крепкая голова, это редкое достоинство в наше время. И чем не повод для женских чувств? А профиль – душа моя, покажите профиль.

– Но вы же сами давеча соблаговолили выговаривать, что сбоку – противно.

– Ничего такого я не выговаривала. Наоборот – соблаговолила заметить, что очень раритетный профиль. Нечто древнее в нем провисает. Антикварное. Пожалуй, даже археологическое, если приглядеться. Не пойму только что, но провисает.

– Не могу знать, Клавдия Агаповна, не имею гибкости увидеть свое лицо сбоку.

– Кто умножает познания – умножает скорбь, Иван Ильич. Вы счастливый человек, и не хотите делиться своим счастьем с другими.

– Это вы премудро заметили. Мне до вашей мудрости не взобраться, хоть бы и табуретку подставляй. Все равно, как вше не возвыситься до летящей мухи.

– Опять вы за свое?! Я требую, чтобы вы возвысились. Я настаиваю.

– Клавдия Агаповна, нет в нашем мире большего удовольствия, чем махать крылышками рядом с вашими возвышенностями, но недостоин я даже ползать по ним.

– Я не требую – я прошу вас, Иван Ильич, возвысьтесь и махайте, или машите – запамятовала, как правильно.

– Нет силы, способной поднять меня с колен, когда вижу все ваши достоинства со всей отчетливостью.

– Вот – вы уже и начали изъясняться, а делали вид, что не умеете. Продолжайте.

– Рожденный ползать – ползет.

– Несносный вы человек. Душа моя, вообразите себя хотя бы молью, я видела – моль вполне может летать.

– От близости вашей, Клавдия Агаповна, сгорают мои тщедушные крылья.

– Да что ж вы немощный такой? Черт с вами! Я сама спущусь до вас. Подайте мне руку.

– Не смею ослушаться.

– Так-то лучше. Держите?

– Держусь.

– А теперь – ведите!

– Куда, Клавдия Агаповна?

– К алтарю, душа моя, к алтарю. Дорогу я вам покажу. Вы ведь, Иван Ильич, орел-мужчина – я вижу это со всей отчетливостью.

– Лечу, душа моя, лечу!

**ПИРОЖОК**

Веня Пудиков купил пирожок с капустой и подавился.

– Сдачу не забудьте, – сказала продавщица, наблюдая, как он стремительно синеет. – Следующий.

– Какой-то эффект у ваших пирожков неположительный, – засомневался следующий. – Гражданин передо мной откусил и сразу посинел. Дефективный эффект.

– Это гражданин дефективный – подавился, вместо того чтобы кушать, оттого и синий. А пирожки вовсе не дефективные. Вкусные пирожки. Пирожки! Пирожки! Горячие пирожки! С мясом! С капустой!

Подошли любопытствующие, привлеченные судорогами Пудикова.

– Позвольте поинтересоваться, зачем гражданин на земле средь бела дня лежит? С какой целью?

– А он без всякой цели лежит. Пьяный он. Видите, как отчетливо посинел от бремени ежедневного алкоголизма. Водки попил, а закусить толком не успел. Пирожок надкушенный в руке держит.

– Если пьяный, то надо милицию звать. Они лучше знают, куда таких складывать.

– Не надо милицию, не пьяный он вовсе. Человек просто подавился, а вы на него наговариваете.

– Позвольте поинтересоваться, какой начинкой подавился гражданин?

– Капустной.

– Разве капустной можно так подавиться?

– Гляньте на его морду – такой кочан капустой не нарастишь.

– Это уж точно – мясными отъелся.

– Не в коня корм, – философски заметил прохожий в шляпе.

– Гражданин, позвольте поинтересоваться, вы каким пирожком так подавились?

– Зачем вы спрашиваете, когда он ответить не может?

– Почему не может?

– Не прожевал. Некультурно спрашивать, если кто не прожевал.

– Пусть знак подаст.

– Он и подает.

– Это не знак, просто гражданином агония овладела, вот и дергается без всякого смысла.

– Откуда вы знаете?

– Давеча одна вполне себе ничего дамочка компотом в столовой захлебнулась – так же дергалась.

– Позвольте поинтересоваться, компот из сухофруктов был или ягодный?

– Из моркови.

– Что ж это за компот такой – из моркови? Таким весьма неудивительно захлебнуться.

– Да уж, таким захлебнуться – раз плюнуть.

– Врет он все – не бывает морковного компота. Выдумал тоже – из моркови.

– А дамочка перед компотом пирожки не ела?

– Не знаю, не было мне интереса наблюдать за ней до того, как она захлебнулась.

– Может, она и не захлебнулась, а подавилась – пирожком, например.

– Да уж, пирожком подавиться – раз плюнуть.

– Что-то он притих.

– Вымотался.

– Этак он вовсе изойдет из жизни и издохнет.

– Издохнет.

– Да уж, нынче издохнуть – раз плюнуть.

Любопытствующие утомились глядеть на затихшего Пудикова и пошли дальше, жуя пирожки. А прохожий в шляпе даже философски наступил на Веню, отчего застрявший в горле кусок вышибся наружу.

Веня порозовел, отряхнулся и, забрав сдачу, пошел доедать пирожок и доживать вернувшуюся жизнь.

**ЧУЧЕЛО**

Любовь Льва Ильича к Розе Альбертовне была столь же огромна, сколь и безответна. Он находил свое чувство к ней бездонным и возвышенным, взаимных же чувств не обнаруживал вовсе. Лев Ильич видел, что супруга тяготится его страдающим лицом, но искусно это скрывает.

– Ты меня не любишь, – выговаривал Лев Ильич, просыпаясь поутру.

– Счастье мое, – отвечала ему Роза Альбертовна, – конечно, люблю. Что ты такое говоришь – глупости прямо какие-то. Люблю, очень люблю.

– Не любишь, – настаивал Лев Ильич, – не любишь и лжешь.

Роза Альбертовна тянулась к нему с поцелуем, но Льва Ильича передергивало от фальшивости ее прикосновения.

Они прожили вместе долгую и мучительную для Льва Ильича жизнь. Дивные движения души Розы Альбертовны, на которые он рассчитывал, пойдя на этот жертвенный брачный союз, обходили Льва Ильича стороной, будучи, как он все отчетливее понимал, направлены куда-то вбок.

– Из любви к тебе я все пойму и, может быть, даже прощу, – печально затягивался он привычной послеобеденной сигареткой. – В конце концов, твое счастье для меня превыше собственных страданий.

– Мне никто не нужен, кроме тебя, – шептала Роза Альбертовна, собирая посуду.

– Ложь. Знаю, что нужен.

Лев Ильич выдыхал едкий дымок и наливал рюмочку коньяку – скрасить мучения.

Он пробовал мстить за очевидную неверность супруги, но месть успокоения душе его не приносила.

«Что есть тело – бренный сосуд бессмертной души. А моя душа всегда с нею. Все мои помыслы о ней одной, все мои терзания. А где ее душа, с кем?» – и тоска с еще большей силой придавливала Льва Ильича.

Однажды Лев Ильич вернулся домой в особенно сильном любовном согбении. Роза Альбертовна робко взглянула на него. Нерешительность ее была замечена и прочтена.

– С кем ты была целый день?

– Одна, ждала тебя.

– Пуще твоей нелюбви мучительна мне твоя ложь.

– Я не лгу тебе.

Лев Ильич приблизился.

– Признайся. Облегчи душу покаянием.

Роза Альбертовна улыбнулась ласково и кротко в ответ, Лев Ильич распознал в ее молчании скрытое признание, гордая душа его не потерпела насмешки, и крепкие руки впились в тонкую податливую шею.

– Признайся! – кричал униженный супруг.

Но Роза Альбертовна молчала, высокомерно похрипывая.

Выместив боль измены, Лев Ильич успокоился, поужинал и окончательно вернул себе благоустроенное расположение духа. Он даже хотел сказать что-нибудь любезное Розе Альбертовне, но, увидев покореженное выражение лица ее, передумал и быстро уснул.

Утро Лев Ильич привычно начал скорбным «Ты меня не любишь», но Роза Альбертовна впервые не ответила. Он повторил громче – вновь без ответа. Роза Альбертовна, сраженная убогостью души своей и не изыскавшая сил нести бремя тщательно скрываемого обмана, умерла.

Лев Ильич недоумевал, размышляя, что делать с неживой Розой Альбертовной. Проще и разумнее всех прочих вариантов было бы выбросить ее. Но выбрасывать стало жалко, к тому же с новой силой забилась его неугасимая любовь к ней.

Поэтому супруг вооружился инструментом и сделал из Розы Альбертовны чучело. Учитывая, что чучело он делал впервые, плоды трудов его следует признать достойными всяческой похвалы, а местами – даже и восхищения.

Наступили долгожданные дни тихого семейного счастья.

– Что было, то прошло, – примирительно приговаривал Лев Ильич, простивший Розу Альбертовну за годы равнодушия и обмана.

Он разглядел в глазах ее преданность и нежность и перестал страдать.

Но счастье было недолгим. В сползающей набок улыбке Розы Альбертовны все меньше оставалось искренности, и все явственнее выпячивалась гримаса презрительного пренебрежения. Напрасно он искал добросердечие в ее глазах – они перестали глядеть на Льва Ильича, разбежались в стороны, потом и вовсе закатились – каждый по-своему: один вверх, другой вниз.

Сомнений быть не могло – Роза Альбертовна не только не любила Льва Ильича, но и, отбросив многолетнее притворство, перестала скрывать свое к нему отвращение.

Лев Ильич терпел, Лев Ильич силился понять, Лев Ильич искал правильные слова. Он унижался, исповедовался, обвинял, угрожал и просил прощения. Ни одним движением Роза Альбертовна не выказывала интереса к нему. Холод сполна завладел ее душой.

Не вынеся пытки безразличием, Лев Ильич спрятал Розу Альбертовну в шкаф.

Скривившись и скособочась, она смотрела оттуда выкатившимся глазом, когда супруг выбирал поутру галстук. Смотрела сквозь него. Лев Ильич опускал взгляд, но на дне шкафа лежал второй глаз Розы Альбертовны и тоже глядел сквозь Льва Ильича.

Не желая видеть ее, Лев Ильич перестал подходить к шкафу и менять одежду. Он закрыл комнату и стал ночевать в ванной.

Однажды раздался шум, Лев Ильич прокрался и обнаружил шкаф открытым – он обрадовался, решив, что супруга не вынесла одиночества и сделала шаг навстречу. Роза Альбертовна висела на любимом галстуке Льва Ильича. Черный, в мелком белом горохе жаккард стягивал ее шею, лицо поползло кривенькой улыбочкой – назло Льву Ильичу Роза Альбертовна повесилась. Лев Ильич заорал и принялся бить эту насмешливую улыбочку дверцей шкафа. Бить с остервенелым упоением, вкладывая в удары всю полноту неразделенной любви.

Роза Альбертовна не выдержала, треснула и осыпалась грудой сухих опилок. Лев Ильич оглядел высыпавшееся и вдруг понял, что больше не любит эту женщину. На душе его стало светло, он почувствовал себя легко и свободно. Стряхнув с себя опилки, Лев Ильич достал из освободившегося шкафа свежую рубашку, желтый праздничный галстук и переоделся.

14.Ханзина Валентина («Комариная фея», «Неофициальные люди»)

***Валентина Ханзина***

**Комариная фея**

Новый год, Новый год на даче! Данька так ждал, что устал от напряжения и решил поиграть в войну под столом. Там он возился, ползал по-пластунски и стрелял из подаренного пистолета. Война шла вполголоса, а выстрелы звучали шёпотом – мама не любила громких звуков, у неё «сверлило в ушах». Мама. Он взобрался к ней на колени и теребил ей ухо, дыша туда и шепча неразборчивое. Мама, смеясь, гладила Даньку по шёлковой голове, говорила с гостями.

В ожидании курантов все замолчали, и Данька тоже затих, прислонившись к маминому плечу. По телевизору, на фоне Красной площади что-то говорил человек, которого Данька знал, но забыл. И наконец – забили куранты. От их боя в груди начало расширяться и щекотать, с каждым ударом росло прекрасное и возвышенное в душе. Данька, чувствуя гордость непонятно за что, старался сидеть не сутулясь. Папа управлялся с бутылкой. Хлопнуло. Из бутылки брызнул фонтан, сдвинулись и звякнули бокалы, и все закричали: «С Новым годом! С новым счастьем! Ура!». Данька тоже кричал. Ему налили морса в бокал, он сильно, едва не разбив его, чокнулся с собравшимися. «Загадывай желание», – шепнула мама. Данька загадал, чтобы всё имущество Вадика перешло к нему. Как это может исполниться и что станет с братом, он не думал. Он особенно мечтал о модели парусника, которую Вадик собрал вместе с папой. Данька посмотрел на брата. Вадик ёрзал на стуле, то и дело поглядывая в черноту за окном, у него на лице смешались беспокойство и сосредоточенность. Данька восхитился, какой красивый у него старший брат. Тихо свистнул, через стол показывая ему язык. Вадик улыбался по-доброму и глядел сквозь Даньку вдаль.

 \*   \*   \*

 Вадик как-то пропустил бой курантов и ничего не загадал, только безотчётно улыбался всему. Издалека до него доносились возгласы гостей и бормотание многоголосого телевизора.

Все его мысли были устремлены к Нелли, новой девочке в классе, с которой он вот уже три недели неистово целовался после школы в заброшенном деревянном доме, где на потолке были разные художества – кто-то выжег имитацию древних наскальных росписей: по потолку бежали примитивные олени и буйволы, в них летели копья обнаженных охотников; ноги у Нелли были гладко-ледяные под капроновыми колготками, он расстегивал ей куртку и руками водил по телу, чувствуя нежный ворс фланелевой рубашки и – совсем чуть-чуть – мягкую и ароматную теплоту под ним.

Этот Новый год они договорились встретить вместе. Нелли жила за городом, в красивом коттедже, с одним только отцом, а мама ушла от них несколько лет назад.

Вадику жутко и желанно было, что наступит момент ночи, когда он дойдёт до соседнего посёлка, тихо поднимется, не замеченный пьяным отцом, к ней в комнату второго этажа, где ветер задувает в щели под потолком, где она будет мёрзнуть в углу дивана, а он её согреет, растопит, превратит в мягкий пластилин, в кипячёное молоко, она будет что-то шептать, возможно, «нет, нет», никогда не скажет «да», но и сопротивляться не станет, а под утро он проберётся обратно.

Данька все время топтался где-то рядом и, глядя на летающий туда-сюда осиротелый снег за окном, вдруг произнес голосом визионера:

– Там бродит Комариная фея.

– Какая фея? – переспросил Вадик.

– Фея зимних комаров.

– Что ты выдумал?

– Я её видел, – сказал Данька и сделал хитрое лицо.

– Где?

– Видел, видел.

– Ну и кто она такая? – добродушно поинтересовался Вадик.

– Она насылает метель и зиму, – заторопился Данька, – у неё лицо всё белое, она ледяная, замёрзлая, в лесу гуляет, у неё из-под ногтёв летят зимние комары.

– Дэн, – сказал Вадик, – ты чокнулся?

Данька презрительно промолчал.

– Откуда ты это взял?

– Во сне я спал, там фея была, за ней стада комаров летели, но не простых, а зимниих.

– Не зимни-их, а зим-них. Повтори. И чем всё кончилось?

– Зимни-их. Не помню, – бросил Данька и побежал играть.

После курантов вышли на улицу запускать салюты. Сверкающие змеи с шипением улетали в небо. Женщины визжали от радости, и Данька тоже визжал до хрипоты. Мороз поджаривал кожу щёк, ресницы мгновенно обрастали инеем. Люди подпрыгивали и пританцовывали, чтобы сохранить тепло. Данька, закутанный, походил на толстую румяную девочку с серебряными ресницами. После, в доме, взрослые выпивали, говоря и смеясь всё громче, потом начали петь – сначала песни про зиму, а потом и про всё остальное. Данька тоже спел и рассказал стихотворение, и ему похлопали. Потом с двумя крошечными девочками-близнецами с соседней дачи Данька сидел на диване и смотрел мультфильм. Он объяснял девочкам ход сюжета, но они не слушали, а только пищали и переползали через его колени, прыгали на спинке и плюхались вниз, на подушки. Данька тоже прыгал, падая и падая на мягкий диван, девочки куда-то подевались, всё стало медленным, глубоким и тёплым, на него, как медведь, навалилась уютная лень, он закрыл глаза и остался где был. Лицо ледяной Феи, большое как небо, острое, белое и блестящее, айсбергом выплыло из темноты и смотрело пристально, прямо в сердце. Он спросил Фею: «Когда я умру?». Она не ответила, только молча глядела, и Данька чувствовал дуновение холода и печали.

В этом году бабушка у них вдруг перестала двигаться, лежала в гробу и молчала. Данька не понимал, что она мертва, что это её закапывают в землю. Он не верил ни похоронам, ни суете вокруг ставшего незнакомым тела. На следующий после похорон день он спросил маму, где бабушка, и когда мама ответила «умерла», Данька опять не понял. Он спрашивал ещё несколько раз, пока мама не объяснила, что смерть – это когда человек молчит и не двигается, и никогда больше не встанет, не произнесёт ни слова. Чтобы понять смерть, он лёг на пол и спросил маму: «А я умер? Я сейчас буду молчать и не двигаться, а ты скажи». Мама испугалась, подняла и встряхнула Даньку: «Нет, ты не умер! Ты ещё маленький! Ты будешь жить ещё долго-долго!». «Всегда?» – спросил Данька. Мама не ответила, только прижала его к себе. И тогда Данька понял всё. Он решил никогда не молчать и всё время двигаться, чтобы не умереть, и даже когда сидел спокойно, старался чуть-чуть шевелить пальцем и что-нибудь бормотать.

 \*   \*   \*

Вот-вот разойдутся, понял Вадик по ленивым голосам. Он сидел перед телевизором, поглощённый тревогой и ожиданием. Мама давно спала наверху. Уснувшего Даньку отнесли к ней.

Во время салютов он посмотрел на смешного закутанного брата, мелькнула мысль: «Не ходить? Такой мороз! Это просто опасно. Это дикость! Не ходить, остаться тут, с ними».

Наконец, закрылась дверь за последними гостями. Отец сел к Вадику на диван и спросил:

– Что загадал?

– Не исполнится, если скажу.

– Значит, важное, – сказал отец, потрепав его по макушке. – Не сиди долго, сынок. Завтра утром на лыжах пойдём. Потом баню затопим.

– Хорошо.

– Ну, я спать, – отец начал подниматься по скрипучей лестнице. Сделав несколько шагов, обернулся: – Под ёлкой посмотри. Дед Мороз там положил кое-чего.

Вадика подташнивало от волнения. Он посидел ещё полчаса, ожидая, пока родители уснут. Сверху слышался сонный голос мамы и покряхтывание отца. Затем всё стихло. Он начал собираться в путь. Надел под джинсы неудобные рейтузы, найденные на даче. Положил в рюкзак термос с чаем, пакет солёных крекеров. Делал всё крадучись, на цыпочках. Ему казалось, будто он уходит на войну и долго-долго не вернётся обратно. Под ёлку он не посмотрел.

Мороз стоял лютый, словно голодный волк. Кое-где в домах ещё светились жёлтые и разноцветные окна. Вадик быстро пошёл по дороге между деревьями. Сначала перелесок, за ним озерцо, а там – Неллин посёлок, коттедж. Он явственно представлял себе квадратное здание в финском стиле, перед домом – дерево, лиственница. Бросить снежок в левое окно на первом этаже, она услышит. Он достал сигарету, закурил. Обнаружил, что рукавица в кармане только одна. Он ругал себя, шевеля губами. Поздно возвращаться. Дым смешивался с морозом. Вторую руку засунул поглубже в карман, сжимал и разжимал пальцы. Идти всего час, не больше. И он отправился в путь.

 \*   \*   \*

 На даче в непривычной снежной тишине проснулся Данька. Он полежал в темноте и поиграл руками, составляя из пальцев фигуры. Он иногда показывал их маме и брату, а они должны были угадывать, что это – зайчик, лягушка, машина или жук. Данька сам не знал. Ему захотелось пить. Мама с папой спали на соседней кровати, Данька различал спокойное дыхание обоих. Он не стал будить маму, натянул штаны и сам спустился по лестнице. В кухне нашёл большой кусок шоколадного торта и бутылку лимонада. Он ел, пил и чувствовал тихий восторг, в первый раз бодрствуя ночью один. Он выглянул в окно. На небе сверкали белые иголочки звёзд, отполированные морозом. Данька залюбовался. Издалека слышалось эхо молодых весёлых голосов и собачьего лая. Данька был словно в полусне, очарованный тихой ночью и одиночеством. Он не сразу заметил отсутствие Вадима, а когда заметил, испугался, что брата увела Комариная Фея, которая так пристально глядела ему в лицо. Данька почувствовал боль в душе и тихонько позвал: «Вадик!», но никто не откликнулся. Тогда он решил поискать брата на улице, наспех оделся и вышел во двор. Тишина ещё усилилась, не сдерживаемая оконным стеклом. Из черноты неба свисала мелкая звёздная сеть, в ней качалась уловленная луна. Повсюду разливалось безгласное сияние. Вдоль дороги спали широкие сосны с пышными кронами-лабиринтами. Где-то здесь прошла Фея, чувствовал Данька, вытянула пальцы и выпустила своих белых комаров, и они заколдовали всё в сказку. Где же брат, куда его забрали? Был ли он, раз исчез так бесследно, растворившись в зиме? Данька осторожно пошёл по краю дороги, шепча и причитая: «Вадик, Вадик, ты где? Ох, ох, ох, ты где…». Кричать он стеснялся. На дороге он увидел что-то, поднял и узнал рукавицу брата, засмеявшись от радости. Положил её за пазуху, чтобы согреть. Сначала он шёл среди редких домов, потом дорога вильнула, и он остался один среди немоты и мощи деревьев. В их телах раздавались протяжные стоны. Они пугали Даньку до застывания крови в жилах, он втягивал голову в плечи и ускорял шаг, стараясь сбежать от деревьев. Какие-то большие тени шуршали за стволами, и мерцали чьи-то злые глаза. Данька хотел пойти назад, но не мог повернуться от страха. Теперь ему казалось, что рукавица непременно выведет его к брату, и только брат его спасёт от зимнего леса, и он трогал её на груди, боясь потерять.

 \*   \*   \*

Данька стоял глубоко в лесу и дышал. Деревья запорошило сухим душным снегом, похожим на перья. Да, пух и перья кружились повсюду, они вихрем поднимались от земли, закручиваясь в воронки. Слышался непрерывный щебет, шёпот. Словно перьевая вьюга подхватывала и уносила Данькины мысли о доме, о брате. Заворожённый, он не двигался и никуда больше не хотел идти. Только что он метался по лесу, бросаясь то в одну, то в другую сторону в надежде на выход. Он выбился из сил и страшно хотел пить. Но вдруг его страдания растворились. Как страшно и дико было Даньке сначала, и как легко и мирно сделалось теперь! Лес разрастался, становясь всё шире и гуще, струясь вокруг, как белые волосы и спутываясь в колтуны. Выйти отсюда? Нет, смешно, смешно и никогда невозможно! Да и куда идти, и зачем? Чудный лес серебрился как стеклянный замок, вместо тьмы на Даньку обрушивалось сияние, всё, казалось, блестит вокруг – и небо, и земля, и воздух, и деревья, и сам он, Данька, блестит и позвякивает, словно новогодняя сосулька на ёлке. Зимние комары так искусали его, что он оцепенел, кости промёрзли, превратились в хрусталь и могли рассыпаться от удара, но это было не страшно. Данька присел под дерево отдохнуть и тут же задремал, и снова, как дома, пришёл медведь в пушистой шубе и сдавил его мягкими лапами, совсем не больно, а приятно и тепло. Даньке чудилось мелькание женского лица за стволами, оно нежно поглядывало на него. Пел крылатый шелест, вода лесного озера улыбалась, опавший лист плыл по воде, как точёная, узкая женская ладонь. Как же так, озеро ведь замёрзло? Но Данька видел лёгкие серебристые волны и качался на них, словно в лодочке. Он вспомнил, как ещё до своего рождения находился в мире, подобном этому белому лесу, в сладком плену и полном спокойствии, в мягкой засасывающей недвижности. Это личико в вихре пуха – оно пугало и манило, оно улыбалось – вкрадчиво, прелестно и жутко, и вдруг прилетело близко-близко, смотрело пристально-сильно, шептало тихо-тихо с любовью, и Данька понял, что это мама в белой кроличьей шапке пришла за ним, и заплакал от счастья.

 \*   \*   \*

 Вадик и Нелли лежали рука в руке, сплетясь ногами, и во сне наполнялись ударами пульса друг друга. Тихие волны всё набегали и набегали на берег. Вадик спал, позабыв обо всём, позабыв и себя, и Нелли, и помнил только то полное, поглотившее его счастье, которое он испытал этой ночью и которое продлилось в сон, и должно было продлиться вечно. Он видел лето и дождь, льющийся с черёмух, и свет, проникающий сквозь прозрачные листья, и своего брата совсем ещё маленьким. «Моросящий дождик, мо-ро-ся-щий, повторяй!» – учил его Вадик, а Данька переспрашивал: «Поросячий дождик? По-ро-ся-чий?».

**Неофициальные люди**

В зарослях дальнего парка, за изящной кованой оградой стоял небольшой старинный особняк с витой лестницей и высокими окнами. В восемнадцатом веке дом принадлежал купцам Куницыным, торговавшим пушниной, а теперь тут обитали соседи. Они подобрались не то чтобы совсем чокнутые, а всё-таки чудаки.

Пыльная старушка, обрусевшая немка Агнесса Ромуальдовна всё лето сидела перед домом на скамеечке, вяжа длинные шарфы ядовитых цветов. Зимой она перемещалась на второй этаж, и всякий день за окном с занавесочкой можно было видеть её голову в разноцветном платке, заколотом брошью с тяжёлыми камнями. Из-под платка выбивались седые локоны, делавшие Агнессу Ромуальдовну похожей на одряхлевшего ангела. На хрупеньком носу сидели роговые очки. Муж её был столетний еврей-ювелир, которого отчего-то никто не мог припомнить, видимо, он и помер уже давно. Завидев кого-то из соседей на улице, Агнесса Ромуальдовна подходила мелкими шажками и начинала вполголоса жаловаться на мужа: «Знаете ли Вы, — с грустным пафосом произносила она, — что мой супруг уходит к другой женщине»?

Напротив старушки жили молодожёны. Оба худые, долговязые, и любили друг друга жутко. Анна варила суп. Фидель занимался наукой. В глубине парка, на пригорке находилась могила знаменитого академика, и его бронзовый бюст, позеленевший от времени, соседи считали своим талисманом. Анна ухаживала за академиком – вытирала с гордого лица птичьи безобразия, и, прибрав могилу, оставляла растрёпанные букеты цветов. Они с Агнессой Ромуальдовной регулярно посещали могилу, долго стояли там и разговаривали шёпотом, отдавая дань уважения великому ученому.

Также в доме жил невыясненного рода деятельности человек –Геннадий. Милосердные молодожёны, жившие в просторной наследственной квартире с паркетом и люстрами, сдавали ему комнату. Выпивши он избивал кулаками стены, изводил хозяев, вопя, сокрушаясь и писая мимо унитаза, и смел нагло отрицать это. Если на него удавалось нажать, он принимал оскорблённый вид, дескать, его заставляют разбираться с чужим ссаньём, и хмуро возил тряпкой по полу в туалете, грязно и длинно ругаясь себе под нос («ёбтвамма, ёбтвамма!»). Анну он именовал стервятницей, а Фиделя – гнилым отродьем. На следующий день после этого унижения Геннадий становился обходительным и даже утончённым человеком. Он заводил шарманку о своей «былой жене»-француженке и жизни с ней в Марселе, настойчиво предлагая Фиделю взять у него парочку марсельских костюмов, которых у него «целый шкаф висит». К вечеру он вновь напивался и начинал «звонить в Америку». Молодожёны слышали его разговор с молчащим мобильником на марсианско-английском диалекте. Беседы с пустотой длились часами. Особенно явственно он произносил «ноу прондблемс, май фрэнд, ноу прондблемс», и перемежал это своими «ёбтвамма». Наконец, намучившись, он падал на истрёпанный диван, заставленный банками, из которых валились окурки, и начинал горестно храпеть, сжимая телефон в руке.

Ещё один жилец был молодой любитель оперы. Этот тронулся умом в армии, из-за пацифистских убеждений: набросился на товарищей с безопасной бритвой, после чего попытался повеситься. Из армии его немедленно комиссовали, и он отправился в наш город спокойно любить оперу и наслаждаться жизнью тунеядца. Содержала его мать, живущая где-то вдали, на юге. Как-то раз он прогуливался, любуясь архитектурой, и вдруг услышал доносящееся из окна одного дома волшебное сопрано, и пошёл на голос, будто в бреду (он действительно очень любил оперу). Он дошёл до нужной двери и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, его тихо взяли за руку. Он увидел множество сидящих в кругу женщин бальзаковского возраста, в лёгких платьях, с открытыми плечами. Взявшись за руки, они раскачивались и закатывали глаза, а одна из них исполняла арии Травиаты, Лючии де Ламмермур и другие, ему неизвестные. Мягко подталкивая, его отвели в круг. И он сидел в этом кругу, сжимая горячую женскую ладонь, и пел, повторяя странные слова какой-то дикой молитвы, и закатывал глаза вместе со всеми. Он смог вырваться оттуда лишь спустя шесть часов, и уже на улице испытал изумление от случившегося. Позже он рассказывал об этом событии с восторгом. Так он обрёл Бога, и с тех пор посещал оперно-молитвенные собрания уже регулярно. Он там был единственным мужчиной. И больше ему ничего не нужно было.

И вот однажды жители нашего дома получили странные письма от администрации города. Сообщалось, что «в виду непригодности к эксплуатации дом подлежит сносу в ближайшие месяцы». Сначала никто не обратил внимания, письма разорвали, хихикнув. И не обращали дальше, пока письма не пришли во второй, в третий и в четвёртый раз. И сроки в письмах всё сокращались, сокращались, и в последнем письме уже говорилось об одной неделе до сноса. Жителям предлагалось расселяться на приготовленной для них жилплощади где-то далеко за городом, в бескультурных провинциях. И, наконец, в доме начали сознавать весь ужас происходящего, но было уже поздно – в дом постучалась Комиссия.

На рассвете во все квартиры зазвонили, неприятными голосами крича из-за дверей: «Общее собрание жильцов дома! Всем собраться в парке! Всем спуститься в парк!» Растревоженные, сонные жители сгрудились перед входом. Парк был покрыт туманной дымкой, пели первые птицы. Перед ними стояла Комиссия. Состояла она из двух граждан любопытной внешности. Один из них, очень упитанный, был закован в чёрное драповое пальто, такое длинное и узкое, что он вынужден был передвигаться маленькими, как у японской гейши, шажками. На лице блестели вдавленные в глазницы очки без стёкол. Рот и нос он имел крохотные. Вместо речи у него выплескивалось какое-то кашлянье, которое он перемежал долгими «э-э…» и «мэ-э…».

Видимо, для уравновешивания, второй член Комиссии был стройного телосложения и маленького роста, весь неуловимый и трепещущий, будто стрекоза. Одет он был в модный тренч телесного цвета. Его блестящие, омытые слезой глаза отличались выпуклостью и внимательным, льстивым выражением. Под глазами располагался длинный горбатый нос. Рот постоянно двигался, говоря ладно и быстро. Он служил переводчиком своему косноязычному коллеге.

– Жильцы! Мэ-э-э… – начал человек в пальто.

– В виду аварийного состояния данного дома, а также в виду планируемой реконструкции парка и установления здесь монументов в честь памятных дат истории нашей Великой Родины, дом подлежит сносу. Всем проживающим настоятельно рекомендуется собирать вещи и переселяться в дома, предоставленные администрацией города, находящиеся в уединенном секторе нашей области, рядом с реками, озерами, полями и лесами. Рядом проходит железная дорога, два раза в неделю имеется автобусное сообщение, а также иногда ходит катер через реку. Расстояние до города преодолевается за время не более четырёх часов. Все дома снабжены современным печным отплением, заменены печные трубы, почищены колодцы во дворе, отремонтированы деревянные части домов, такие как крыльцо. Рядом находятся детский сад, школа, Дом культуры, в котором работают кружки вязания и плетения из бересты – всё для гармоничного развития вас и ваших детей. В качестве поддержки от администрации Вам может быть предоставлен мелкий рогатый скот, такой как коза, овца, в количестве одна штука на человека, – быстро заговорил второй.

– Да! И э-э-э…. – сказал человек в пальто и поднял палец.

– Как вы можете заметить, администрация делает всё для того, чтобы обеспечить вам высокий уровень жизни, к которому вы привыкли, и даже выше! Уважаемые жильцы, просим вас освободить строение от ненужного хлама и готовиться к переезду. Автобус отойдет сегодня в девятнадцать часов, прямо отсюда, из парка. На новое место жительства вас доставят бесплатно, за счет любезной администрации. С этой минуты дом опечатан и должен быть полностью освобожден к вечеру, для эффективной работы наших служащих по подготовке к сносу, - перевел человек в тренче.

– Так! Мэ-ээ… - сказал человек в пальто и его очки блеснули угрожающе.

– Администрация благодарит вас за понимание и сотрудничество и желает вам счастья в личной жизни и успехов в работе, не то хуже будет! На этом всё. До новых встреч!

– Э-эээ… – вяло сказал человек в пальто. Было видно, что он устал.

Жители молча хлопали глазами, глядя вслед двум удаляющимся в туман фигурам: понурой чёрной и вертлявой телесного цвета. Первым очнулся Геннадий: «Какой еще рогатый скот, ёбтвамма, мы здесь всегда жили!» Остальные заговорили, перебивая друг друга. Никто не мог поверить глазам и ушам. Побежали к себе, в свои квартиры и разыскали письма от администрации. Всё так. Сомнений быть не может. Дом сносят.

Какое-то время жители дома погоревали, Анна всплакнула. Оказалось, что жителям совершенно не к кому обратиться, они все, как говорится, круглые сироты, и никого ближе соседей у них нет. После этого все, включая Агнессу Ромуальдовну, решили протестовать – разбить вокруг обречённого дома палаточный лагерь, держать оборону. Фидель заявил, что этот инцидент нужно предать гласности и что средства массовой информации на их стороне.

К обеду в квартирах жителей возникли люди в униформе. Под строгими взглядами этих людей жителям пришлось распихать своё имущество в чемоданы, тюки, рюкзаки и сумки. Вдыхая и глядя печальными глазами на свои бывшие окна, жители вышли из дома. У Анны и Фиделя нашлась огромная, допотопная брезентовая палатка. До вечера мучились, устанавливая её и привыкая к новым условиям жизни. После сидели в палатке, под светом керосинок, укутавшись одеялами, и слушали шелестение парка. Люди в форме опечатали их дом специальными лентами, и теперь он был похож на упакованный подарок.

– Ну что ж, – сказал любитель оперы. – Что будем делать, господа?

– А чё делать, ёбтвамма, чё делать, надо им дать просраться! – сказал Геннадий. Он уже успел куда-то сбегать и принять на грудь.

– Геннадий, помолчите! – сказала Агнесса Ромуальдовна.

– Надо связаться с телевидением, с журналистами, – сказали Анна и Фидель.

– Как связаться? Как прорваться на телевидение? – спросил любитель оперы.

– Надо ждать, они сами подъедут, – сказала Анна.

– Хрена дождёсся, подъедут! – сказал Геннадий.

– Геннадий! – сказали все.

– Надо предать это гласности. Нас выселяют, без суда и следствия! – сказал Фидель. – Это возмутительно!

– Они будут наказаны судьбою, – сказала Агнесса Ромуальдовна.

– Они образумятся, – сказал любитель оперы, – и всё вернётся на круги своя.

– А если нет, ах, если нет? – воскликнула Анна. – Я надеялась провести в деревне старость! А не юность…

– Не отчаивайся, – сказал Фидель. – Жители города встанут на защиту. Это дурной сон.

– Проспаться надо, ёбтвамма! – захохотал Геннадий.

В девятнадцать часов к парковой ограде подъехал автобус, который должен был увезти жителей прочь, в «просторы области», к колодцам и козам. В автобусе никого не было, кроме водителя, который сидел за рулём неподвижно, погружённый в глубокую задумчивость. Он не покинул транспортное средство. Через стекло автобуса жители наблюдали печально склонённый нос и клетчатую кепи. Один раз водитель протяжно, без надежды, посигналил в темноту. Жители встрепенулись, но не отреагировали. Они решили сидеть, не высовываясь, авось, сам уедет, когда устанет или проголодается.

Как всегда, наступала ночь. Жители разместились на ночлег.

За брезентовыми стенами палатки шуршала ночная жизнь – что-то шевелилось, потрескивало, голосили одичавшие парковые коты. Жителей охватило чувство неповторимости всего происходящего с ними. Как прекрасен был этот сухой, предосенний парк, в котором они жили так долго и счастливо! Как сладостно поскрипывала земля под ногами ночных существ! Как безмятежно пели насекомые, как таинственно шумели листья деревьев!

Потом они вспомнили о будущем, об автобусе и о неотвратимо-покорном водителе, о вежливой, удущающей неизбежности, о непреодолимости предстоящих мучений. Они прежде не сталкивались с этой неизбежностью, но, оказывается, всегда жили в ней, плавали как рыбы в воде. Фидель, застёгнутый в спальник, похожий на говорящую гусеницу, неожиданно сел, воскликнув: «Мы непременно отстоим наш дом и парк! И, когда придут официальные люди, мы крикнем им в лицо о наших правах, а если они не услышат, то мы в ярости бросимся на них и будем драться, и все неофициальные люди мира будут на нашей стороне!» «Да! – сказали жители. – Да!» Где-то там, на полянке, бюст академика зорко вглядывался в темноту. «Академик, милый, – прошептала Анна, – умоляю, спаси нас!» Но мог ли он что-то сделать? Он давно был таким же неофициальным, как и они.

Наутро ничего не изменилось. Автобус по-прежнему стоял на дорожке у ограды. Водитель в нём сидел, как и вчера, понурившись. Фидель с Геннадием, робея, постучали в дверь автобуса. Остальные жители стояли поодаль, внимательно слушая. Дверь открылась, водитель обратил на делегатов взгляд. Он оказался совсем молодым человеком, на его одутловатом после неудобного сна лице проступила щетина.

– Что вам? – сказал он.

– Ваши услуги не требуются, – сказал Фидель. – Мы никуда не едем.

– Уезжай давай, братан, нна! – сказал Геннадий.

– Я не могу, – сказал водитель. – Видите ли, я не могу уехать без вас.

Фидель с Геннадием переглянулись.

– Но мы не едем! Это наш дом. Мы будем привлекать общественность к этому инциденту!

– Не поедем никуда, нна! – заорал Геннадий.

Водитель вздохнул.

– Я буду ждать вас, – лирически произнёс он.

Фидель и Геннадий пошли восвояси.

Вторая ночь в палатке прошла без происшествий. Водитель по-прежнему сидел за рулём, и соседи видели, как он вдумчиво жевал что-то из пакетика.

Любитель оперы проснулся, причесался маленькой расчёсочкой и двинулся к выходу из парка, намереваясь связаться с общественнностью. Однако, кованые ворота, через которые обычно выходили и входили жители, были опутаны мерзкой жёлтой лентой. Снаружи на них висел грубый амбарный замок. Любитель оперы замер перед этим новым обстоятельством. Он стал бегать по парку, извещая жителей, которые к тому времени разбрелись по разным тропинкам, раздумывая, как быть, вдыхая прохладный воздух и греясь в нещедрых лучах сентябрьского солнца. Ограда вокруг парка была высокой, но всё-таки через неё с некоторым усилием могли бы перелезть все, кроме Агнессы Ромуальдовны, разумеется. Жители планировали выпустить старушку, сорвав замок снаружи.

Геннадий первым одолел ограду и обрушился в листья по ту сторону. Когда он поднялся и отряхнулся, к нему из кустов выступил официальный человек в чёрной форме, с длинным, вроде палки, оружием в руках. Этим оружием он молча ткнул в Геннадия, заставив его лезть обратно в парк, и Геннадий перелез, до крови ободравшись об острые зубья ограды. Он приковылял к палатке раненый и опозоренный. Агнесса Ромуальдовна стала лечить его средствами из своей «чрезвычайной аптечки». Она была ветераном тыла, но очень много знала о войне.

Фидель придумал влезть на дерево и с высоты оценить ситуацию. Спустившись, он сообщил остальным, что великое вооруженное множество официальных людей стоит за оградой по всему периметру парка. Так жители попали в капкан.

В решающий день появились десятки официальных людей, а также экскаватор, похожий на инопланетное чудовище.

Самым ужасным у этого существа был ковш – глубокая нечистая лапища, готовая жадно раскрыться над домом.

Жители выскочили из палатки, встревоженно глядя на чудовище. Анна едва сдерживала слёзы, Фидель и любитель оперы лихорадочно двигались вокруг дома, как бы защищая его от вторжения. Геннадий, пьянее пьяного, сидел на крыльце и курил сигарету, придав своему лицу нахальное выражение. Он то и дело сплёвывал, как бы пугая и предупреждая пришельцев-разрушителей.

Глубоко обеспокоенная Агнесса Ромуальдовна, проскользнув под лентами, посеменила в свою квартиру, впопыхах приговаривая: «Как же, как же это я позабыла?» Официальные люди в громкоговоритель предупредили её, что она совершает беззаконие. Соседи побежали за обезумевшей старушкой.

Пройдя в единственную комнату своей квартиры, она сняла с крючков пыльный ковёр на стене. За ковром обнаружилась дверь. Агнесса Ромуальдовна, ни на кого не глядя, маленьким ключиком открыла её. Там оказалась ещё одна комнатушка со своим ковром, холодильником, старым шкапом, столом и стулом, на котором сидел заросший седыми кучерявыми волосами длинноносый черноглазый старичок и посасывал размоченную в чаю баранку. Вид у него был потерянный и безмятежный. Увидев соседей, он поднял скрюченную руку и приятным театральным баритоном произнес:

– Здравствуйте, молодые люди!

– Ёмана, ты кто, дед? – ответил Геннадий.

Агнесса Ромуальдовна представила своего мужа Иосифа Карловича.

– Ёся, – приказала она, – быстро собирайся, дом подвергают сносу, необходимо тебя вывести.

Иосиф Карлович, причмокнув, переспросил:

– Что-что, мамочка?

– Ёся, – Агнесса Ромуальдовна крикнула ему в ухо, – вставай, дом сносят!

Тогда Ёся начал хныкать и при этом постоянно улыбался, приговаривая: «Я не буду, мамочка! Ёся не будет баловаться!». Из его лучистых глаз покатились слёзы. По всей видимости, когда-то он действительно разбивал Агнессе Ромуальдовне сердце, но много лет провёл у неё в рабстве, впал в детство и окончательно свёл её с ума. Все присутствующие тоже расчувствовались и зашмыгали носами. Иосиф Карлович, утопавший в слезах, был неспособен к передвижению. Геннадий и Фидель понесли его на улицу, подсадив на скрещенные руки. Старичок покорно сидел, обняв их за шеи. В это время громкоговоритель велел жителям покинуть внутренности дома и отойти от него на безопасное расстояние. Начинался снос. На крыльце стояли официальные люди со своими палками. Один из них шутя ткнул палкой в старичка. «Ох-хо-хо, молодой человек!» – запричтал Иосиф Карлович, а официальные люди засмеялись и передразнили его.

– Это что ещё, твамма?! – рассвирипел Геннадий. – Чего обижаете деда? Он контуженный!

В ответ палкой ткнули и Геннадия. И не один раз, и не два.

– Вы не имеете права причинять вред! – закричали жители. – Вы нарушаете права человека! Мы здесь живём! Это наш сосед! Что вы творите?

Геннадию пришлось выпустить старичка и подвергнуться ударам, которые посыпались на него со всех сторон с неприятным звуком, будто колотили по стволу дерева. Жители пытались вступиться, но их отгоняли, словно собак. И вот Геннадия ударили палкой по голове, он упал на крыльцо, а официальные люди принялись плясать на нём тяжелыми ботинками.

– Геннадий! – закричала Анна. – Отпустите его! Не трогайте! Что же вы делаете, свиньи? А-а-а!

– Заткнуть рот! – приказал один из официальных людей и дёрнул Анну за красивые пушистые волосы – так, что её подбородок подскочил вверх, а из глаз, как из прыскалки, брызнули слёзы.

Фидель бросился на это официальное лицо и получил несколько беспорядочных ударов по телу и один – в пах.

В конце концов, официальные люди, подняв полубездыханного Геннадия, швырнули его в кучу опавших листьев. Там он лежал, окровавленный, и приходил в себя. Больше никто из жителей не протестовал и не сказал ни слова.

Ограда оказалась распахнутой настежь, и водитель автобуса, почувствовав подходящий момент, засигналил вежливо и умоляюще. Жители, избегая глядеть друг на друга, начали молча втаскивать в автобус вещи.

Геннадия подняли и положили на пол автобуса. Иосиф Карлович перестал плакать и счастливо улыбался, беседуя с водителем. В гробовой тишине жители расселись по местам.

– Ну, в добрый путь! – промолвил водитель, трогаясь с места.

Так жители покинули парк.

В воздухе качнулся ковш экскаватора, кирпичи закрошились, точно выбитые ударом зубы, и в доме, со стороны квартиры молодожёнов, образовалась первая дыра. Жители не услышали, как ныли от боли стены, развороченные экскаватором, не увидели, как страшная лапа обрушивалась на сервант Агнессы Ромуальдовны, начиненный фарфоровыми собачками, как у них вылетали бусинки-глаза и отламывались хвостики, как эти собачки превращались в сахарную труху; как лопнул потертый диван Геннадия и как надвое разрубило кровать молодожёнов, покрытую новым сиреневым покрывалом; как из шкафов вываливались вещи и, грохоча, словно горная река, всё текло вниз; как взрывались и выплёскивались стёкла и скрежетал разбиваемый кафель, как зияли открытые переломы паркета, как из холодильников на пол валилась оставшаяся еда, текли лужи супа и молока; как падала со стены фотография юного Геннадия, улыбающегося мягким щербатым ртом, с причёской в стиле группы «Битлз», в рубашке с закатанными по локоть рукавами, с гитарой в жилистых руках; как всё, наконец, смешалось в огромную кучу осколков, мусора и грязи, и дом, когда-то живой, теперь лежал растерзанный и уничтоженный, и походил на груду мяса и костей, в которой едва угадывалось что-то знакомое, и над его свежим трупом висела штукатурная дымка.

Прошло немного времени. Официальные люди вывезли все останки, сравняв с землёй руины особняка. Теперь на его месте воздвигнут мемориал в четь величия нашей Родины. Захолустный парк превратился в популярное место прогулок, там открыли кафе и летнюю сцену. И обновили ограду на могиле академика.

15.Шанин Моше («Плоссковские»)

***Моше Шанин***

**Плоссковские**

*картотека-антиэпопея*

**Федор Кальмарик**

*Главе администрации Устьянского района*

*Архангельской области Кострикову А.В. от*

*главы администрации МО «Плосское»*

*Тарбаева Ф.Э. и неравнодушных жителей,*

*с трудом населяющих то же самое*

з а я в л е н и е.

Как я есть на деревне первейший иностранец, а проще говоря нерусский, и через это самое по причине национальности лицо пострадавшее, а также среди прочих уполномоченное и выбранное, хочу заявить нижеследующее.

Народ у нас простой.

Жег я вчера листву в огородце, а проходит тут мимо Зыбиха – милая старушка, но придурошная малость. Посмотрела она и говорит:

- Вот, был грех, в кой-то год искра от костра семь километров пролетела, и в Карповской сеновал сгорел.

Народ у нас простой как стружка, как опилок, как гвоздь, как трава. Так и я, примеряясь, а по науке говоря мимикрируя, и за чужие спины не привыкши скрываться и оттуда в сторону бормотать, сообщаю:

Отец мой, Эльмар Джабраилович Тарбаев, служил по месту рождения. То есть в пустыне, где в дозор подвое ходят, и один стоит, а второй в его тени отдыхает, чтоб потом наоборот. Солнце там в небе круглосуточно висит, пыль сухая, и птицы большие облетают дикие земли.

Здесь, в Право-Плосской, ветер чугунки в печи ворочает, а там ничего не ворочает, потому что нечего там пошевелить, и потому что нет его вовсе по полгода и более.

Отец мой вырос в ауле и до работы завистливый всегда был. Также в предках он имел замечательных людей, и в строю потому он первый стоял, хоть по высоте смотри, хоть по ширине, хоть как.

Отрядили его тогда походную ленинскую комнату за ротой таскать. А походная ленинская комната – это два листа фанерных на петлях мебельных и с ручкой самой ни на чтоесть дверной.Килограмм, врать не буду, тридцать и сверху пять. Фотографии внутри, вырезки журнальные и вымпелы, все как полагается. Марш-бросок – несет, ученья – тащит, туда и сюда волокет.

И, значит, отслужил он и оставил здоровье свое в казахской пустыне. Кому такой великан в хозяйстве надобен? Вида много, толку чуть: никому. Отучился он на агронома в душанбинском техникуме, да и поехал куда подале.

Подале – это, значит, сюда.

Приехал. По деревне идет, а у самого шары на воробах, ведь в новинку всё. И встречается ему тут Аннушка, Анна Тяпта то есть, которая уже тогда по языковой части давала всем сдачи и прикурить.

- Это чей парничок-то? – спрашивает.

- Да ничейный.

- Здравствуйте.

- И вам. Эльмар я, работать приехал вот.

Посмотрела тут Тяпта на него, на круглые его глаза, да на ручищи его огромные, и говорит:

- Какой же ты Эльмар. Кальмар ты.

Огорчительно отцу было такое услышать, у него отметина черная по спине наискось от комнаты ленинской.

- Да как вы смеете, - говорит, - Это ж от фамилий Энгельс, Ленин и Маркс.

Посмеялась ему тогда Аннушка в лицо.

- Мне, - говорит, – без интереса…

Так и пошло – Кальмар.

Время зайцем бежит, время цаплей идет - встретил отец мать мою будущую. Все у него в один секунд оборвалось внутри и покатилось прочь. Дело молодое, кипучее, искристое. Так он к ней и эдак, сбоку и напрямки, месяц за ней как на веревочке ходил, молчал как камень и рыба об лед.

Разглядела, наконец, она его среди прочих, вроде как впервые, обернулась и очень серьезно говорит:

- Всем вам одно надо, и тебе одно. А у меня надобность женская.

Взял ее тогда отец за руки, а руки у ней тонкие и шершавые, и говорит, а сам дрожит весь:

- Знаю, Машенька. Женская надобность – она круглая, гладкая. То надо, это надо, и третье, и вместе. За край ее не возьмешь и по кусочку не отхватишь. Гладкая она и трехэтажная, надобность твоя женская. Я готовый.

И вот таким образом объяснившись и обнаружив друг в дружке всё, что надо обнаружить, спустя неделю они расписались. Ускользила зима, отгремела весна, прошумело лето – пожелтел лист да облысела земля, тут и моя остановка, пора выходить.

Назвали меня Федором, а люди прозвали Кальмариком, потому что прозвище у нас впереди человека бежит и правду-матку докладывает.

И жил я себе спокойно сорок годов и два месяца до известного момента, пока не пришли ко мне люди и не сказали, что времена пошли совсем азиатские.

- Времена, Кальмарик, пошли совсем азиатские, - сказали люди, - а ты среди нас самый азиат, и мы тебя главой выбираем. Мы роду никому взяток не давамши, а нынче видно без бакшиша и дела не сробишь.

И стал я главой, двенадцатый год с честью несу возложенное, и делаю вот какой вывод с высоты самого личного опытаи момента: Устья, что Плосское на две части делит – это вполне себе граница, на манер государственной.

Работать я бегаю на тот берег и вижу в этом несправедливость и упущение. Наш берег, правый, он первый был. Дорога здесь была и храм, и погост, и что приличному человеку угодно. А левоплоссковские что? То они школу дерьмом ученическим тушат, то человека на дереве теряют, то гроб с ним же в реку упустят.

Отдал я по весне распоряжение: обкосить всем дома, чтоб не дай бог. А на левой стороне что? Школа занялась! Прибегаю, глядь – а там обкошено меньше половины. Спрашиваю я людей:

- Как же так, люди?

- А это, - смеются, - Христу на бородёнку.

Всё им нипочем, всё шутка, всё забава.

Часовню вот тоже ремонтировали. Как сарай я ее принимал, как дрова,амбар был совхозный. Дыры там в полу и козы внутрь забирались от дождя муку с пола-стен слизывать. Дурное легче легкого, а как полезное сделать мозоль набьешь на мозгу. Ладно, придумал я: всё достал, всем обеспечил, делайте. Весь дом у меня утварью и убранством завален, с Архангельской епархии прислали. Позолота по всем углам блестит, на цыпочках хожу и боком, ни-ни, терплю.

Месяц делают, второй, третий. Уговор был к 1 апреля. А мне с окна хорошо через реку видать: вроде и готово. До обеда я порхался, уложил всё в прицеп аккуратнейше, через тряпочки и газетки, да поехал через Студенец. Приезжаю – никого. Сорвал замок, захожу, а там муки по щиколотку.

Повез я все обратно, и домой опять занес. Новый срок поставили 1 июня. И опять я через тряпочки, газетки, Студенец – приезжаю. А Валька Рачок, бригадир, увидал меня и орет совсем некультурное с крыши на всю округу, прямо с маковки.

- Ты зачем, - спрашиваю, - рявкаешь на меня?

- Зря, - отвечает Валька, - приехал ты. Не готово еще.

Тут уж я не выдержал, взял с земли что под руку попалось, а попался мне хороший камешек грамм на пятьсот, да и запустил в него.

- Ах-ты, - Валька говорит, и ушибленное место гладит, - гнида нерусская и тому подобное оскорбление личности.

И вот я спросить хочу, нам с отцом допытаться до вас интересно, до русских: долго мы за вами предметы культа таскать будем?

Вопрос этот – безответный.

Теперь вот еще Прокопьевский камень, который ~~Вовка Сраль~~ Владимир Рыпаков, самая наша умница, на берегу выкопал.

Александр Валентинович, зная вас как человека практикующего, а не любителя рожу лица продавать, перейду к сути.

П р о ш у:

1. рассмотреть возможность выведения д.Право-Плосская, д.Михалевская и д.Правая Горка из МО «Плосское» и присоединения их к МО «Строевское» или МО «Бестужевское»;
2. выделить средства и технику на выкоп, подъем и установку на постамент Прокопьевского камня.

П р и л о ж е н и я

1. Копия заметки «Главный Камень района» в газете «Устьянский край» от 14 июня;
2. смета на подъем Прокопьевского камня;
3. поименный подписной лист (34 подписи).

*Дата, подпись.*

**Надя Синеглазка**

Такие глаза бывают по одной из причин: от природы, по старости или из-за слез.

И вовсе они не синие, и не голубые, и не васильковые, и не водянистые; и вполне может статься – не придумано еще названия для этого неяркого, беспомощного цвета. Прозрачный он, ровный и холодный, и есть в нем что-то от незатейливого северного неба, и от снега, - ночного снега, подсвеченного луной.

И всё ж – Синеглазка. По всеобщему мнению, Надя - девушка смешливая.

Работает Надя Синеглазка через день почтальоном – до обеда, а после – библиотекарем в клубе.

О почте надо сказать особо. Если кто задумает захватить Плосское, ему всего-то и придется, что взять этот смешной домик в два окна; домик с трубой – каким обыкновенно его рисуют дети: весь квадратный, плоский и простой.

Почта – пульсирующий сосудик Города.

Сюда привозят пенсии, сюда – какую-никакую – прессу. Руководит почтой или, как пишут на конвертах, п/о «Плосское», Анна Притчина по прозвищу Тяпта. Она сидит за помутневшим оргстеклом перегородки, за исчирканным столом, заляпанным окаменевшим сургучом, и смотрит вперед, насквозь. Тяпта тиха, строга, цинична и славится аккуратностью - отчасти старушечьей, отчасти должностной.

Синеглазка приходит в 8 утра. Собранная сумка уже ждет ее.

Хорошо утром выйти с полной сумкой, сбиваюшей шаг, а обратно идти – чтоб от ветра парусом, акульим плавником, полная сплетен и новостей стояла она за спиной.

Да: тридцать пятый год Синеглазке, и эти радости ей пока доступны.

\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Анна Черняева, газета***  - Надь, мой-то как машину наладил, так к дому не притыкается. Куды-нибудь да поехал, куды-нибудь да поехал... Какой день в огородце порхалась, чего и робила - не помню… Чую: двери на крыльце схлопали. Думала срать ушел, а он уж в районе.  ***Коля Розочка, письмо***  - У нас-то бают, Витька Филимон опять запил. Ковды… Вчера ли позавчера – бают, сидит за столом да порато ревит, слезы с кулак, вот такенные.  - А чего ревит-то?  - А напейся вина досыту, дак заревишь. | ***Полька Харитонова, газета***  - Всё бегаешь, Надя.  - Бегаю, тетя Поля.  - А Ванька-то невесту нашел.  - Да какова и невеста-то по Ваньке?  - Как у коня в глазу. Смотреть не на что, мелкая и кривая.  ***Шура Пятка, пенсия***  - Холодно нынче, баб Шур.  - Ой, девка, холодно. Ходила на реку сполоснуть тряпье, так до чего вода студёна.  - А Коля Розочка все еще купаться бегает.  - Ну дак это уж закалка.  - Да это уж не закалка, это уж в голове кых. | ***Настя Шерягина, пенсия***  - Девка, мой-то шулыкан с района вчера приехал, полох**а**ло – п**о**лохолом, всё на свете забыл, завара, даже катанцы. Тойды прошел как куимко, а паре шибко яро бранился на меня, красён, я ужо селянку сготовила. Дак нет, белую ставь. Ну, мол, жодай, так он так ободался - из избы в горницу с палкой мотался, а после на повить уполз в клеть. Утром в сенцах нашла… Ой, Надя, и не бай, пошто только, когда аборапками были, ременницу не перешибли, мочи моей нет.  - Давай, баба Настя, я за ночь порой раза четыре и сбегаю. |
| ***Саша Новоселов, газета***  - Надь, умора у нас, с ночи животики рвём. Повадился к Светке, старшей моей, Ванька Сухарев бегать. И ну приставать: давай потыркаемся, да давай потыркаемся. По двадцать лет робятам, ну. Надоел! Так Светка чего удумала?.. Говорит: «Приходи, Ванька, ночью к нам в избу, я на печи спать буду». А мы намедни свинью зарезали, так Светка взяла свишкино ухо, да между ног заложила, и ждёт на печи. Ночью Ванька в избу к нам, на печь, да на Светку. Сноровился, шоркает. Тут скрипнуло что-то, половица, ли что. Светка: «Отец убьет!». Ванька – бегом на улицу, а ухо-то висит. Он и кричит со двора: «Светка, ссать пойдешь, так \*\*\*\*\* на поленнице лежит!» | | |

\*\*\*

Бабий век вёрткий, назад не отыграешь - успевай. В Плосской нет мужчин, способных забыть про бабий век. В Плосской нет мужчин, способных оценить глаза не придуманного еще цвета. Тридцать пятый год Синеглазке, один к одному.

Сегодня суббота, будет дискотека и будет много приезжих. Это надо иметь в виду, и Надя имеет. Вечером она надевает платье, лучшее своё оранжевое платье, и белые босоножки.

Проходит дискотека в клубе, в фойе перед заколоченным входом в кинозал. В табачном дыму шевелятся люди, мелькают белые локти и мокрые лбы. Особо в толпе выделяется Валька Рачок. Танцует ли он? Нельзя сказать точно. Он управляет неведомыми механизмами, выворачивает рычаги, корчится и втаптывает только ему видные педали.

С месяц тому Синеглазка приглашала его к себе посмотреть проводку. Он починил всё минут за десять, потому что проводка, перерезанная в самом видном месте, чинится минут за десять, и обнаружил себя за накрытым столом.

Потом они ужинали, выпивали, и Надя, смеясь, рассказывала миллион историй. Потом она встала и молча пошла на Вальку Рачка, маня пальцем – неловко, но искренне. Что сделал Валька Рачок? Валька Рачок вскочил и побежал вокруг стола.

У Синеглазки дома большой круглый стол, а вокруг большого круглого стола удобно бегать; и они бегали, пока Надя не запнулась. Рачок выскочил в дверь, а она всё лежала под столом и хохотала, закрыв лицо руками.

Всё это было месяц назад, но сегодня в клубе всё не так. Синеглазка кружит в танце вокруг Рачка, а тот не сдается и всё усердней крутит рычаги и втаптывает невидимые педали. Это поединок, дуэль, война с общей победой и общим поражением. Между ними происходит то, что никто еще не сумел описать не дурацкими словами.

…Проходит час, второй, и третий. Состоялось уже пару драк, и свалился уже кто-то с крыльца в крапиву, и тянет с угла кислой рвотой какого-то неумёхи выпить.

Надя открывает ключом дверь библиотеки и скользит внутрь, в темноту. Спустя минуту вваливается Рачок. Он натыкается на стол, на стопы книг, на Надю, и случайно кладет руки туда, куда обычно кладут неслучайно.

- Взрослые люди, - с укором говорит Рачок.

В темноте происходит минутный сумбур.

- Подожди, - вспоминает что-то Рачок и выходит.

Она ждёт.

Она ждёт пятнадцать минут, потом еще пятнадцать, потом ничто не мешает ей подождать еще полчаса.

Наука ждать – сложнейшая из наук, которой она овладела.

Острый писк комара режет сырую и затхлую тишину: в библиотеке сухо и светло не более чем в могиле.

Здесь, в углу за стеллажами, Синеглазка по часу и по два плачет каждый день.

**Марья Зыбиха**

Жара стоит – земля полопалась, трещинами пошла. В земляных щелях в поле мыши прячутся: спинки черные, усики обвислые, животики от пота блестят.

Небо пустое, да полукруглое, изнывает в сухоте и на месте дрожит. Трава влагой вышла, стала цветом исходить: жёлтая всё и прозрачная. Ветер две недели как утащил облака, через пятые руки приветы передаёт. Сжалась река, испрела, в помутнелой воде ребятня дерётся и брызгается.

Молчит птица, утих зверь, псы по дальним сырым углам забились, бока языками дерут.

Июль.

Кажется бесконечный, кажется смертельный, никогда никому не привычный, раз в тринадцать лет нестерпимо жаркий северный июль.

Лопнула земля, изнывает небо и птица молчит, но только бабка Зыбиха не может молчать. Сжавшись, она сидит на лавке в своем дворе. Солнце играет цветом ее глаз, курицы бегают по её ногам, и котёнок повис на подоле.

- Прокопий к нам на камне приплыл.

Зыбиха умеет начать рассказ. Толпы отмахнувшихся и перебивших выковали её умение.

- Прокопий наш - он Устьянский, не Устюжский. Есть Устюжский, тот не наш. Наш Устьянский. Всё про него знаю. Чего не знаю - шкурой чую, кишочками. На Покров его мать родила. Весь день мухи белые кружились, только к вечеру улеглось. И сразу разродилась. Сказали люди роженице тогда: вишь, утихло всё, вишь, светлей стало и покойно кругом?Так и сын твой то же самое в мир несёт.

Не поверила мать.

- Вам звезда, чтоль, зажглась, - из последних силов смеётся, – А из меня чумазенький вылез, и в крови.

- Крута гора, - отвечают люди, - да быстро забывается. А ребёнка помыть можно.

Истопили тогда баню, и пошла она ребёночка мыть.Хороша банька, по-чёрному. По-белому тогда уж не делали. Полощется она, значит, сверху вниз, снизу вверх и всяко, и младенца полощет, а вдруг огромная баба какая возьми к ней и зайди.

- Ты зачем?

- А вот, ребёночка тоже обмыть, - отвечает баба, - Ходила на войну,так ребёночка родила.

- А чья ты?

- А я лешачиха.

Так вóт – такие дела. Лешачиха пожаловала. В те времена это запросто было.

- Что, разве у вас и бабы на войну ходят?

- Ходят. Мы всем народом ходим.

- А что там делаете?

- А в**и**хорём пыль да песок на басурманов наносим, глаза им слепим. В котлы плюём, чтоб им солоно было пуще можного.

- Ну, мойся себе.

Дала она кадушку лешачихе, а сама и не смотрит, самым краешком только. Уж до чего страшна лешачиха! Хрящеватая, руки длиннющие, волосья путаные до полу висят.

- Не смотри на меня, - лешачиха и говорит, - я грех сделать могу. А так-то бы и неохота, в воскресенье. Мы хоть и лешие, а понятие имеем…Сына береги, не просто он так – человечишко средь вас. Он с нечистью великий воин будет. И с нами, лешаками, вот тоже. Удавила бы вас, да ведь он не удавится. Огроменная силища в нём...

- И ты то же самое, - рассердилась тогда мать Пропокьевская, – Не нужно мне ничего, ни большого, ни малого. От великой силы и немощь великая. Человеческого мне подай, простяцкого... Ходи, давай, с Богом, и слово святое аминь.

Глядь – пропала лешачиха, только запах кислый в бане висит и следы шестипалые мокрые наляпаны.

Про лешаков-то что скажу про наших, устьянских. Родятся они от лешаков, как и мы то же самое от людей. А женятся уж не только на лешачихах.Попадёт какая девка русская, так и добро. Может и для любови леший к бабе бегать, только бабе такой н**е**жить потом, в болоте они их топят.

У псаломщицы одной мужик помер, так леший и стал ходить под его личиной. Горе бабское – оно дурное, ослеплое. Только не поддалась она.

- Сотвори, - говорит, - воскресну молитву.

- А не умею.

- Как не умеешь? Ведь ты псаломщиком был.

- Забыл.

- Ну, так я сама сотворю.

Начала читать, так он и пропал совсем, и ходить перестал.

Живут лешие в лесах, да на полянках, да на болотах. Дом**а** у них – не хуже людских, только невидимые. И скот невидимый. Сидел кой-то раз дедко мойХаритон у озера, рыбу удил, и пошло из озераскота, да много, не пересчитать. Голов сто, да сто, да полтораста, и комолый всё, с лысинами на мордах.

Уводят они ребятишек малых, а бывает порой и больших парней да девок. В Студенце у Васятки Ергина парничка увели лет десяти. Как было: понес парничок батьке хлеб, абатька-то за полем дрова рубил. Да что и долго порхался, мать и наругнула:

- Понеси, - говорит, - тебя леший. Скоро ли ты и сряд**и**шься?

Ушёл и ушёл, и у Васятки не бывал, и домой не вернулся. По снегу искать ходили. Следы-то шли лапотные, а потом уж босиком, голой ступнёй. На широком горильце, где снегу не было, след и потеряли. Ворожила ворожиха, так сказала: в живности и сытости парень, а где в живности и сытости – не разобрать…

А могли и подменить. Принесёт леший чурочку и оставит. Ну, чурка и растёт заместо ребенка, только ума в ней нет, и дурости нет, ничего.

Теперь уж лешие отошли от людей, веры в них нет.Веры в них нет, а только я сама видала. Девкой была, ходили мы на сенокос. В первый день и уробились до устатка. В шалаш полезли спать, так ноги руками переставляли. Один парень порато весёлый и говорит:

- Приди к нам теперь леший, так уж и не страшён.

И только проговорил - схохотало за рекой. За рекой, а будто и рядом, вот как. Мы на месте и застыли. Слышим, по броду ктось идет. Подходит большой-большой мужик, я и не видала эких.Весь в черном, и волос черный, и зубы, и глаза. Стоит, смотрит на нас. Мы ни слова, и он ни слова. А у нас собаки были, так и те испужались.

Схватил мужик одну нашу собаку, да как фурнёт в костер! Да как захохочет во все горло! Потом развернулся и назад бродом за реку ушёл. А после – долго ещё за рекой гойкало да свистало…

Так вот и не верь.

А Прокопий наш, Устьянский, сызмальства чего и не видывал. Пышкальцо первым был. Как дело-то было: пошла девушка одна в лес по грибы да по ягоды, и заблудилась.

А за озером жил Пышкальцо. От нечисти тоже мужик, хромой, всё ходит и пышкает. Взял он девушку за руку и привёл в избушку к себе. Отобедала она, отдохнула, дождь переждала, да и засобиралась домой.

- Иди, - Пышкальцо говорит, а сам в усы и похохатывает.

Девушка и пошла. И как ни идёт, всё обратно к избушке выходит. А тут уж и вечер, осталась она сночевать. Залез Пышкальцо на печь, а девке овчину вонькую на пол скинул.

- Завтра снова пойдёшь? – спрашивает.

- Пойду, - девушка отвечает.

- Ну-ну.

Пять дён ходила она, да так с круга и не выскочила.

Стали они жить. Год прожили, ребёнка родили… А один раз пошла девушка на берег и видит: по озеру лодка плывет. То Прокопий рыбачил.

Давай девка его звать, руками махать. Подплыл Прокопий, она и говорит:

- Спаси меня, человек добрый. Спаси, если не кажешься мне, потому что ни в чём я уже девушка не уверенная.

А Пышкальцо, видать, почуял. Выбежал на берег и вопит:

- Не плавай! Не плавай!

Видит Прокопий – дурное дело, нешуточное. Забрал девку, и ну гребсти без огляду, как первый раз в жизни.

Побежал тогда Пышкальцо в избушку, ребёнка из люльки выхватил и на берег принёс. На одну ножку наступил, да за другую дёрнул, ребёночка и разорвал.

- Вот и грех пополам! - на всё озеро кричит.

Тут Прокопию и задумалось: пошто в миру неправды, зла, напраслины всяческой - много, а добра и правды - такая недостача?.. Крепко ему задумалось!

Роду Прокопий пастушеского, и сам пастушонок. Утром скот выведет, сам под дерево сядет, и давай думать: пошто?Большая мысль, пять лет можно думать. Пять лет без недели ему и думалось.

А потом пришёл он домой, родителям в пояс поклонился, и говорит:

- Так и так, уважаемые родители. Ухожу я в мир, правду искать.

- Нищенствовать, что ли? – это мать спрашивает.

- Нет, - отвечает Прокопий, - и не говорите так, драгоценная моя матушка, если вы меня любите. Правду искать ухожу в мир, потому что н**е**можно жить без правды.

- Точно нищенствовать…

И пошёл Прокопий по белу свету, ответы искать. По деревням ходил, по городам, везде был.

Просить-то у людей легко. Люди наши как говорят: не дай Бог просить, а дай подать. Вот и подают.

Бывало,опросил Прокопий одну деревню, а на ночлег еще рано.

Собрался в другую и спрашивает у людей:

- Далёко ли до ближней деревни?

- Да недалёко бы и деревня-то, и кормят там, и подают, да только после вицей стегают.

- Ну, постегают да перестанут.

Пошёл. И встречает дорогой дедушку. Тот и говорит:

- Бойся людей, злые они. Люди - грязь мира, беги от них.

Смешной дедушка, седяной, старый-старый.

- Неправда и зря, - ответил ему Прокопий, - ничего добрей человека на свете белом пока что не придумано.

Пришёл Прокопий в ту деревню и на ночлег выпросился. Сели хозяева ужинать, и его зовут: не откажите в любезности, и то попробуйте, и это. Наелся Прокопий, вышел из-за стола. Ему и говорят:

- Сиди, сейчас рыбник принесём.

- Нет, спасибо, досыта я.

Отужинали, лёг он спать, и захотелось ему пить. Пошёл к ведру, смотрит, а полно ведро гадин, змей и пауков. Пошёл в другой дом, в нём спят мужик да баба, а меж них змея пригрелась. Он и тут не напился. Пошёл в третий дом, а в том доме спит мужик, а у него из роту собака злая выглядывает и подрыкивает. Пошёл в четвертый дом, а там мужик спит, в рёбра топор воткнут.

Так по всей деревне сходил, а не напился.

Утром встал, собрался, вицы ждет. Да никто и не спешит. Прокопий и говорит:

- А в той деревне сказали, что у вас вицей стегают.

- Кабы пирог съел, так и тебя настежили бы.

В чем тут причина? Забава, прихоть, ли что - не разберёшь. Прокопий и спрашивает:

- А пошто у вас в ведре гадин много?

- А неправдой живем.

- А в другом доме спят мужик да баба, а межних змея.

- А баба блядует.

- А в третьем доме у мужика в роту собака.

- А матюкается.

- А в четвёртом доме мужик спит, в ребра топорвоткнут.

- А родителей не почитает.

Так вóт – такие дела.Вся деревня, считай, во грехе живет.

Убёг оттуда Прокопий не отстёганный, а на душе столь и погано, будто и взаправду берёзовой кашей позавтракал. За деревню вышел, а тут опять дедушка вчерашний, седяной, старый-старый.

Кинулся к нему Прокопий:

- Прав ты, дедко!

Смеётся тот:

- То-то же. Говорил я тебе вчера: бойся людей. А теперь скажу: люби их.

- Да как же?

- А я тебя научу.

И ну рассказывать ему про Бога, про Христа, про веру исконную и самонастоящую, и как про то людям сказывать, чтоб не скучно выходило, а задористо.

Долго рассказывал. А потом говорит:

- Теперь уж ты по-старому не будешь жить. Закрой глаза, сосчитай до пяти, и по-новому всё станет.

Сделал Прокопий как дедушка сказал. Глядь: пропал тот, как и не было.

А и сам Прокопий не там где был, а на берегу, а берег на острове, а остров в реке. Голый остров, ни деревца, трава одна и каменья.

Пал Прокопий на колени, в самую тину да грязь, и говорит:

- Великий Боже! Верую в Тебя, и такая вера моя сильная, что я на камне отсюда поплыву.

Выбрал камень побольше, в воду скатил, сел верхом, да и поплыл себе.

Видит – деревня. А река прямая, не пристать никак. Вопил-вопил – никто и не вышел.

Вот уж у Карповской, на повороте, стало его к берегу относить. А мужики местные увидали его, и баграми от берега оттолкнули. И слушать не захотели. Теперь уж не любят о том вспоминать, как святого не пустили.

Ну, а дальше уж Плосская наша. Вся деревня на берег высыпала, смотрят. Сошел Прокопий на берег, поклонился в землю, руки простёр и говорит:

- Что, мир, страдаете от нечисти?

- Страдаем, - отвечают.

- Что, хотите по правде жить?

- Хотим, только мы не наученные.

- Научу я вас, с самого изначала.

Выкатил Прокопий камень из реки, сел на него и давай рассказывать:

- Жили-были два брата в одной избе, Бог да Сотона. Вздумали они один раз от скуки мир творить. И что Бог сотворит - Сотона назло ему придумывает. Сотворил Бог скот, а Сотона паутов, да комаров, да мух придумал, чтобы скот терзали, и волков, да медведей, чтоб скот тащили. Сотворил Бог птиц, чтоб они паутов, да мух ели, аСотона змей придумали коршунов против птиц.

Так они по очереди и творили, назло. Вот, надошла очередь Богу. Думал-думал Бог, кого и сотворить, чтоб испортить н**е**как. И сотворил людей из глины. Лёг спать, а людям наказал на улицу не ходить.

Спит Бог, а Сотона подкрался, отворил двери, да и шепчет потихоньку:

- Люди-люденьки, а побег**а**йте на улицу, коль здесь хорошо-то!

Ну, кои люди подурнее, так те и побежали. А до этого, вишь, не было ни мужиков, ни баб, все были одинакие. Только и разница была, кто поглупей, а кто поумней. Вот побежали глупые на улицу, а Сотона встал за дверку с топором, икак побежит мимо его кто, тюк да тюк его - в промежноги.

А после им и говорит:

- Будьте вы бабами, делайте все наперекор мужикам.

Проснулся Бог, поохал, похныкал, да делать нечего:прилепил остальным людям по шишке и наказал:

- Затыкайте теперь бабам дыры, умножайте добро…

**Валька Рачок**

*Дело № 2-633*

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

23 сентября 20… года п. Октябрьский

*Октябрьский районный суд Устьянского района Архангельской области в составе председательствующего судьи Драчевой О.В., при секретаре Шпартук Е.П.,*

*рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тарбаева Федора Эльмаровича к Новоселову Валентину Ивановичу о взыскании морального вреда за нанесение оскорбления личности в общественном месте,*

УСТАНОВИЛ:

**Тарбаев Федор Эльмарович** обратился в суд с иском к **Новоселову Валентину Ивановичу** с требованием компенсации морального вреда в размере 100000 (сто тысяч) рублей, указав в обоснование иска, что 01.07.20… в ходе обсуждения работ по реконструкции часовни в д.Левоплосская, а также прочих вопросов, связанных с ней, Новоселов Валентин Иванович в присутствии Владимира Алексеевича Рыпакова и Черняева Николая Степановича нанес оскорбление, попирающее его честь и достоинство.

В данном обсуждении он принимал участие как глава администрации МО «Плосское» и как гражданское лицо, на добровольных и бескорыстных началах озабоченное религиозным воспитанием и моральным обликом жителей МО «Плосское».

Во время разговора Новоселов В.И. обозвал его «гнидой». Как следует из толкового словаря Ожегова, толкового словаря Ефремова, толкового словаря Даля, а также толкового словаря современного русского языка, вышеуказанное слово считается как бранное.

Таким образом, ему было нанесено унижение чести и достоинства в присутствии посторонних лиц.

Просит в порядке частного обвинения взыскать с Новоселова В.И. за нанесенный моральный вред компенсацию в размере 100000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 200 руб. и понесенные расходы на ксерокопирование в размере 2,50 руб.

**Ответчик Новоселов В.И.** иск не признал, суду показал, что 01.07.20… примерно в обеденное время, находясь на рабочем месте не обедал, а работал, так как за работу у него болит душа и весь организм. Пояснил суду, что оскорбление ответчику нанес только после того, как тот бросил в него камень булыжникового вида и попал в мягкие ткани тела. За медицинской помощью не обращался. Подтвердить факт увечья или телесных повреждений не может ввиду отсутствия таковых по естественным причинам заживления.

Пояснил суду, что с истцом его связывают давние неприязненные отношения, состоящие из нескольких эпизодов. Самый запомнившийся ответчику эпизод произошел несколько лет назад, точную дату и время ответчик не помнит, свидетелей указать не может. Истец частным образом нанял его произвести ремонт забора вокруг дома в количестве 90 метров длины и полутора метров высоты. Работы были произведены в полном объеме и в оговоренный срок. Во время сдачи-приемки выполненных работ истец остался недоволен количеством израсходованного материала, хотя тот был несортовой и совсем не подходящий для выполнения вышеуказанныхи в частности любых работ. В ходе устных препирательств Тарбаев Ф.Э. сказал, что с таким подходом к работе как у ответчика, ему стоит обратить внимание на Ергину Надежду Константиновну, потому что она девушка не испорченная почем зря, и от этого страдает, а от порчи здесь была бы только всеобщая польза и индивидуальные удовольствия. Также он сказал, что им стоит сойтись на почве общей глупости в голове и в личных делах. Тем самым Тарбаев Ф.Э., пользуясь служебным положением и авторитетом среди населения, оскорбил мужские и рабочие чувства ответчика.

В содеянном ответчик не раскаивается, сожалеет о своей несдержанности. Свой поступок по нанесению оскорбления объясняет низким уровнем собственной культуры, не позволяющей ему выражать эмоции и чувства в рамках законности.

Просит суд в иске отказать в полном объёме.

По ходатайству сторон в судебном заседании были допрошены свидетели.

**Свидетель Рыпаков Владимир Алексеевич** в судебном заседании не участвовал ввиду собственной смерти. В материалах дела имеются его показания, из которых суд установил, что 01.07.20… свидетель производил земляные работы на берегу реки Устья в д.Левоплосская рядом с часовней в 100 метрах от места события. Свидетель слышал, как ответчик нанес оскорбление истцу. Прочие показания свидетеля о том, что истец Тарбаев Ф.Э. по отцу является прямым потомком Худояра, последнего хана Кокандского ханства, о чем у свидетеля есть документальное подтверждение, суд считает сомнительными и не относящимися к делу.

**Свидетель Черняев Николай Степанович** в судебном заседании пояснил, что с 27.03.20… и по настоящее время находится в систематическом алкогольном опьянении разной степени тяжести ввиду праздникови других причин. В связи с этим свидетель высказал сомнение в своих первоначальных показаниях, имеющихся в материалах дела, а также непосредственно в факте события. Основываясь на обрывочных воспоминаниях и субъективных оценочных суждениях, пояснил суду, что к истцу и ответчику испытывает приязненные чувства и обоих характеризует положительно со всех возможных сторон. Просит суд проявить снисхождение кучастникам судебного процесса и разойтись полюбовно.

**Свидетель Зыбова Мария Алексеевна** в судебном заседании пояснила, что перед лицом конца света, о котором ей достоверно известно из книгопечатной продукции и собственных ощущений, считает исковые требования истца ничтожными. Показала суду, что состоит в дальних родственных отношениях с обеими сторонами судебного разбирательства. Просит суд в иске отказать, поскольку удовлетворение схожих потенциально вероятных исков приведет к тому, что в д.Левоплосская и д.Правоплосская по решениям судов все будут должны друг другу огромные суммы денег, что в свою очередь парализует жизнь села, и без того парализованную.

**Свидетель Ергина Надежда Константиновна** в судебном заседании пояснила, что 01.07.20… она до обеда работала почтальоном, а после библиотекарем. О произошедшем инциденте узнала во время работы от местных жителей. Истца и ответчика характеризует как добрых и порядочных людей. С истцом свидетеля связывают рабочие отношения. Статус отношений с ответчиком пояснить суду затруднилась. Сообщила суду, что готова взять ответчика на поруки и разделить с ним любое решение суда.

Суд, заслушав пояснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы дела,

Р Е Ш И Л:

исковые требования Тарбаева Ф.Э. удовлетворить частично.

Взыскать с Новоселова В.И. в пользу Тарбаева Ф.Э. компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 рублей и расходы по ксерокопированию в сумме 2,50 руб., а всего взыскать 1202 (одна тысяча двести два) рубля 50 копеек.

В остальной части иска отказать.

**Шура Пятка**

«*Родилась в 1937 году в селе Почуйки Попельнянского района Житомирской области Украинской ССР, откуда была эвакуирована в 1941 году в деревню Право-Плосская Устьянского района Архангельской области РСФСР, где и проживаю до настоящих пор…*»

Из автобиографии

У ручья стоит дом Шуры Пятки. От леса до реки Устьи бежит ручей в низинке. Названия, имени у ручья нет, а только неприличное прозвище. Три уборных на его берегу тому виной – Шуры Пятки, Анны Тяпты и Миши Блина. Трижды оскверняется вода, и считается, что трижды – слишком даже для ручья.

Зимой по замерзшему руслу в деревню ходят волки, сдергивать цепных псов. Первым пострадал Амкар Миши Блина. Понес Миша утром миску, а у будки снег примят – белый-белый, – не то волоком утащили, не то так увели.

Тяптинскую Найду утащили утром, с веранды.

Но сначала в деревне стали пропадать коты. То баловались пугливые прежде лисы, оголодавшие в зимнем лесу. Теперь же, завидев людей чрез поле, они лишь водили носами-точками, чуть пригибая обтерханные тела.

А потом уж пришли волки. Искусная лисья забава уступила волчьему напору. Собак теперь на ночь уводят в хлев.

У Шуры Пятки нет собаки. Нечего охранять и нечего бояться. Три иконки, бестолковый хлам, разномастная рухлядь, саван и белые тапки с картонными подошвами – всё, нажитое Шурой.

На треть, на половину, на три пятых ее уже нет здесь. И тем интересней наблюдать её, видеть, слышать.

- Пей, - говорит Пятка и наливает чай.

- Ешь, - рвет пухлую шаньгу.

- Макай, - ставит блюдце со сгущенным молоком.

Я пью, макаю и ем.

- Корреспондент?

- Да, - вру я.

- С Октябрьского?

- Да.

- Ну, ешь.

Шура Пятка начинает свой рассказ.

- Войну в том селе и не нюхали, обносило стороной. Придет, бывало, какая война, заберет пару мужиков, да отскочит. Пошумит в далине, погрохочет, землю с небом перемешат. Долгонько пыль под облаками висит, спокою нет. Постреляют мужики нашенски в мужиков ненашенских вволюшку, сабельками ручки-ножки друг дружке поотрубают, и ну давай мириться.

Ведь никогда такого не было, чтоб не мирились потом.

А не повезет кому, привезут в ящичке. Хоронить-то ходили всем селом. Плывет гроб над толпой, весь цветами и лентами убран. До чего баско, пирог праздничный, а не гроб.

И тут сказывают: опять война катится. Да такая, что парой мужиков не умаслишь ее. Знать-познать, бежать ноги просят. А куда, если кругом свои?

Веревкой отец подпоясался, сел на лавку и молчит. Слова-то, видно, на ум всё дурацкие идут, не подходящие.

- Государско, - говорит, - дело. Шуточки… Под ружье иттить.

И – в дверь. Остались мы с мамкой двоимя.

А умишко-то у меня махонький, я и спрашиваю:

- Матушка, а раз война катится, так она, значит, круглая?

Матушка отвечает:

- Как колесо война круглая. Огненное колесо, железом рваным да острым подбитое. Дома давит, людей, и жар от него такой, какой в аду еще не придумали. Волосья плавит и кожу лопает. Вскипает жир людской, по обочинкам реками течет. Только пепел и зола остается. Да такенная и зола, что не растет ничего на той земле. Как порчена она считается семь лет по десять разов.

Залезла я под стол и ну реветь…

Три дня - пришли немцы. Те еще ничего, постояли да ушли. Вот за ними похуже принесло. Первым делом что? Полицаев назначили. Вторым делом что? Согнали всех жидов и в два дома заперли. Старух и баб с детьми в один, мужиков с робятами в другой. Утром их, значит, гнать куда или что.

А женщина одна нож спрятала. И давай они всем бабским домом ночью засов пилить, по очереди. Подпилили к утру, навалились, вынесли дверь. Отперли мужиков – и врассыпную.

А парничок один с дедом был. Побежали они по дороге. Видят – едет кто. Спрыгнули они тогда с дороги в болотце с головой, и через камышинки дышат.

Понабегли немцы. Собаки кругом болотца рыщут. Ясно: тут сидят, да достать некак, только и ждать. Те сидят, и те сидят. Надоело немцам, стрельнули они разок со злости по воде, да ушли.

Стрельнули, а попали-то, вишь, в дедушку. Глаза тот выпучил, внука за руку схватил и на дно тянет. Насилу отцепился парничок, побёг в лес.

И, значит, прошла неделя, приходит к нам с мамкой в дом. Грязной, в чирьях сверху донизу и голодный насквозь.

- Пожалейте, - говорит, - люди добрые.

Ну, давай мы его жалеть. День жалеем, второй. А на третий донесли. Вытащили парничка с подпола и увели.

- А по нам распоряжение каковское будет? – спрашивает мамка у полицая.

- А по вам особое распоряжение плачет, - отвечает полицай, - за жидовское сокрытие – расстрел.

А полицай-то Гришка был такой, из местных, кулаковской сын.

- Неужели, Гришенька, ты нас убивать будешь? – мамка спрашивает.

- Буду, - говорит.

- Неужели, Гришенька, ты и дитя не пожалеешь?

- И дитя не пожалею, - говорит, - выходь во двор. Буду вас немедленно убивать.

- Неужели, Гришенька, ты нам поесть не дашь в последний раз?

Подумал Гриша.

- Ешьте, - говорит, - а я обожду.

- Слово даешь?

- Даю.

Сели мы с мамкой за стол, и ну-ка есть что попало. Час едим, второй, третий… Плюнул Гриша ждать, ушел.

Назавтра смотрим в окно – идёт. Мы - за стол, и давай опять есть.

- Едите?

- Едим, батюшка.

- Ну, ешьте, - смеется, - завтра зайду убивать.

И решили мы с мамкой: хоть у нас кроме слова полицайского ничего и нет, мы до конца ворочаться будем. Собрали всего съестного дома и на десять частей разделили.

Но надолго не хватило, а только на десять дней.

Натащили мы тогда домой травы да листьев, веток и кореньев, земли и глины.

- Едите?

- Едим, батюшка, едим…

Мух ели, пауков, червей. Камни грызли и щепки.

- Едите?

- Едим, батюшка, едим…

[…]

… … …!

- …?

- … …

[…]

А отец, вишь, по лесу плутал. Разбили их под Коростенем. Днем спит, ночью по звездам идет. К селу знакомыми тропками и вышел.

И заходит папка в дом. Видит: сидят за столом два мертвеца, по столу пальцами черными скребут.

Да скулят, да воют!

Смотрит отец на мертвецов тех, и узнать не может.

Это мы с мамкой были.